



МИХАИЛ ФРОЛОВСКИЙ



ЮРИ**Й** ЧИРКОВ



АННА БАРКОВА



ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ



СЕРГЕ**Й** ПОДЕЛКОВ



АНДРЕЙ ЗАТРЯЖСКИЙ



ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ



ВАРЛАМ ШАЛАМОВ



ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ



ОЛЬГА АДАМОВА-СЛИОЗБЕРГ



ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА



НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ



АРСЕНИЙ СТЕМПКОВСКИЙ



АЛЕКСАНДР ЧИЖЕВСКИЙ



•СЕРГЕЙ БОНДАРИН



ЛАЗАРЬ ШЕРЕШЕВСКИЙ



ЮРИЙ ГРУНИН



ЮРИЙ СТРИЖЕВСКИЙ



ТАТЬЯНА СУ**Х**ОМЛИНА-ЛЕШЕНКО



СЕМЕН Виленский



НАТАЛЬЯ АНИЧКОВА



MULOTAHA HULUTUK



ВЛАДИМИР МУРАВЬЕВ



ВАДИМ ПОПОВ



ПЛАТОН НАБОКОВ



СВЕТЛАНА ШИЛОВА



АЛЕКСАНДР ТРИШАТОВ



ДАН**ИИЛ** АНДРЕЕВ



ЛЕВ КАРСАВИН

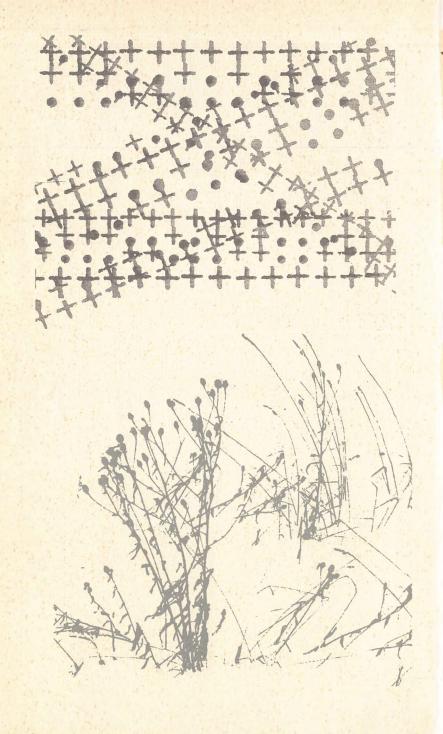


НАДЕЖДА Надежда



MAPUS TEPEHTEBA





# 



Составление и вступительная статья В. Б. Муравьева

Может быть, через пять поколений, Через грозный разлив времен Мир отметит эпоху смятений И моим средь других имен.

АННА БАРКОВА

# «...ПО БОЛЕЕ ГЛУБОКОЙ И СУЩЕСТВЕННОЙ ПОТРЕБНОСТИ...»

В числе героев повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» — повести, которая может быть названа поистине энциклопедией лагерного быта, есть и поэт — «студент литературного факультета, арестованный со второго курса», Коля Вдовушкин.

Солженицын описывает лагерь конца сороковых — начала пятидесятых годов — последний период существования ГУЛАГа. Но поэт-заключенный — характерная фигура для всех этапов истории этого учреждения. Поэты вместе с народом с самого начала шли тем же страстным путем необоснованных политических репрессий: одни попадали в тюрьмы и лагеря уже будучи поэтами, порой их и брали за то, что они были поэтами, другие становились поэтами в заключении, в жестоком, бесчеловечном рабстве ГУЛАГа, на грани жизни и смерти.

Безусловно, когда-нибудь, и, наверное, в недалеком будущем, будет написана обширная и обстоятельная история поэзии, которая создавалась теми, кого в официальных государственных бумагах обозначали аббревиатурой З/К, будут названы имена сотен поэтов, исследованы их биографии и творчество. Но это в будущем, пока же необходимо просто собрать материалы — тексты, документы, свидетельства, факты и предания, потому что в большинстве своем это поэзия рукописная и устная. Такова задача и настоящего сбор-

ника. Он не исчерпывает темы и даже не раскрывает ее более или менее полно, он ее начинает: это — первая антология лагерной поэзии.

Лагерная поэзия— не какая-то самостоятельная, изолированная, замкнутая в себе область, она — часть нашей литературы, часть общей культуры народа, эпохи. Поэты, создававшие ее, прекрасно осознавали это и верили, что со временем их стихи перестанут быть тайными и вольются в поток общенародной литературы.

Поэты, на долю которых выпала судьба испытать репрессии, обращались к тем проблемам и мучались теми вопросами, на которые мы пытаемся найти ответы сейчас, десятилетия спустя, поэтому их поэзия одновременно — прошлое и современность, история и злоба дня, свидетельство о минувшем и пророчество о будущем, завещание и предупреждение. Эти стихи писались, конечно, о себе и для своего поколения, но еще более для тех, кто будет жить потом, для следующего, второго, третьего, пятого поколения — одним словом, для тех, кто сумеет услышать и понять и завещание, и предупреждение.

Простите, строгие эстеты, Мои грехи. Я знаю всё. Увы! Тематику поэта Определяет бытиё. ...Пишу о жизни в рудниках, О пайках, о бушлатах рваных, О грубой власти кулака, О жалком племени зэка. Многомильонно населенье Немого лагерного дня. Пишу о мертвом поколенье, О людях, смолкших навсегда. Пишу во имя тех — кто живы, Чтоб не стоять им свой черед Толпой угрюмо-молчаливой У темных лагерных ворот.

(Е. Владимирова)

Начальные страницы истории лагерной поэзии, как и любой другой истории, мифичны. Но исторический миф — это не только миф, но и символ. Таким начальным мифом лагерной поэзии является стихотворение, которое издавна ходит в списках как стихотворение

Н. С. Гумилева, будто бы обнаруженное на стене камеры, в которой он сидел перед расстрелом:

В час вечерний, в час заката Каравеллою крылатой Проплывает Петроград, И горит над рдяным диском Ангел Твой над обелиском, Словно солнца младший брат.

Я не трушу, я спокоен, Я моряк, поэт и воин, Не поддамся палачу. Пусть клеймят клеймом позорным, Знаю — сгустком крови черным За свободу я плачу.

За стихи и за отвагу, За сонеты и за шпагу, Знаю, строгий город мой В час вечерний, в час заката Каравеллою крылатой Отвезет меня домой.

Почти идиллической представляется картинка из очерка Н. Литвина «Зима во льдах», рассказывающего о Соловецких лагерях Особого назначения ОГПУ середины двадцатых годов, знаменитых Соловках,— как на общих работах, на лесоповале «под грохот топоров, глотая куски прозрачного снега, один только лесорубинтеллигент в четверть часа своего отдыха замерзшими пальцами, роняя карандаш в снег, царапает лирические рифмы лесного дня:

#### Желтый день блестит пахуче...»

Но уже в тридцатые годы положение резко изменилось. Лев Николаевич Гумилев рассказывал, что на вопрос, можно ли ему писать, следователь ответил: «Прозу можно, стихи нельзя». Сын Н. А. Заболоцкого вспоминает такой эпизод из биографии отца: «Случилось это где-то на Дальнем Востоке в сравнительно благополучное время лагерной жизни. Начальник колонны или надзиратель выстроил заключенных в ожидании смотра начальником лагеря. И вот он появился — человек решительный, жестокий, но просвещенный. Он знал, что у него отбывает срок заключения поэт Заболоцкий, помнил его в лицо и зла ему не желал. Он подо-

шел к строю, узнал Заболоцкого и, будучи в благодушном настроении, спросил у непосредственного начальника:

- Ну что, как там у тебя Заболоцкий? Стихи не пишет?
- Заключенный Заболоцкий замечаний по работе и в быту не имеет,— отрапортовал начальник подразделения. И, усмехнувшись, добавил: Говорит, стихов никогда больше писать не будет.
  - Ну то-то. Обход продолжался».

Елена Владимирова сочиняла поэму «Колыма» (в воспоминаниях она называет ее «северная повесть») в последние военные — первые послевоенные годы.

«Раз уж речь зашла о северной повести,— вспоминает она, — расскажу, как она создавалась. Это ведь тоже целая повесть... Когда мне заменили расстрел каторгой, я попала в глухой район, небольшую долину, со всех сторон замкнутую сопками. Такая безнадежность была во всем, что я задумалась: как, на что истратить остаток сил и дней? Работоспособность умственная, это я лишь теперь понимаю, была исключительная, в голове я могла делать все, что хочу, и при любых обстоятельствах. И я решила написать повесть, охватывающую все виденное. Но писать, конечно, было нельзя. Я начала «писать» в уме. Понимала, нужно сохранить сделанное, а на свое долголетие не рассчитывала. Пришла мысль, как будто неосуществимая, но в жизни многое неосуществимое осуществляется. Решила найти молодую женщину, которая возьмет на себя сохранить «написанное». Для этого нужно было со слов запоминать наизусть. Такой человек нашелся, и мы приступили к работе. Вернувшись с лесоповала, мы садились где-нибудь во дворе, делая вид, что просто разговариваем, и занимались нашим делом. Одно слово, услышанное посторонним, могло погубить обеих.

Но нас развели: меня увезли с Колымы, работа прервалась более чем на год. Потом я снова взяла себя в руки и в довольно быстром темпе закончила все. К бумаге прибегала лишь для того, чтобы временно закрепить (начальными буквами строк) рождавшиеся куски, потом выбрасывала. Вещь вышла большая — строк примерно на четыре тысячи... Теперь нужно было «вынуть» повесть в стихах из головы и материализовать. Решила записать на папиросной бумаге

и где-нибудь закопать. Конечно, я делала, как поняла потом, бесполезную работу — по неопытности засунула листки в жестяную коробку. Наверное, все проржавело и сгнило, хотя теперь это не имеет значения. Вспоминаю, как писала. Во-первых, делать это надо было обязательно открыто, не прячась — и под самым носом начальства, на глазах у всех, но незаметно для них. Я брала иголку, какую-нибудь починку, а также кусочек карандаша и бумагу. Садилась обычно поближе к воде: в случае чего утопить листки в луже, кувшине, ведре — и ограничиться карцером. Помню, ранней весной, сидела у нашего клуба и писала; позади была большая талая лужа. Вдруг вижу: с вахты бежит дежурный. Бежит ко мне! Я говорю себе: «Выдержка! Не двинусь до последней минуты!» И замечаю (а сердце-то уж черт знает где!): он глядит поверх моей головы. Значит, не во мне дело. Оказывается, кто-то святотатственно повесил сушить белье на крыше клуба. Меня может понять тот, кто знает, чем для человека, уже имевшего «вышку», грозила такая работа.

Наконец я все записала, строк по двадцать на бумажке, значит, всего было бумажек двести, носила их в марлевом мешочке на шее, берегла, чтобы не очень смять, пока не спрятала в той железной коробочке.

Подстраховывала меня приятельница — большой друг, рисковавшая разделить мою судьбу. Она не разделяла моих взглядов, но никогда — это проверено годами — не воспользовалась во зло моим доверием».

(После реабилитации в 1955 году Елена Владимирова по памяти восстановила и записала всю поэму.)

Однако, как правило, стихов поэты не записывали, их обнаружение грозило обернуться жестокой карой: карцером, переводом на более тяжелую работу, а то и новым сроком, и даже смертью «при попытке к бегству». «Стихи — единственное, что могла без записи сохранить память на долгие годы, — рассказывает Н. Надеждина. — Стихи нельзя было отнять и уничтожить при обыске потому, что они внутри тебя. Так родился цикл «Стихи без бумаги». «Память стала как Государственный банк... — свидетельствует П. Набоков. — Воспитанная «академией» память уже в бумаге не нуждалась». «Стихи — они отрабатывались в голове, на шепоте, запоминались, при случае записывались, при страхе уничтожались, и опять записывались, и опять унич

тожались: обычная подпольная писательская работа»,— таков типичный процесс, как описывает его Юрий Грунин, его описание относится к концу сороковых — началу пятидесятых годов.

Кроме того, сам процесс писания вызывал подозрение у соседей в бараке, если кто-то разживался бумагой:

Кто-то клочок раздобыл, принес, И сразу в бараке волненье: То ли стукач пишет донос, То ли дурак — прошенье.

(Н. Надеждина)

С разоблаченным стукачом расправлялись без пощады:

Когда нам принесли бушлат И, оторвав на нем подкладку, Мы отыскали в нем тетрадку, Где были списки всех бригад, Все происшествия в бараке — Все разговоры, споры, драки, — Всех тех, кого ты продал, гад! Мы шесть билетиков загнули — Был на седьмом поставлен крест. Смерть протянула длинный перст...

(Ю. Домбровский)

Иногда тайное писанье (а творчество — дело интимное, таится соглядатаев) оборачивалось трагедией, как это случилось с Г. Ингалом, студентом Литинститута, однодельцем П. Набокова, который и рассказал об этом: «Жорик все время по ночам что-то писал тайно и прятал. Кто-то пустил слух, что он на каждого пишет характеристику для «кума»... Ночью, в запертом бараке, Жорика зарезали. А когда стали рассматривать, что он писал, «это» оказалось романом о французском композиторе Клоде Дебюсси! Именно этот факт подтвердил правду трагедии, так как еще в Литинституте Георгий Ингал читал нам на творческом семинаре Федина главы из этого романа».

Но стихи в лагере, несмотря на риск, все же сочиняли, пытались записать (конечно, речь тут идет о настоящих стихах, «для себя», а не о частушках для КВЧ, эти-то разрешались), иногда удавалось их сохранить и даже передать на волю. Довольно широко практико-

вался нехитрый способ, рассчитанный на неосведомленность лагерного цензора: вставляли свои стихи в письма, выдавая их за стихи Твардовского, Блока или какого-нибудь другого известного автора.

Ю. И. Чирков вспоминает, как ему помогло имя Некрасова во время свидания с матерью на Соловках в начале тридцатых годов. При свидании присутствовал надзиратель, следя, чтобы арестант ничего не говорил об условиях жизни в лагере.

«На другой день я сказал маме,— пишет Ю. И. Чирков,— что выучил много больших стихотворений Некрасова и хочу, чтобы она проверила, правильно ли я читаю.

— Это тот Некрасов, который написал «Полнымполна коробушка»,— пояснил я тюремщику. Тот важно кивнул:

— Знаю.

Я подмигнул маме и начал монотонно:

Старики преученые всюду Обучают наукам меня, Книги дивные я не забуду, Их впервые увидел здесь я.

## Мама вступила в игру и тоже стала читать:

Надя, Костина дочка, любезно Приняла вашу бедную мать И сказала, ее обижают, Заставляют с детьми лишь играть.

Я понял, что речь идет о Крупской, которой была оставлена незначительная должность председателя общества «Друг детей» (ОДД). Со стороны наше бормотание стихов походило на какой-то нудный бред, но мы, освоив «технику», передали друг другу много полезной информации».

Солженицын в «Архипелаге» рассказывает, что когда однажды при обыске у него нашли кусок поэмы, то он выдал его за отрывок из «Василия Теркина» Твардовского, и рукопись не отобрали.

Бывали случаи совершенно фантастические. А. Л. Чижевский весь свой срок, через тюрьмы, пересылки, лагпункты пронес переплетенный в книгу машинописный сборник своих стихов, правил в нем старые стихи, писал новые. Вообще заключенным не

разрешалось иметь ни книг, ни рукописей (кроме писем), но существовало исключение: можно было иметь нормативы и руководства «по специальности», и, видимо, эту толстую, большого формата книгу сочли за профессиональное руководство профессора (взяли его не в Москве) и сделали соответствующую отметку в формуляре, поэтому при последующих обысках ее уже не отбирали.

Писали, прятали, садились в «кондей»-карцер, из благополучия больницы или придурочной должности слетали на общие работы и все равно — писали.

Когда я как-то спросил у Сергея Александровича Поделкова: «Что были для вас стихи в лагере?», он ответил сразу и коротко, одним словом: «Жизнь».

Расхожая уголовная лагерная философия физического выживания так сформулировала свой основной этический принцип: «Умри ты сегодня, а я завтра». Принятие этой морали давало надежду, правда весьма неверную, на выживание, но при этом неизбежно и верно приводило к распаду личности, эта мораль требовала отказа от всей многовековой гуманистической культуры, от гуманистических основ бытия. К чести человечества, надо сказать, что среди людей XX века нашлось не так уж мало таких, кто предпочел остаться человеком, для кого остаться человеком и значило — выжить и в будущем жить, а не существовать.

В 1988 году П. Набоков размышляет о том, что было пережито почти сорок лет тому назад: «Но каким образом в тюремных и лагерных условиях можно было противостоять насилию? Единственным. Оставаться человеком. А это значило: не только делиться пайкой и махоркой и противостоять лозунгу «Ты умри сегодня, а я завтра», но и на всех зигзагах и поворотах нашей «академии» воспитывать самого себя, восстановить в памяти все, что пережил, видел, слышал, написал, зарифмовал, затвердить это намертво и... продолжить. Противостоять».

Так оно и было. Но, конечно, это только теперь в сознании выстраивается логический ряд, а тогда линия поведения диктовалась скорее инстинктом, и неосознанное стремление «оставаться человеком» заставляло вспоминать и твердить стихи.

В 1936 году в Бутырской тюрьме О. Л. Адамова-Слиозберг пишет:

Чтоб смертную тоску от сердца отогнать, Я принималася в уме перебирать Стихи любимые. Сквозь тьму веков, сквозь дали, Сердца родные сердцу вести слали, И отзывалися слова в душе унылой, Как ласка друга, трепетною силой. В реке поэзии омывшися душой, Я снова силу в жизни находила.

Арестованный в 1949 году Анатолий Жигулин свидетельствует:

Когда мне было Очень-очень трудно, Стихи читал я В карцере холодном.

Осенью 1949 года моим соседом по камере во внутренней тюрьме на Лубянке оказался пожилой профессор-ленинградец. Он сидел уже несколько месяцев, я же только попал в тюрьму и, естественно, был растерян, испуган. Расспросив, кто я и откуда, он сказал:

— Давайте почитаем стихи. Сначала я, потом вы.— И он начал читать Блока:

> Есть минуты, когда не тревожит Роковая нас жизни гроза. Кто-то на плечи руки положит, Кто-то ясно заглянет в глаза... И мгновенно житейское канет, Словно в темную пропасть без дна... И над пропастью медленно встанет Семицветной дугой тишина...

Он читал стихотворение за стихотворением, и я чувствовал, как проходит отчаянье, как сузившийся до камеры с окном, загороженным дощатым щитом-намордником, мир вновь расширяется до вселенной, которой, как я думал в тоске, меня лишили вчерашней ночью, пришло ощущение какого-то просветления и — странно сказать — покоя... Впоследствии в разных ситуациях тюремного и лагерного бытия я вспоминал это чтение стихов в первый тюремный день, когда поэзия в, может быть, самую трудную минуту пришла комне спасением и не позволила пасть духом и сломиться.

О декламации стихов в камерах, о запоминании их с голоса вспоминают многие бывшие заключенные. Сочинение стихов становится и сопротивлением,

и жизненной силой, и спасением. «Мои стихи — пример душевного сопротивления, которое оказано растлевающей силе лагерей», — сказал Варлам Шаламов, и в стихах он писал:

Качает наше горе На лодке рифм. Я рифмами обманут И потому спасен.

О спасительной силе творчества пишут почти все поэты, тем сильнее вера в нее звучит в лагерной поэзии. После приговора, на пересылке, в преддверии отбывания долгого срока, Сергей Бондарин пишет стихотворение «Карты»:

В колоде карт игральных Нет для меня тузов, А — символы лесов Или морей полярных.

Но что ж сниму с колоды, К тем картам приучась? Мне б Вдохновенья час, Чтобы осилить годы.

В лагере поэт особенно обостренно ощущает значение поэтического творчества в своей жизни и судьбе.

И в одних лишь стихах я найду Всех бесчисленных ран излеченье.

(Л. Шерешевский)

Стихи мои, единственные дети! Вас не имея, я бы тут зачах.

(Ю. Грунин)

В 1968 году Юрий Грунин, цитируемый выше, послал свои лагерные стихи в «Новый мир» Твардовскому. Александр Трифонович ответил, что не может напечатать их «по причине внешней», и заканчивал письмо таким пожеланием: «Желаю Вам всего доброго и, прежде всего, сохранения той неусыпной духовности отношения к жизни, которая позывала Вас к стихам даже там, где было, казалось бы, совсем не до стихов».

Представление о том, что лагернику должно быть «совсем не до стихов», распространено широко. С точ-

ки зрения обыкновенной житейской нелагерной логики, заключенного должны бы занимать более существенные, более близкие к условиям его существования вещи и заботы. К тому же почти полная неизвестность лагерной поэзии на воле, исключая несколько песен, порождала и укрепляла общественное мнение в том, что у нас лагерной поэзии нет. И даже после того, как были опубликованы «Моабитские тетради» Мусы Джалиля, написанные в фашистском концлагере, наше двойное сознание отказывалось проводить какие-либо параллели. А в то же самое время в стихах выживших в немецком плену соузников Мусы Джалиля, как, например, Юрия Грунина, тема плена получает новое развитие:

Позади — война, загоны плена, прозябание по лагерям. Впереди — не видно перемены: снова двор, где вышки по углам.

А седые дни проходят мимо. А в судьбе опять немая мгла.

Так что оговорка Твардовского знаменательна, хотя объяснима и может быть оправдана. Но в этом же письме есть и другие знаменательные, более важные строки, в которых Твардовский говорит о глубинных первопричинах самого существования лагерной поэзии: «В Ваших «Двух тетрадях» несомненно есть стихи, написанные не из одной любви к этому занятию, а по более глубокой и существенной потребности. Это, вообще говоря, и приближает стихи к тому, что принято называть поэзией».

«По более глубокой и существенной потребности...» Мера этой глубины и существенности здесь та же, которой меряют и саму жизнь.

Как известно, в экстремальных ситуациях организм включает самые сильнодействующие свои скрытые резервы. Таким резервом является, по-видимому, поэтическое творчество, этому есть множество примеров.

А. Л. Чижевский, издавший в 1914 и 1918 годах сборники стихов, член и председатель Калужского отделения Всероссийского союза поэтов, с середины двадцатых годов не только переставший печататься, но и писавший одно-два, в лучшем случае около десятка стихотворений в год, вдруг за один только 1943 год,

находясь в Челябинской тюрьме, затем в Ивдельском лагере, написал более ста стихотворений, причем среди них вершинные его произведения.

Из воспоминаний поэтессы Надежды Надеждиной: «В юности я писала стихи, но в конце двадцатых годов, выйдя замуж за поэта Николая Дементьева... я перешла на прозу. Нельзя писать стихи двоим в одной маленькой комнате... В лагере, где для нас, заключенных, бумаги не было, меня снова потянуло к стихам».

Мы помним явление Музы Пушкину:

В те дни в таинственных долинах, Весной, при кликах лебединых, Близ вод, сиявших в вышине, Являться Муза стала мне.

Но так же, как Пушкину в прекрасных Царскосельских садах являлась Муза, являлась она лагерному поэту на пересылке, в смертном стационаре. Потрясает передачей реальнейшего ощущения присутствия поэзии стихотворение А. А. Тришатова (Добровольского):

Больной... А утром шел этап. Среди мешков, узлов, котомок, Нечеловечески устав, Мы все попадали, как кто мог.

Я уснул. Живой едва... (Не выдержу такого груза). Меня позвали: — Батя! К вам! — В дверях в барак стояла Муза.

А. А. Тришатов (Добровольский) — старый писатель, печатавшийся еще до революции и тогда замеченный критикой, после революции отошел от литературы, служил в учреждениях, был библиотекарем; в заключение он попал после войны, в конце сороковых годов (по делу Даниила Андреева). В лагере он вновь начинает писать, в стихотворении о возвратившемся вдохновении звучит радость, почти счастье, свои стихи он называет Антигоной — именем известной по древнегреческой мифологии дочери фиванского царя Эдипа, которая сопровождала изгнанного и слепого отца в его скитаниях на чужбине.

Все отняли, что могли отнять. Конченый, забытый, чуть живой я... Вдруг я понял. Около меня Кто-то есть. Я не один. Нас двое. Кто-то поднял с пола и земли, И повел, и стал поводырем мне. И слова, как крылья, повлекли Все сильней, все шире, все огромней.

«...Кончилась отверженность моя. Дочь опять вернулась в отчье лоно. О, отец! Пойдемте! С вами я. Ваша Песня, ваша Антигона».

В «Архипелаге ГУЛАГ» А. И. Солженицына есть глава, посвященная поэтам-лагерникам, «подпольным поэтам», как он называет их, и, рассказывая о них, он восклицает в удивлении: «Сколько же среди людей поэтов! — так много, что поверить нельзя!» И снова спрашивает: «Да сколько же их?!» Сколько было поэтов в лагере, мы, скорее всего, никогда не узнаем, даже если станут доступны архивы: такой статистики ГУЛАГ не вел. Членов Союза писателей было репрессировано, по данным Комиссии по литературному наследию репрессированных писателей, около двух тысяч человек; списочный состав Союза писателей на 1934 год — 2500 человек, в 1941-м — около 3000, в 1954-м — 3695. Среди репрессированных были известные поэты: С. Клычков, Н. Клюев, Я. Смеляков, Л. Мартынов, П. Васильев, Б. Корнилов, Н. Заболоцкий, О. Мандельштам, В. Нарбут, И. Приблудный, А. Шевцов, П. Орешин, М. Герасимов, Д. Хармс, В. Князев и другие. Но большинство «подпольных поэтов» не являлись до ареста членами Союза писателей. Наверное, процент литературно одаренных людей среди заключенных был приблизительно такой же, как и среди вольных. Поскольку репрессировано было, по подсчетам историков, около 60 миллионов — население современной Франции, то и поэтов должно быть среди них соответственное количество.

Лагерные поэты писали, не зная друг друга и не зная творчества друг друга, там не было литературной среды (счастливые встречи литераторов чрезвычайно редки), не было литературных объединений, групп, каждого из них питала не ближайшая литературная среда, а непосредственно — вся поэзия — мировая, русская классика, современная поэзия, создаваемая на воле (последняя для лагерных поэтов часто бывала отрицательным примером, ее пародировали и опровергали). Поэтому из-за отсутствия так называемого «литера-

турного быта» в лагерной поэзии почти нет формальных (не говоря уж о формалистических) поисков, в ней первенствует содержание. Это, конечно, не исключает работы над формой, тем более что способ сочинения стихов, многократная проверка на слух способствовали отточенности как смысловой, так и звуковой. В лагерях литература как бы вернулась к своему великому источнику — устному народному творчеству, с тем, правда, отличием, что имена авторов фольклорных произведений за ничтожнейшим исключением нам неизвестны и никогда не станут известными, а лагерная устная литература в какой-то своей части получила возможность стать письменной.

И если мы не можем ответить на вопрос, сколько их было, «подпольных поэтов», то можем, хотя и в недостаточно полной мере, сказать о том, кто они, эти поэты. Вот несколько не портретов, не очерков, а лишь справок, несколько судеб. Ограниченный объемом статьи, прошу читателей вспомнить имена известных поэтов, которые перечислены выше, они должны бы открывать этот «справочник», но об их жизненной и литературной судьбе уже напечатано довольно много материалов, поэтому я только напоминаю о них, а рассказываю о менее известных, а часто и просто неизвестных современному любителю поэзии.

Анна Александровна Баркова (1901—1976). Родилась в Иваново-Вознесенске, ее отец служил сторожем, окончила гимназию, после революции работала в местной газете «Рабочий край», которую редактировал А. Воронский и которую упрекали за то, что у нее слишком силен «литературный уклон».

Поэтический талант Анны Барковой был замечен после первых же публикаций. В 1919 году А. А. Блок, получив на рецензию, в ряду других, стихи восемнадцатилетней поэтессы, в дневнике записывает: «...стихи... А. Барковой из Иваново-Вознесенска — два небезынтересны»; в 1921 году А. В. Луначарский пишет ей: «Я вполне допускаю мысль, что Вы сделаетесь лучшей русской поэтессой за все пройденное время русской литературой». В 1922 году вышел первый и оставшийся единственным сборник ее стихов, в 1925 году ее стихи были включены в известную антологию И. С. Ежова и Е. И. Шамурина «Русская поэзия XX ве-

ка», что само по себе являлось признанием значительности ее творчества.

Баркова уже в середине двадцатых годов почувствовала, что борьба под светлыми лозунгами революции перерождается в общенародную трагедию самоуничтожения:

Пропитаны кровью и желчью Наша жизнь и наши дела. Ненасытное сердце волчье Нам судьба роковая дала. Разрывали зубами, когтями, Убивали мать и отца. Не швыряем в ближнего камень — Пробиваем пулей сердца. А! Об этом думать не надо?..

Она не могла не думать об этом и как истинный поэт не могла лгать в стихах, ее стихи не печатали. В 1932 году она написала жестоко-правдивое и пророческое стихотворение:

Где верность какой-то отчизне И прочность родимых жилищ? Вот каждый стоит перед жизнью, Могуч, беспощаден и нищ.

Вспомянем с недоброй улыбкой Блужданья наивных отцов. Была роковою ошибкой Игра дорогих мертвецов.

С покорностью рабской дружно Мы вносим кровавый пай Затем, чтоб построить ненужный Железобетонный рай.

Живет за окованной дверью Во тьме наших странных сердец Служитель безбожных мистерий, Великий страдалец и лжец.

А в 1934 году — первый арест, первый срок, в 1947—1956 годах — второй срок, в 1957—1965 годах — третий. В конце концов ее дело было пересмотрено, она реабилитирована и последние десять лет жизни прожила на воле, в Москве, но наиболее плодотворные для творчества годы прошли в заключении.

В 1922 году А. В. Луначарский в предисловии к ее сборнику писал: «Посмотрите: А. А. Баркова уже вы-

работала свою своеобразную форму — она почти никогда не прибегает к метру, она любит ассонансы вместо рифм, у нее совсем личная музыка в стихах — терпкая, сознательно грубоватая, непосредственная до впечатления стихийности». С годами мастерство, «терпкость» не утратились, но еще обогатились горьким жизненным опытом и мудростью. Луначарский не ошибся в своем предсказании: Баркова выросла в замечательного, крупного поэта, истинную величину которого нам еще предстоит постичь, и тогда ее имя встанет среди первых имен русских поэтесс XX века.

Но и после реабилитации стихи А. А. Барковой не печатали «из-за недостатка в них оптимизма». Умирала она в больнице, и в бреду ей виделись тюрьма, допросы, этапы...

Андрей Анатольевич Загряжский (1906—1970). В известном энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона о Загряжских сказано: «...русский дворянский род, происходящий, по сказаниям древних родословий, от татарина Исахара, во крещении Гавриила, «мужа честна»... который выехал к вел. кн. Дмитрию Донскому, был у него «ближним человеком» и пожалован вотчинами». Детство в Тамбовском имении, гимназия, в первую мировую войну фронт, служба в старинном 13-м Драгунском военного ордена генерал-фельдмаршала графа Миниха полку:

Я Орденец — и боевая Мне слава радостна полка. Горжусь полком, переживая Его истории века,—

такова биография А. А. Загряжского до начала 1918 года, когда полк был расформирован. Затем работа техником, инженером — эту профессию он постигал практикой, самоучкой и стал хорошим специалистом.

По натуре своей Загряжский был романтиком, он мечтал о необычной любви, его героиней, его мечтой была пушкинская Татьяна. В 1916 году он писал:

Уют и полумрак гостиной И синих сумерек вуаль. Напевом четким и старинным Поет мечтательный рояль.

Вот-вот войдет сама — Татьяна, Как даль осенняя, грустна... И вот, уже в конце двадцатых годов, в окне проезжавшей электрички он увидел женщину и понял, что она — воплощение его идеала, это была действительно любовь с первого взгляда. Потом — встреча; оказалось, что женщина тоже заметила его тогда, на вокзале, и — «Она сказала: это он!» Они поженились.

Но их счастье омрачал страх разлуки: вокруг шли аресты. Загряжский опасался, что его как офицера царской армии тоже могут взять. В начале тридцатых годов Загряжский был арестован, попал на Воркуту, с началом строительства канала Москва — Волга переведен в Дмитлаг, за хорошую работу расконвоирован. Тогда расконвоированным разрешалось жить вне зоны, на частной квартире. Жена приехала к нему и поступила на работу в Управление Каналстроя. (Урожденная Давыдова, она, между прочим, доводилась родственницей А. В. Давыдовой, одной из жен-декабристок.) Впоследствии Загряжский вспоминал, что это было самое счастливое время в его жизни, когда будущее рисовалось в радужных тонах. Но в 1937 году его жена вместе со всем руководством Каналстроя была арестована и осуждена на 10 лет без права переписки. (В 1956 году реабилитирована посмертно.)

Самого Андрея Николаевича вскоре освободили, он работал на постройке различных ГЭС, но радости и полноты жизни уже не было: он постоянно думал о погибшей жене, ее страданиях, вспоминал прошлое. Об этом писались стихи...

Юрия Ивановича Чиркова (1919—1988) арестовали пятнадцати лет, он был школьником. «В 1935 году вечером 5 мая,— пишет он в воспоминаниях,— когда я вернулся из школы, появился некто в штатском и пригласил меня «на минутку» в отделение милиции. Я удивился, но пошел, не зная, что начинаю путь по лагерям и ссылкам продолжительностью 19 лет». «Отделение милиции» оказалось Лубянкой, его допрашивал какойто важный чин, предъявив обвинение в попытке взрыва мостов, подготовке покушения на Косиора и Сталина. «Террорист» сидел на стуле, не доставая ногами до полу, сведения, которыми располагал НКВД, оказались ложным доносом, но ОСО приговорило школьника к трем годам лагерей.

«На мое счастье, отправили меня в Соловки»,— написал много лет спустя Чирков. Горькое и страшное счастье: в те годы, когда формируется характер, закладываются нравственные принципы, его учителями и воспитателями стали люди высокой нравственности и истинных знаний. Его желание продолжать образование находило поддержку у товарищей по заключению. Рассказывая на свидании матери о своей жизни «некрасовскими» стихами, он первым делом сообщил:

> Старики преученые всюду Обучают наукам меня.

Учителями Чиркова были на Соловках действительно замечательные люди: профессора различных университетов («профессоров было множество», — замечает он в воспоминаниях), юристы, актеры, литераторы, в том числе и П. А. Флоренский («все ученые отдавали пальму первенства Павлу Александровичу Флоренскому, -- вспоминает Чирков, -- гениальному математику, химику, инженеру, философу, богослову, священнику»). В то время, когда шли на Соловках расстрелы, когда на Секирной горе совершались зверские, изощренные убийства заключенных, причем царил полный произвол и никто из заключенных не мог быть уверен в том, что завтра он будет жив, «старики преученые» учили мальчика языкам и математике, беседовали на литературные и исторические темы, внушали понятия об истинных ценностях знания и общечеловеческой морали.

В 1937 году Чирков проводил их в последний этап. «В конце октября (1937 г.) неожиданно выгнали всех обитателей открытых камер Кремля на генеральную проверку. На проверке зачитали огромный список несколько сотен фамилий — отправляемых на этап. Срок подготовки — два часа. Сбор на этой же площади. Началась ужасная суета. Одни бежали укладывать вещи, другие — прощаться со знакомыми. Через два часа большая часть этапируемых уже стояла с вещами. В это время из изоляторов вышли колонны заключенных с чемоданами и рюкзаками, которые направлялись не к Никольским воротам, где была проходная, а к Святым воротам, которые выходили на берег бухты Благополучия. Я подбежал к краю царской дороги еще до приближения колонн и видел всех проходивших мимо ряд за рядом по 4 человека в ряду. Мелькали вперемежку знакомые и незнакомые лица. На всех было

одно общее выражение: собранность и настороженность. Все стали какие-то суровые, отчужденные.

В рядах проходящих мелькнуло лицо профессора Флоренского, вот высоко несет голову седобородый профессор Литвинов (оба из ПСБ). Показались Котляревский (в новой кожаной ушанке) и Вангейм (в черном пальто и пыжиковой шапке). Увидели меня, кивают головами, а руки заняты чемоданами. <...>

А ряды все шли. Более тысячи заключенных было вывезено из Соловков в этот пасмурный октябрьский вечер. Это был уже второй этап из Соловков, названный «большим».  $\langle \dots \rangle$ 

После трех этапов Кремль совсем опустел. Девятого ноября было интенсивное северное сияние. В черном небе сходились и расходились не обычные многоцветные полосы, а багрово-красные дуги, что толковалось некоторыми как грозное знаменье. Все ждали: будет четвертый этап или нет. Прошел страшный слух: будто второй этап был утоплен в море».

Три года спустя, уже получив продление срока и находясь в другом лагере — Ухтижмлаге, Чирков написал стихи, обращенные к другу по Соловкам:

С тоской щемящей вспоминаю Я боль и радость прошлых лет, Но остров тот благословляю, Где в грудь запал мне звездный свет.

Всю дальнейшую жизнь светил ему и вел его этот «звездный свет». Освобожденный в 1945 году, он экстерном сдал в Ухте экзамены на аттестат зрелости, получив золотую медаль. В 1950 году заочно окончил биологический факультет Краснодарского института (с отличием). В 1951 году снова арестован, отправлен на вечное поселение в Красноярский край, где работал на лесоповале, в 1954 году освобожден со снятием судимости, поступил в заочную аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, потом докторскую, к семидесятым годам его научная работа по агрометеорологии получила всемирное признание.

На Соловках проявился и литературный талант Чиркова, он начал писать стихи. В это время журнал «Соловецкие острова» уже прекратил свое существование, но литературная жизнь продолжалась в иных формах. Чирков рассказывает: «Чтобы не думать о предстоящем

(речь идет о времени после «большого» этапа), уцелевшие соловчане развлекались, как эстеты перед нашествием варваров. Даже устраивались состязания поэтов. На одном из состязаний было предложено каждому участнику написать венок сонетов. Это трудное залание приняли к исполнению лишь двое: Рустем Валеев и Юрий Милославский. Валеев написал на тему «Наполеон», Милославский озаглавил свой венок «Москва». Слушатели были искушенные и критиковали авторов и по форме, и по содержанию, довольно остроумно и тонко отмечая каждую шероховатость. Мне больше понравился «Наполеон», но жюри присудило с перевесом в один голос «пальму» (это была большая еловая ветка) Милославскому». Рассказывает Чирков и про своеобразный соловецкий «литературный салон». «Накануне выходного я не занимался науками, а ходил в гости в женский барак, где находились интеллигентные пожилые женщины, осужденные по 58-й статье. Там образовался кружок из четырех дам: Ольги Николаевны Бартеневой, почти слепой, в очках — 15 диоптрий, изучившей глубины теософии, последовательницы Блаватской, Лидии Владимировны фон Лаур, преподавательницы иностранных языков из Пятигорска. княгини Белосельской-Белозерской и Зинаиды Ричардовны Тетенборн. (...)

Каждая из этих дам была очень интересным человеком. З. Р. Тетенборн работала вместе с Коллонтай в Норвегии, Швеции, заведуя консульской частью советского посольства. <...> Бартенева происходила из революционной семьи. Ее бабушка была участницей Парижской коммуны и членом-учредителем русской секции I Интернационала. Ее дед был крупным историком, основателем и редактором журнала «Русский архив». <...> Л. В. Лаур была оригинальным мыслителем, хорошо знала философию, литературу и писала стихи. <...>

Все эти дамы, вполне достойные соловецкого общества, работали на парниках. Зимой штамповали торфонавозные горшочки для рассады, весной выращивали рассаду, потом овощи. Ползали среди парников, часами не разгибая спины, но сохранили интеллигентность, живой ум и любовь к изящным искусствам. Мне с ними было интересно.  $\langle ... \rangle$ 

Заседание нашего кружка начиналось после обеда

часов в семь, когда дамы несколько отдохнут и наденут «вечерние туалеты», то есть вместо ватных брюк и телогреек оденутся в остатки домашних вещей. Обязательно кипятился чай «Мусорин» (от слова мусор) — так Белосельская называла «чайный напиток» — суррогат, приготовленный из размолотой смеси сушеных гнилых фруктов, желудей и каких-то листьев. В процессе чаепития шла «светская» беседа, не затрагивавшая политические темы, читались стихи, Белосельская вполголоса пела. У нее было чудесное контральто. Иногда присоединялись и другие старушки. «...»

Кое-кто надо мной посмеивался, что я посещаю старушек, когда в других бараках полно «девок».  $\langle ... \rangle$  Интеллигентные старые дамы мне доставляли радость для души».

Юношеские стихи Чиркова наивны и романтичны, и — знаменательная черта! — в них так сильно чувство внутренней свободы, такая вера в разум, в духовную силу человека, что трудно поверить, что их автор — бесправный заключенный. В них тоже светит «звездный свет»:

Но гордость здесь меня спасет, Мне цель высокую поставит! Мой ум и сердце вознесет, Вперед идти меня заставит!

Я с этим миром в бой вступил, Ничто меня не устрашает! Во мне таятся много сил; Их дух мятежный направляет.

И пусть неумолимый жар Сожжет мне крылья, вниз кометой Паду, как некогда Икар, Лучом бессмертия согретый.

Елена Львовна Владимирова (1902—1962). О ней, юной, вспоминает Е. Драбкина, писательница, член партии с 1917 года, секретарь Я. М. Свердлова: «В 1919 году шестнадцатилетней девушкой она вступила в комсомол. Была бойцом отряда, подавлявшего басмачей в Туркестане, участвовала в организации помощи голодающим Поволжья. По путевке комсомола приехала в 1921 году в Петроград учиться в университете. Была она и смелая, и застенчивая, и насмешливая, похожая то на мальчишку, то на тургеневскую девушку. И очень

красивая». В общем-то, обычный путь молодого человека в те годы. Но для Владимировой он был не совсем обычен, она родилась в дворянской семье потомственных морских офицеров (среди ее предков известный адмирал Г. И. Бутаков), училась в Институте благородных девиц. В Петрограде Владимирова вышла замуж за комсомольского деятеля Л. Н. Сыркина, занималась журналистской работой. В 1937 году ее муж был назначен редактором Челябинской областной газеты, в том же году арестован и расстрелян, она как жена «изменника родины» попала в лагерь на Колыму.

Арест заставил ее задуматься над тем, что происходит в стране:

> Каков же строй, где миллионы Людей, невинно осужденных, Добиться правды не могли?! ...И как же партия посмела Все это молча допустить!

и она приходит к страшному для нее, но честному признанию, «открыв с глубоким изумленьем кулисы собственной страны», что в случившемся есть и ее вина. Герой ее поэмы «Колыма» Матвей Матвеевич, коммунист, человек ее поколения, выразитель ее собственных чувств и мыслей, беседует в бараке с юношейстудентом Сашей:

— Матвей Матвеич, дорогой, Так где же правда революций?! Вы... поколение отцов, Вы отвечаете за это! Молчите! Мне на надо слов, Слова не годны для ответа!

В бараке тихо. Люди спят, И Саша спит с Матвеем рядом. Неправда! Сон бежит от взгляда. Им тяжело... Они молчат.
— Матвей Матвеич,— шепчет Саша,— Простите — вам еще трудней. Вы жили... это... как мне страшно... Как дальше жить?
— Искать друзей, глядеть и думать. Подскажет жизнь дорогу и тебе, и мне. Лишь человеком был бы каждый Из нас и здесь — на самом дне. Ты прав, я жизнью отвечаю За то, что много доверял

И мало думал. Суд не знал Моей вины, а я... я знаю... И для народа своего Сегодня нужен как свидетель Того, что скрыто от него, Что властью держится в секрете, За слово честное о чем Платить положено свинцом. Эх, мне бы час один свободы, Чтоб рассказать любой ценой Друзьям, товарищам, народу О бухгалтерии двойной, Еще не понятой страной. А ты моложе... Тебе надо Жить дальше. Как? Увидишь сам. Лишь верь всегда своим глазам И помни то, что видишь рядом. И знай — где власть народу лжет, Стоит у власти не народ!

### Матвей Матвеевич верит, что

скоро, очень скоро
Иною будет Колыма,
Кому-то дом, а не тюрьма,
В ее расчищенных просторах
Совсем иною будет жизнь...
Возможно, будет коммунизм.
(Допустим, что он все же будет).
Но если так! Какой ценой
Приходят к коммунизму люди,
Их совесть даст ли им покой?!

Не одна Владимирова считала, что нельзя «строить коммунизм ценою рабства потайного». В 1944 году она вместе с товарищами-партийцами и комсомольцами создает на лагпункте подпольную коммунистическую группу, которая противопоставляет «сталинизму» «ленинизм». Их выдал стукач. Владимирову и еще двух членов группы военный трибунал Магадана приговорил к расстрелу, замененному 25 годами каторжных работ. И вот когда не оставалось никакой надежды на то, что она выживет и дождется освобождения, Владимирова начинает писать поэму — рассказ свидетеля, обвинение и предупреждение.

Владимирова была реабилитирована в 1955 году. Поэму «Колыма» она послала на XX съезд КПСС.

Арсений Михайлович Стемпковский (1900—1987) — последний поэт-суриковец, он считал себя учеником Ф. С. Шкулева. «Стихи» он начал сочинять в раннем

детстве, но о том, что такое стихотворный размер, рифма (до этого его стихи были без того и без другого, потому что «содержание не укладывалось в рифму») и что без них стихи не стихи, ему, восемнадцатилетнему пареньку-комсомольцу, объяснил Шкулев и притом подарил книжку своих стихов с надписью «Молодому поэту». Стемпковский сохранил уважение и любовь к автору знаменитых «Кузнецов» на всю жизнь.

Встреча со Шкулевым оказалась для юноши тем счастливым эпизодом в жизни, который помог ему определиться и найти себя. Шкулев — один из главных и характерных деятелей суриковского кружка писателей-самоучек, или, как еще они себя называли, писателей из народа, произвел на Стемпковского такое сильное впечатление потому, что его характер, склад ума и жизненные обстоятельства вели прямым путем в ряды суриковцев.

В предисловии к первому изданию коллективного сборника писателей из народа «Рассвет», составленному И. З. Суриковым и вышедшему в 1872 году, было сказано, что он ставит своей задачей «познакомить читающую публику с произведениями современных наших писателей-самоучек, не получивших научным путем ни образования, ни воспитания, но саморазвившихся, самовоспитавшихся».

Стемпковский по бедности не мог получить образования в детстве до революции; два года церковноприходской школы, приготовительные классы в прогимназии и Строгановском училище — вот и вся его учеба. После революции в годы безработицы хватался за любую работу. Но в нем жила страстная жажда знания, он поступал на многочисленные курсы, учился заочно. К сожалению, для систематических занятий у него никогда не было возможности.

Среди рукописей Стемпковского сохранился составленный им перечень того, о чем он мечтал в разные годы жизни: «История моих мечтаний». Перечень написан, когда автору было уже около 60 лет, и к нему сделано примечание: «Да! Только мечты на 99%!» Мечты начинаются с детского желания: «Купить карандаш «красный с синим» (эта мечта тогда не исполнилась), «Путешествовать как нищий по городам», «Собрать большую коллекцию насекомых», «Я изучил

гипноз и стал великом гипнотизером», «Я — великий композитор, как Бетховен», «великий писатель» и так далее. И среди них есть и такая «мечта» об образовании (она относится к концу тридцатых годов): «Один миллион долларов за 25 лет полной изоляции. Не видеть людей, но иметь радио, переписку со всем светом, нужные книги, возможность учиться — окончить художественный, литературный и архитектурный вузы и консерваторию заочно, работать на продажу вещей и каждый день рисовать и литературно творить. Цена за изоляцию недорогая, так как упускаются лучшие годы жизни и рискуешь умереть, не получив миллиона, но я согласен на это».

По жестокой иронии судьбы Стемпковский вскоре, в 1940 году, попал в «изоляцию». Этот период своей биографии он кратко обозначил так: «Узник с 1940 г. по 46 г. и с 49 по 54 г. ... Дважды осужден общим сроком 16 лет в заключении, 5 лет поражения в правах. Реабилитирован через 20 лет в 1960 г.» Далее идет список тюрем и лагерей, через которые он прошел: Лубянка, Таганская тюрьма, Бутырская, Краснопресненская; Котлас, Батум, следственная тюрьма; лагеря: Севдвинлаг, Алтайлаг, Карлаг, Кетойлаг, Ангарсклаг... В 1941—1945 годах,— замечает он,— «никакой художественной литературы не видел».

Стемпковский не отличался ни хорошим здоровьем, ни силой, ни ростом — про таких говорят: «В чем только душа держится?» Через лагеря он прошел «доходягой», инвалидом и выжил единственно потому, что в нем жила великая вера в добро и справедливость, в человека.

Основу мировоззрения суриковцев составляет простое общечеловеческое житейское соображение: если все люди будут трудиться и жить собственным трудом, а не грабежом того, что добыли другие, то все будут счастливы и тогда не будет угнетения и вражды. По природе своей суриковцы — народные утописты-правдоискатели, наивные с точки зрения прагматиков, увлекающиеся, но бесконечно честные и правдивые перед собой и людьми. Таков их нравственный облик, и главное в нем — несокрушимая вера в вечную истинность добра и преходящую власть зла. В год второго освобождения Стемпковский записывает: «Мой лозунг жизни: «Несмотря ни на

что!» Этой верой и вытекающим из нее доброжелательным отношением к людям в полной мере обладал Стемпковский.

> Да здравствует братство, Да здравствует труд, Да здравствует мудрость, Несчастья умрут!

Да будет бессмертна Идея труда, Да будет согрета Любовью земля.

(«Тост», 1923 г.) -

Совершенно закономерно он должен был увлечься идеями революции, социализма и коммунизма. В 1925 году он вступил в РКП(б). «Живая энергичная деятельность партии меня привлекла к себе, — пишет он в автобиографических заметках. — Особенно привлекала меня культурно-просветительная работа. Я стал ревностным коммунистом, изучал политграмоту и политэкономию в школе. Идеалы коммунизма мне казались совершенством, но, столкнувшись с внутренней жизнью партии, я увидел там чудовищное склочничество в будни и «красивые слова» в дни торжеств. Материалисты действительно далеки от идеи, и всюду на первом месте забота о себе под видом работы для общества. Разрыв между словом и делом привел меня к выходу из партии навсегда». Написано это в 1935 году, а вышел из партии он в 1927-м. Но, выйдя из партии, он продолжает жить «идеалами коммунизма», отчетливо видя искажение их государственной системой. В 1935 году написано стихотворение «Ложь»:

Покрыты скорбью Сердца людей, И меркнут краски Святых идей... И даже самый Мудрейший вождь И тот способен На ту же ложь...

В 1937 году он пишет стихотворение «Рыцарь сталинской эпохи»: Нахлобучив шапку, Подняв воротник, Дрогнет в подворотне Одинокий шпик.

На посту суровом День и ночь стоит И несчастье людям Он в себе таит...

И чернее черной Черная душа, Развивает планы Зло и не спеша.

Потеряв навеки Свою совесть, честь, Он готов и брата Подстеречь и съесть.

Нахлобучив шапку, Подняв воротник, Дрогнет в подворотне Всем презренный шпик.

К счастью, эти стихи и записи не попали в НКВД, иначе судьба поэта была бы иной. Арестовали его по доносу руководства фабрики наглядных пособий, где он работал ретушером и «добивался правды», разоблачая воровство руководителей. Несмотря на замкнутость и молчаливость (свои размышления Стемпковский записывал, но не высказывал), обвинить его (как и любого человека тогда) в антисоветских высказываниях не представляло никакого труда.

Среди обвинений было и литературное. Стемпковский отрицательно относился к Маяковскому, его возмущала проповедь тем насилия. «Появился и его «Левый марш», — вспоминает он, — который с упоением декламировала молодежь, и даже я поддался этой моде, не вникая в суть слов, а слова были ужасные:

Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ маузер!»

Не принимал Стемпковский и художественную форму поэзии Маяковского и в стихотворном обращении к самому себе писал:

Не будь, конечно, Маяковским, А будь Арсением Стемпковским. В пятилетие смерти Маяковского, отмеченном хвалебными статьями, известным высказыванием Сталина, Стемпковский в каком-то разговоре сказал: «Ненормальный поэт ненормального времени». «Это послужило,— вспоминает он,— одним из поводов к моему обвинению. «Как вы могли допустить такие слова? — сказал следователь.— Разве вы не знаете, что сам вождь И. В. Сталин дал хороший отзыв о его произведениях?» Мне нечего было ответить: ведь они одного поля ягоды, а я имею право «свое суждение иметь»...»

Направление и содержание поэтического творчества Стемпковского раскрывается в составленном им списке: «Мое лучшее в поэзии»: «1922 год. Стихотворение «Красная конница». Символическое стихотворение изображает революцию в виде красной конницы, мчащейся за неведомым счастьем. 1923 год. Стихотворение «Дали» изображает страстное желание будущего социалистического общества. Стихотворение «Проводы», написанное в противоположность Демьяну Бедному в мягких, лирических тонах. Изображает переживания матери при отправке сына на войну. 1925 год. Стихотворение «У станка» рисует работу ткача, каковым я стал на Кунцевской фабрике. Стихотворение «Любовь» рисует меня, романтика, влюбленного в прекрасную ткачиху. Написано с большой силой страсти, любви и разлуки». В заключение он подводит итог: «Мне удавались более всего лирические стихотворения — «о любви», «о ненависти» и «о разочаровании»... Очень хорошо поданы стихи — «о труде»... Самое ценное в моей поэзии считаю я — искренность»...

Стихов, написанных Стемпковским в лагере, сохранилось немного, они очень кратки, он обладал слабой памятью и, зная это, все записывал — в лагерях записывать было нельзя, после освобождения удалось восстановить и записать далеко не все.

В лагерных стихах Стемпковского, как и во всех остальных, самое ценное — искренность. Он прав в своей самооценке, но, может быть, искренность — вообще главное достоинство поэзии?

Лев Платонович Карсавин (1882—1952) — профессор, историк-медиевист, специалист по религиозным движениям средневековой Италии, в 1922 году вместе с рядом других крупнейших ученых и мыслителей-

немарксистов был выслан из России; в конце двадцатых годов приглашен в Каунасский университет (переведенный впоследствии в Вильнюс) руководителем кафедры всеобщей истории. В конце десятых начале двадцатых годов более чем собственно история Карсавина занимают философские вопросы, он создает оригинальную религиозно-философскую систему.

В Вильнюсском университете он преподавал до 1946 года, затем был уволен, в 1949 году арестован, в тюрьме у него начался туберкулезный процесс, поэтому после приговора он попал в инвалидный лагерь в Абези.

В лагере здоровье Карсавина быстро ухудшалось, его положили в стационар. На больничной койке, когда бывала возможность, он продолжал работать над новыми сочинениями по философии, задумал и осуществил изложение своих философских идей в стихотворной форме — «Венке сонетов» и «Терцинах».

Инженер А. А. Ванеев, лагерный друг и ученик Карсавина, оставил о нем воспоминания. Он рассказал, как были написаны «Сонеты» и «Терцины»: «После завтрака он устраивался полусидя в кровати. Согнутые в коленях ноги и кусок фанеры служили ему как бы пюпитром. Осколком стекла он оттачивал карандаш, неторопливо расчерчивал линиями лист бумаги и писал — прямым, тонким, слегка проявлявшим дрожание руки почерком. Писал он почти без поправок, прерывал работу лишь для того, чтобы подточить карандаш и разлиновать очередной лист. Прежде всего был записан «Венок сонетов», сочиненный на память в следственной тюрьме... Закончив работу над сонетами, Карсавин продолжил стихотворное выражение своих идей в «Терцинах», после чего написал комментарий к своим стихам... Благоприятное для работы время было непродолжительно. Около 11 часов начинался врачебный обход. Тогда Карсавин убирал в тумбочку все, что относилось к письменной работе, читал, если было что читать, разговаривал... и вообще всю остальную часть дня проводил так же, как это делали все. Люди, окружавшие его, видели в нем чудаковатого старика, писавшего от безделья или ради привычки».

Л. П. Карсавин умер в лагерной больнице 20 июля

1952 года, похоронен на лагерном кладбище. Все могилы этого кладбища безымянны.

К сожалению, я не имею возможности рассказать о каждом поэте, чьи произведения вошли в сборник, котя нужно бы рассказать о каждом — их судьбы в чем-то схожи, но в то же время и неповторимы. Надеюсь, что это еще будет сделано, а сейчас я хотел бы показать лишь одно: лагерный поэт — не тип, каждый лагерный поэт — индивидуальность. Надо бы сказать о лагерных поэтах-фронтовиках,

Надо бы сказать о лагерных поэтах-фронтовиках, о бывших пленных — их поэзия трагична, но мужественна, о лагерных поэтах-студентах, забранных в 1948—1950 годах. Анатолий Жигулин рассказал в автобиографической повести «Черные камни» о себе и своей группе. Похожих групп молодежи, сомневающихся в справедливости сталинского строя и искавших ответа на свои сомнения в трудах основоположников марксизма, было много. Но опять-таки каждый из их участников даже для того, чтобы засомневаться, должен был быть личностью.

Тематика лагерной поэзии бесконечно разнообразна, собственно, она охватывает все области человеческого бытия, как любая поэзия определенной эпохи, в данном случае эпохи Советского государства 1920— 1950 годов, но в то же самое время лагерная судьба поэтов накладывает на их творчество определенную печать: с одной стороны, положение заключенного заставляет на каждом шагу ощущать ограниченность твоей воли и власть жестокого, тупого, лишенного разума произвола над тобой; с другой стороны, то же положение заключенного освобождало мысль от страха, и то, о чем на воле запрещали себе думать, здесь становилось если не всегда предметом разговоров (говорить-то все-таки побаивались), то честных размышлений, в лагерях понимали время вернее и глубже, чем на воле.

Многие — в том числе и партийные функционеры, чье благополучие создавала репрессивная система и которую они сами поддерживали и осуществляли, очутившись в лагере, как поется в известной песне «Я была жена наркома, всем известная, а теперь в тюряге я сижу», — проходили путь освобождения от страха и двойного сознания, что нашло отражение и в поэзии.

Естественное недоверие, подозрение, рожденное следствием и данным им предметным уроком о существовании всеобщего и многоликого корпуса доносчиков и осведомителей — по службе, по убеждению, ради страха иудейского, — выливается в трагическое сомнение в существовании порядочности и нравственности вообще:

Не верь ни другу, ни жене, ни матери родной. В испепеляющем огне не будь самим собой.

(П. Набоков)

Но по мере того как проходит первый тюремный шок, меняется и мировосприятие.

П. Набоков рассказывает, что врач-заключенный, узнав, что он сочиняет стихи, спросил: «А вы не родственник Сирина?» Не сразу признался Набоков в своем родстве со знаменитым писателем, на что врач заметил ему с юмором: «Да у вас, батенька, вульгарный МГБит! Скоро-нескоро, но это проходит». И действительно, подозрительность, отчаянье, мизантропия — проходили. Проходили от общения с людьми: в лагерной зоне честные, нравственные люди встречались в большей концентрации, чем на воле, и были заметнее. Цитированное выше стихотворение П. Набокова кончается утверждением и призывом: «Доверяй!»

Сейчас уже изданы воспоминания бывших лагерников, и народ знает, что такое следствие в ГПУ или НКВД, что такое лагерная жизнь и смерть, каторжный труд, произвол лагерного начальства — все то, о чем еще в 1935 году написала А. Баркова:

Да. Я вижу, о Боже великий, Существует великий ад. Только он не там, не за гробом, Он вот здесь окружает меня.

Не менее жестоки, чем физические, были нравственные страдания: трагическое сознание незаслуженности наказания, которому были подвергнуты

преступники без преступления, виноватые без вины.

(С. Поделков. «Трасса». 1937 г.)

Бессилие опровергнуть ложь, добиться справедливости, тревога за родных и близких, которых также могли взять в любую минуту, подвергнуть пыткам и насилиям. О том, что это не пустые угрозы, обитатели ГУЛАГа знали хорошо. Правда, описаний насилий над беззащитными жертвами в стихах «подпольных поэтов» мне не встречалось. Наверное, тут причиной инстинктивные силы самосохранения психики: ведь описать — это пережить трагедию жертвы и трагедию своего бессилия, и после этого — как не лишиться рассудка... Зато «комиссара», совершающего насилие над женщиной, воспел «поэт чекистов, рыбоводов и комсомольцев» — по выражению И. Бабеля, — Э. Багрицкий. Его герой (рассказ ведется от первого лица) руководит арестом.

«Уходите! — я сказал матросам...— Кончен обыск! Заберите парня! Я останусь с девушкой!»... ...Я ввалился, Не стянув сапог, не сняв кобуры, Не расстегивая гимнастерки, Прямо в омут пуха, в одеяло...

(«Февраль». 1933—1934 гг.)

Подобное смакование насилия над женщиной приходилось слышать в лагере только от уголовников в их песне: «бюстгальтер шелковый зубами я порвал» и «тело девичье я до утра терзал».

Но и то, что есть в стихах «подпольных поэтов», страшно, ко многим из них можно поставить эпиграфом строки Тютчева:

> О Господи!.. и это пережить... И сердце на клочки не разорвалось...

Наверное, самые жестокие муки выпали на долю матерей. Н. Надеждина рассказывает о киносеансе в лагерной зоне; демонстрируют хронику:

Волненье растет все сильней и сильней, Когда на экране — лица детей. Ведь те, кто пришли посмотреть кино, Детей не видели очень давно... В ответ на детское щебетанье В зале глухие звучат рыданья... А где же их дочери, где их сыны, Какие на воле еще рождены? О них так красиво в газетах писали,

«Цветами жизни» их называли. «Цветы» по детским домам разместили, «Цветам» фамилии переменили: «Забудь отца, и он враг, и мать!» Кто смеет так детскую душу терзать?! Как море в часы штормового прибоя, Зрительный зал бушует и воет...

Лев Гаврилов в книге воспоминаний «Золотой мост» рассказывает: «В совхозе «Дукча» под Магаданом. (...) Встретилась мне там одна хорошая женщина. Как и ты — партийная. Муж у нее погиб. (...) Там у них на женской зоне тоже все писали. И она, Аннушка, тоже писала. Не как-нибудь, а стихами писала... И складно они у нее выходили. Прочли мне потом это ее стихотворение... После того, как Аннушку в тюрьму в Магадан взяли. От чистого сердца оно написано каждая строчка искренняя. Там и «отец родной», и «гений», и «солнца свет» — все было. И о детях, которые ждут своих матерей, было сказано так, что у меня, у бездетного, и то слезы глаза застелили. Озаглавлено оно было: «Очнись, Великий Сталин!» Такого заголовка оказалось достаточно, чтобы посчитать этот крик души человека большой крамолой. Аннушку увезли... Теперь вместо «ЧСИР» еще и личное дело по 10 пункту иметь будет...»

Разлука с детьми была страшна, тоска велика. Х. Волович вспоминает слова одной из солагерниц, пожилой партийки: «Если бы партия приказала мне ехать сюда добровольно, разве я бы не поехала? Только сына взяла бы с собой».

Дети в тюрьме и лагере. Сажали матерей с младенцами. Многое забылось, стерлось в памяти, сгладилось, но не забывается, не забывается, как в первую ночь на Лубянке, запертый в боксе, где-то в подвале, я услышал звонкий, быстрый стук детских шагов по кафельному полу в тишине, звонкий детский голосок и тревожно обрывающий его испуганный женский шепот: «Тише... Тише»... Так начинался утренний вывод арестантов на оправку...

Колыбельные песни. Лермонтовская «Казачья колыбельная песня»: «Спи, младенец мой прекрасный...»; А. Н. Майкова «Спи, дитя мое, усни! Сладкий сон к себе мани»; колыбельная из кинофильма «Цирк»:

«Сто путей, сто дорог для тебя открыты». В то время как с экранов страны и по радио пелись эти колыбельные, родилась еще одна колыбельная, ее в 1937—1938 годах не пела (петь запрещено), а шептала в Часовой башне Бутырской тюрьмы своему сыну Мария Терентьева, жена репрессированного писателя Ивана Катаева, которую посадили как ЧСИР — члена семьи изменника родины — вместе с трехмесячным младенцем. В этой, единственной в своем роде «Тюремной колыбельной», как и в каждой колыбельной, поется и о том, чем встретит ребенка завтрашнее утро:

Утром рано, на рассвете Корпусной придет, На поверку встанут дети, Солнышко блеснет.

«Твой отец отважный воин»,— поет казачка у Лермонтова, а в камере Бутырской тюрьмы мать убеждает несмышленыша-сына:

Мальчик мой, не верь в измену Своего отца...

С ребенком Мария Терентьева была отправлена в лагерь. Ее сыну еще повезло: он пробыл в лагере до полутора лет, потом его отдали бабушке. В 1937 году у нас были детские лагеря — для детей врагов народа; из лагерей их распределяли по детдомам. Н. К. Крупская делала попытки смягчить судьбу детей-арестантов, во всяком случае, одна из обитательниц такого детдома вспоминает, что им читали письмо от Крупской, из которого ей запомнились слова: «Малые дети, страдатели наши, будьте здоровы, честны, правдивы, вы не должны отвечать за родителей».

До конца 1940-х годов лагеря были смешанные, где-то мужские и женские бараки находились в одной зоне, где-то лагпункты были разные, но мужчины и женщины встречались на работах. «Одного только не могли уничтожить селекционеры дьявола,— пишет Х. Волович,— полового влечения. Несмотря на запреты, карцер, голод и унижения, оно жило и процветало гораздо откровенней и непосредственней, чем на свободе. То, над чем человек на свободе, может быть, сто раз задумался бы, здесь совершалось запросто, как у бродячих кошек. Нет, это не был разврат публичного

дома. Здесь была настоящая, «законная» любовь, с верностью, ревностью, страданиями, болью разлуки и страшной «вершиной любви» — рождением детей... Просто до безумия, до битья головой об стенку, до смерти хотелось любви, нежности, ласки. И хотелось ребенка — существа самого родного и близкого, за которое не жаль было бы отдать жизнь». В каждом большом лагере существовал «мамочный» лагпункт. Вскоре после родов «мамку» отправляли на работу, младенцев водворяли в отдельный барак. Волович называет его Домом Смерти Младенца. Смертность грудников была огромная, и у Волович дочь умерла в год три месяца. Выживших потом отправляли по детдомам...

«Любовь и голод правят миром» — к чему только и при каких только обстоятельствах не вспоминали эту строчку из стихотворения Ф. Шиллера «Мировая мудрость»; в лагере (как, впрочем, и вне его) часто сводили «любовь» к половому влечению, что отразило известное фольклорное присловье-вопрос доходягдистрофиков: «Чего бы ты сейчас хотел — кило колбасы или бабу?», и вроде о том же и совсем не о том стихи Ю. Грунина:

Я бессилен, немощен, Очень плох. Мне не снятся женщины, Видит Бог.

Снится, что свободен я, Что окреп, Снится моей родины Черный хлеб.

Сытым понимать ли Суть вещей? Пленным снятся матери С миской щей.

Поэзия обладает свойством в событиях и явлениях определять их глубины, недаром поэтическая строка часто соперничает с философской формулой и научным законом. Лагерная любовная лирика, как правило, целомудренна, она — именно любовная, то есть о любви, а не о «половом влечении», о том — другие «сочинения», их и стихами-то никто не считает, и между ними и стихами о любви — пропасть. Они не смешиваются.

Система ГУЛАГа стремилась превратить зека в рабочую скотину, в нечеловека, такой взгляд она воспитывала у охраны, в том числе отрицала и самую возможность, что заключенные могут любить, как они, вольные. (Как не вспомнить о том шоке и удивлении, которое вызвало у крепостников утверждение Н. М. Карамзина: «И крестьянки любить умеют».)

Однажды во время погрузки песка на платформы в карьере — работе тяжелой, непосильной и для многих мужчин, — рассказывает С. Шилова, — ей, двадцатилетней студентке художественного училища, стало плохо, в глазах потемнело, и она упала. «В это время подскочил конвой и стал кричать на меня, приказал встать. Я встала. Приказал взять лопату в руки, я взяла и, вместо того чтоб работать, повисла на этой лопате. А он стал причитать, что он бы никогда не женился на такой и так далее.

— Конечно,— сказала я, обозлившись,— вам нужно жениться на кобыле, потому что она больше годится для работы.

Глаза его округлились, минуту он молчал, не находя слов, потом выпалил:

— А ты?! Для чего?!

Вспомнив Толика, я сказала:

— А я? Я — для любви.

Тут я вижу, у него шарики зашли за ролики: глядит на меня, а переварить не может. Смотрю, сорвался и побежал к начальнику конвоя. Выслушав солдата, тот кинул сигарету, поднялся и быстрым ходом ко мне.

— Чего, чего — для любви? Ха, интересно.— Я висела на лопате, а он оглядывал меня с ног до головы.— А вы все недостойны любви. Родину предавали. Продолжайте искупать свою вину.

Я уже немного отдохнула и стала искупать свою вину. Но они еще никак не могли угомониться и все рассуждали о моем заявлении».

Любовь — одна из главных тем поэзии, в том числе и лагерной. Я хотел бы обратить внимание на несколько общих направлений ее разработки лагерными поэтами. Воспоминания о прошлом и мечты о будущем естественны для человека, оторванного от любимой или любимого. Несмотря на то что очень часто подтверждались горькие строки знаменитой песни:

# Я знаю, меня ты не ждешь И писем моих не читаешь...—

пожалуй, одна из наиболее распространенных тем их любовной лирики— это тема верности любимой и ожидания.

Солженицын описывает концерт в лагере:

«И вот однажды было объявлено:

— «Женушка-жена»! Музыка Мокроусова, слова Исаковского. Исполняет Женя Никишин в сопровождении гитары.

От гитары потекла простая печальная мелодия. И Женя перед большим залом запел интимно, выказывая еще недоочерствленную, недовыхоложенную нашу теплоту:

Женушка-жена! Только ты одна, Только ты в душе моей!

Только ты одна! Померк длинный бездарный лозунг над сценой о производственном плане. В сизоватой мгле зала пригасли годы лагеря — долгие прожитые, долгие оставшиеся. Только ты одна! Не мнимая вина перед властью, не счеты с нею. И не волчьи наши заботы... Только ты одна!..

Милая моя, Где бы ни был я— Всех ты мне дороже и родней!

Песня была о нескончаемой разлуке. О безвестности. О потерянности. Как это подходило! Но ничего прямо о тюрьме. И все это можно было отнести и к долгой войне.

И мне, подпольному поэту, отказало чутье: я не понял тогда, что со сцены звучат стихи еще одного подпольного поэта (да сколько ж их?!), но более гибкого, чем я, более приспособленного к гласности.

А что ж с него? — ноты требовать в лагере, проверять Исаковского и Мокроусова? Сказал, наверно, что помнит на память.

В сизой мгле сидели и стояли человек тысячи две. Они были неподвижны и неслышны, как бы их и не было. Отвердевшие, жестокие, каменные — схвачены были за сердце. Слезы, оказывается, еще пробивались, еще знали путь.

#### Женушка-жена! Только ты одна! Только ты одна в душе моей!..»

О том же, но не только о своей верной любви, но и о вере в любовь той, с которой тюрьма разлучила много лет назад, пишет Ю. Стрижевский:

Ты в далекой столице живешь одиноко И, я знаю, мечтаешь о встрече со мной.

В другом стихотворении он описывает будущую встречу:

Ты меня у ворот повстречаешь В тихом свете весеннего дня И, конечно, не сразу узнаешь В этом старом бродяге меня.

Я забуду про боль, про невзгоды И навстречу тебе поспешу, Ведь недаром я все эти годы Образ твой в своем сердце ношу.

Иные жили любовью-воспоминанием, к другим любовь приходила в лагере. Первую любовь пережил в заключении Ю. И. Чирков:

Спасибо тебе, дорогая! Ты мне так тепло улыбнулась, Что сердце мое, дорогая, На миг для тебя встрепенулось!

В лагере полюбила Светлана Шилова — ее забрали сразу после окончания художественного училища, и было ей двадцать лет:

Я совсем ведь еще молодая, А на воле бушует весна...

С. Шилова встретила Его на больничном лагпункте, в санчасти, куда ее под конвоем водили на уколы, в санчасть заглянул парень, они только поглядели друг на друга. «И вдруг!!! я поняла — это он, и никто другой!!! Когда я возвращалась в наш домик, то увидела этого Толю около тубкорпуса, что находился прямо рядом, напротив нас, всего в каких-то десяти, но непреодолимых метрах: мы были рассечены густой сетью колючей проволоки. Теперь я вспомнила, что уже видела его здесь. Значит, он болен — и серьезно, в этом

корпусе лежали зэки с открытой формой туберкулеза. Когда прозвенел звонок на отбой, я еще долго думала о нем... и о том, что так быстро влюбилась. Но все здесь влюблялись скоропалительно, трагически и нежно, потому что никто не знал, сколько отпущено дней, когда внезапно отправят на этап, спешили получить светлые эмоции, чтоб увезти с собой улыбку, взгляд, жить этим воспоминанием в долгих годах скитаний и одиночества, когда это единственное превращается в мечту, потому что нет ничего другого».

Записки, переброшенные через колючую проволоку, обмен взглядами, когда бригады ведут на работу, два отчаянных поцелуя на глазах надзирателей, этап и — известие, что он умер,— вот и вся история любви.

Светлана Шилова, влюбившись, беззаветно отдалась своему чувству, ей любовь представлялась радостью, светлым счастьем. Она еще не знала, вернее знала разумом, но не прочувствовала сердцем, что лагерная любовь несет не только радость, но и страданье.

Трагически звучит тема любви в лирике Анны Барковой:

> Мы с тобой влюблены и несчастны, Счастье наше за сотней преград.

Умудренная лагерным опытом, отбывающая второй срок, она старается подавить в себе чувство любви:

Да, мне дороги стали слишком Эти белые вечера. Значит, мне наступила крышка. Что же делать? Пора.

...Не заваривай адское варево, Расхлебаешь его сама.

Белая ночь. Весенняя ночь. Падает северный майский снег. Быстро иду от опасности прочь На арестантский убогий ночлег.

Она пытается убедить себя, что ее нельзя полюбить, что она некрасива:

Голос хриплый и грубый — Ни сладко шептать, ни петь. Немножко синие губы, Морщин причудливых сеть.

### Уговаривает себя:

Надо помнить, что я стара И что мне умирать пора.

Однако любовь оказывается сильнее чувства осторожности, и Баркова, иронизируя, уже подчиняется ей:

Даже старость не может быть крепостью, Защищающей от напастей. Нет на свете страшнее нелепости, Чем нелепость последней страсти.

Но каким ужасом (одно ее стихотворение так и называется «Обыкновенный ужас») оборачивается, казалось бы, счастливая, взаимная, но лагерная любовь — оскорблением человеческого достоинства и самой любви.

Ну как же при этом быть с любовью? Кругом народ — посторонние. На грязной доске, на жестком изголовье Мы любовь свою похороним.

## И после этого неотвратимый конец — этап, разлука:

Прошло семь месяцев в разлуке, Сегодня первое число. Мы с горя не ломаем руки, Хоть нам и очень тяжело.

...Когда от боли непрерывной Мы еле сдерживаем крик, Когда надежд слепых наивность Нас покидает в горький миг,—

Мы все таим и помним свято: Спасет молчание одно Все то, чем жили мы когда-то, Чем жить нам дальше суждено.

Лагерная любовь предстает в трагической окраске, даже если автор и не ставит себе сознательной задачи придать ее своим стихам. Роман-антиутопия Е. Замятина «Мы» с его страшной фантазией о людях-номерах и любви не людей, но номеров мы в нашей стране не

знали, а в мире была уверенность, что эта устрашающая фантазия никогда и нигде не может стать действительностью. Но как будто страничка из этой антиутопии стихи лагерной поэтессы:

> Но любовь тоже ходит по тюрьмам, Зажигая собою сердца, И я, двести тридцать четыре, Полюбила шестьсот тридцать два.

> > (С. Шилова)

«Любовь, если она не реализована, принимает фантастически прекрасные формы,— пишет С. Шилова.— Когда я была на свободе, мне столько раз казалось, что я любила кого-то, но то, что теперь, на то совсем непохоже: мое сердце болело от жалости, от жалости к сильному молодому мужчине, которого спутали по рукам и ногам,. перечеркнули жизнь и обмазали грязью все святое, что нес в себе этот человек. И не просто к абстрактному мужчине, а к мужчине, внешний облик которого так соответствовал моим идеальным представлениям, и духовный мир его так был мне понятен и близок...»

Сейчас из русского литературного языка ушло слово «жалеть» в смысле «любить», а вот само чувство, обозначаемое этим словом, осталось. В народной русской песне поется:

Я которого во девицах любила, Я которого во красненьких жалела.

В академическом Словаре русского языка 1955 года при слове «жалеть» в значении «любить» стоит помета «областное», близость и различие слов «любить» и «жалеть» в литературе в последний раз, пожалуй, зафиксировано в есенинской строке: «Ты меня не любишь, не жалеешь» (правда, в его время в словаре слово «жалеть» поясняли «сильно любить»).

Лагерная любовь — это почти всегда любовь-жалость, любовь-сочувствие, любовь-доброта, то есть та духовная область, которая была особенно нужна людям и которую из них старались выбить, в любви находило выход природно присущее человеку милосердие, гуманность, подавляемые в государственном масштабе, это был протест человечного в человеке против бесчеловечия, и такой ее изображает лагерная поэзия: А кругом лишь одни сторожа, Целоваться с любимым нельзя. Мы дарили улыбки свои... И писали стихи о любви.

А любовь в тюрьме — нежней, А любовь в тюрьме — светлей, Потому что там ей больней... Потому что там ей трудней...

(С. Шилова)

В лагере человек, лишенный собственной воли, в какой-то момент обязательно задумывается над тем, какие причины и какие силы управляют его судьбой, и он закономерно приходит к тому кругу вопросов и проблем, который составляет философию истории.

Идея о причастности «виновных без вины» к общеисторическому процессу содержится уже в такой распространенной и общей сентенции, как «лес рубят — щепки летят», заключающей в себе попытку объяснения происходящего.

Вообще человеческий разум не может примириться с бессмысленностью, потому что бессмысленность — это конец, гибель, и он ищет смысла порой даже не из желания познания истины, а по сильнейшему инстинктивному чувству самосохранения личности.

В лагере все сидевшие по 58-й в какой-то период поддавались соблазну найти логику, смысл и часто оправдание своего заключения. Иные — в большинстве случаев члены партии — старались поверить, что это необходимо для партии и революции, что революция должна защищаться от врагов, которые кишмя кишат вокруг. Был в этой концепции изъян: о себе-то они знали, что они не совершали вменяемые им преступления, но и этому находилось объяснение: каждом великом деле бывают ошибки и издержки, так вот они — жертвы ошибки, и правда должна восторжествовать. Кое-кому такая вера, регулярно опровергаемая ответами на их бесчисленные просьбы и заявления в разные учреждения и на разные имена, но окостеневшая и лишившаяся разумного начала, помогла выжить.

Распространено было мнение, что в органы (иногда шли дальше, считая, что и в правительство) пробрались зарубежные шпионы, фашисты: Иль зарубежная разведка Огромный сделала подкоп...

(Е. Владимирова)

А может, пролезло фашистское рыло, ему мы обязаны ролью врагов? (Ю. Груния)

Искали и высший положительный смысл.

Революционная идея построения нового великого общества всеобщего счастья глубоко проникла в сознание людей и овладела им. Сама идея, что наше время созидает это общество будущего, была всеобщей, само собой разумеющейся и неопровержимой, и поэтому идея, что страстной путь миллионов невинных подготавливает это будущее, также часто являлась крепкой нравственной опорой.

А. А. Тришатов вспоминает древний языческий обычай закладывать в фундамент строящегося здания живую жертву и сравнивает с современностью:

Сейчас создается эпоха, И в низ ее — в щебень и в бут, Чтоб здание вышло неплохо, Живых миллионы кладут.

Мы схвачены — злой и невинный. За что? Пусть Господь разберет. И движется длинный-предлинный Наш, к гибели нашей, черед.

Но, брат мой, вмурованный в камень, Пойми, мы недаром легли, Мы то, что крепится в фундамент Всей будущей жизни земли.

Иные готовы были считать выпавшие на их долю страдания не наказанием за то, в чем их обвиняли, а расплатой за прежнюю «грешную» или слишком счастливую жизнь:

А я поняла, что нечем Свалить мне горя огромный камень, Что обрушился мне на плечи. Жизнь моя встала передо мною Вся целиком. Без возврата... Я поняла с смертельной тоскою, Что я сама виновата. Не потому, что меня обвиняли

В том, чего не бывало, А потому, что я всем играла, Играла всем, что попало. Это плата за то, что праздник длился,— Ни в чем не была я бедной,— За то, что утехам земным молилась... ...За это теперь я все приемлю. ....За это теперь мне — Крайний Север, Страницы Дантова ада.

(Т. Сухомлина-Лещенко)

Однако в попытках объяснения, оправдания, блуждания в софизмах двойного сознания в конце концов приходило понимание трагедии эпохи:

Ну что ж, друзья! Не так уж плохо, Минуя книги иногда, Иметь учителем эпоху В ее великие года. Когда выходит все наружу, Когда глазам открыта жизнь И катастрофой обнаружен Ее подспудный механизм. Пройдут года, напишут книги, Опять пойдет ученый спор, Опять профессорская клика Произнесет свой приговор. Начнет историк путать нити, Блуждать в событиях былых, Но ты — свидетель тех событий, Но ты — живой участник их, Когда ты разумом природным И сердцем честным наделен, Какой удачей ты почтен, Найдя источник первородный Живой истории, — того, Что всех наук лежит в основе...

(Е. Владимирова)

И обо всем том, что сейчас называют «белыми пятнами» нашей истории, «подпольные поэты» писали с позиций своего знания, своего прозрения, но — увы! — их знание и прозрение шло впереди общественного исторического сознания и было обречено:

Ты прав, несчастный безумец, Но гибель в твоей правоте.

(А. Баркова)

Люди восьмидесятых годов, историки, обращаясь к прошлому, во многом трактуют и оценивают это прошлое так же, как трактовали и оценивали его занумерованные современники. Впрочем, об этом писал поэт, писал тогда:

...мы все здесь свидетели. Свидетелей тоже легко посадить! И все те мы встанем — мы, наши дети ли и станем историю миром судить.

(Ю. Грунин)

У всех поэтов-лагерников в творчестве присутствует историческая тема. Осознание себя в истории и своего времени в цепи времен приводило к широким обобщениям, и тогда личная судьба, личная трагедия не закрывала общего направления исторического процесса (не исключая при этом срывов, блужданий, ошибок) к совершенствованию и прогрессу.

Подразумевая под Римом советский государственный тоталитаризм и под эллинизмом гуманистическое начало, А. Л. Чижевский в 1943 году — в тюрьме, в ожидании отправки в лагерь, в начале срока, когда он представляется особенно страшным, — писал в стихотворении «Пирр»:

Но предвосхитил ты непостижимо Незыблемый истории закон: Не эллины легли в подножье Рима, Но Рим был эллинизмом побежден.

Д. Андреев, отбывая во Владимирской тюрьме двадцатипятилетний срок и работая над историческим трактатом «Роза мира», приходит «в недрах русской тюрьмы» к оптимистическому историческому прозрению:

Дни скорбей и труда — эти грузные, косные годы Рухнут вниз, как обвал, — уже вольные дали видны; Никогда, никогда не впивал я столь дивной свободы, Никогда не вдыхал всею грудью такой глубины!

Но, пожалуй, важнее политического опыта преподанный лагерем опыт духовный: через злобу, отчаянье — к сочувствию, милосердию, к осознанию высшей ценностью в человеческом общежитии добра, от классовых, групповых, кастовых ценностей — к общечеловеческим, изначальным и, как показывает исторический опыт,— конечным.

В 1928 году, заканчивая срок на Соловках, М. Фроловский говорит, что он

Стал смелее, тише и суровей, Стал суровей, может быть, добрей.

И четверть века спустя, в 1954 году, в смутное и тяжелое для заключенных по 58-й статье время, когда, несмотря на смерть Сталина, с именем которого лагерники связывали репрессивную политику, в их судьбе не происходило никаких изменений и люди думали, что им придется, как и при нем, отсиживать свои двадцать или двадцать пять, написана «Молитва» П. Набокова.

Мы новые колокола, Господь.
Ты — наша песня.
Дай силу душе, как огонь, чистую.
Пусть времена изменчивые не поколеблют нас, какие бы пришельцы мимо нас ни мчались.

И ужасной войны разоренье уменьши. Если можешь, страданий путь сократи. Дай силы путем страдания идти И души к злу не приковать.

Зажги в сердцах мысль, укрепляя нас: «Не мне, но моему народу жить суждено!» За мысль эту, если нужно, наши молодые жизни ты возьми.

Чтобы напрасной эта жертва не казалась, одна молитва лишь останется: «Зажги в сердце мысль глубокую, горячую,—что все же счастье расцветет, рано или поздно!»

Тебе, моя будущая Родина.

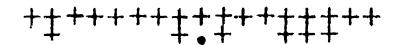
В такое-то время и при таких-то условиях сказать:

Дай силы путем страдания идти и души к злу не приковать!..

Лагерная поэзия — это победа духа над бездуховностью, человеческого над бесчеловечным, вечной правды над временными обманами.

П. А. Флоренский в феврале 1937 года, получив в Соловках номер газеты, посвященный столетней годовщине гибели А. С. Пушкина, пишет в письме к семье: «Можно чувствовать удовлетворение, когда видишь хотя бы самый факт внимания к Пушкину. Для страны важно не то, что о нем говорят, а то, что вообще говорят; далее Пушкин будет говорить сам за себя и скажет все нужное». В настоящем предисловии я сказал далеко не все, что хотел и задумывал и что нужно было бы сказать, на что обратить внимание читателя, но слова П. А. Флоренского в какой-то степени сглаживают и успокаивают чувство неудовлетворенности: конечно, для этой статьи главное, что она могла быть написана и напечатана, а важнее всего то, что со страниц этой книги скажут ее авторы и каждый «будет говорить сам за себя и скажет все нужное».

Вл. Муравьев



# СЛОВА НАРОДНЫЕ

ЕСТЬ ЛАГЕРНЫЕ ПЕСНИ, КОТОРЫЕ ПЕЛИ В ТЕСНОМ КРУЖКЕ ДРУЗЕЙ НА ЛАГПУНКТЕ, ОТКЛИКАВШИЕСЯ НА МЕСТНЫЕ ТЕМЫ И УХОДИВШИЕ В НЕБЫТИЕ, КАК ТОЛЬКО ТЕМА ИСЧЕРПЫВАЛАСЬ. НО ЕСТЬ ТАКЖЕ ПЕСНИ, ВЫРАЖАЮЩИЕ САМЫЕ ЗАВЕТНЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ ЧЕЛОВЕКА, СТРАДАЮЩЕГО ОТ НЕВОЛИ. ОНИ БЫТОВАЛИ БЕЗ АВТОРСКИХ ИМЕН И БЫЛИ ОБЩИМ ДОСТОЯНИЕМ НАРОДА АРХИПЕЛАГА ГУЛАГ. ИНОГДА ИМЯ АВТОРА СТАНОВИЛОСЬ ИЗВЕСТНО, НО КРОМЕ АВТОРСКОГО ВСЕГДА СУЩЕСТВОВАЛО НЕСКОЛЬКО ДРУГИХ ВАРИАНТОВ ТАКИХ ПЕСЕН. МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ИХ СЛОВА ПОИСТИНЕ НАРОДНЫЕ. ПЕРВОЕ МЕСТО В ЛАГЕРНОМ ПЕСЕННОМ ФОЛЬКЛОРЕ ЗАНИМАЕТ «ВАНИНСКИЙ ПОРТ», КОТОРЫЙ ПЕЛИ ОТ ВЛАДИВОСТОКА ДО БРЕСТА, ПОЮТ И СЕЙЧАС

### Я ПОМНЮ ТОТ ВАНИНСКИЙ ПОРТ

Я помню тот Ванинский порт И вид парохода угрюмый, Как шли мы по трапу на борт В холодные мрачные трюмы.

На берег ложился туман, Ревела стихия морская. Пред нами стоял Магадан, Столица Колымского края.

А в трюмах сидели зэка, Обнявшись, как ро́дные братья, И только порой с языка Срывались глухие проклятья.

Будь проклята ты, Колыма, Что прозвана чу́дной планетой! Сойдешь поневоле с ума, Отсюда возврата уж нету... Я знаю: меня ты не ждешь И писем моих не читаешь, Встречать ты меня не придешь, А если придешь,— не узнаешь...

#### ВАНИНСКИЙ ПОРТ

Я помню тот Ванинский порт И вид парохода угрюмый. Как шли мы по трапу на борт В холодные мрачные трюмы.

На море спускался туман. Ревела стихия морская. Лежал впереди Магадан, Столица Колымского края.

Не песня, а жалобный крик Из каждой груди вырывался. «Прощай навсегда, материк!» — Хрипел пароход, надрывался.

От качки стонали зэка, Обнявшись, как родные братья. И только порой с языка Срывались глухие проклятья:

— Будь проклята ты, Колыма, Что названа чу́дной планетой. Сойдешь поневоле с ума — Отсюда возврата уж нету.

Пятьсот километров — тайга. В тайге этой дикие звери. Машины не ходят туда, Бредут, спотыкаясь, олени.

Там смерть подружилась с цингой. Набиты битком лазареты. Напрасно и этой весной Я жду от любимой ответа. Не пишет она и не ждет И в светлые двери вокзала,— Я знаю,— встречать не придет, Как это она обещала.

Прощай, моя мать и жена! Прощайте, вы, милые дети. Знать, горькую чашу до дна Придется мне выпить на свете!

## ΜΑΓΑΔΑΗ

В Кремле заседанье идет, Судьбу заключенных решают. А там, далеко, в Колыме Безвинные люди страдают.

Я помню тот Ванинский порт И вид пароходов угрюмых, Как шли мы по трапу на борт В холодные мрачные трюмы.

В трюмах сидела шпана, Обнявшись, как ро́дные братья, И только порой с языка Срывались глухие проклятья.

Будь проклят ты, Магадан, Столица Колымского края. Сойдешь поневоле с ума, Оттуда возврата уж нету.

Семьсот километров тайга, И нет никаких там селений, Машины не ходят туда, Бегут, спотыкаясь, олени.

Я знаю, меня ты не ждешь И писем моих не читаешь, Встречать ты меня не придешь, За стыд, за позор посчитаешь.

#### БОРИС ЕМЕЛЬЯНОВ

# МОРЕ БЕЛОЕ — ВОДНАЯ ШИРЬ

Море Белое — водная ширь, Соловецкий былой монастырь. И со всех концов русской земли Нас любовно сюда привезли.

#### Припев:

Всех, кто наградил нас Соловками, Просим, приезжайте сюда сами, Посидите здесь годочков три иль пять — Будете с восторгом вспоминать.

Соблюдая кодекс трудовой, Охраняет нас милый конвой. А зимой стерегут от беды Целых полгода крепкие льды.

#### Припев.

Хороши по весне комары, Чуден вид от Секирной горы. И от разных ударных работ Здоровеет веселый народ.

## Припев.

Привезли нам надежд полный куль Бокий, Фельдман, Филиппов и Вуль. А назад повезет Катанян Только грустный напев соловчан.

### Припев.

Так живем мы, не зная тоски, Благовонной покушав трески. И, вернувшись в родительский дом, С умилением тихо споем.

#### Припев:

Всех, кто наградил нас Соловками, Просим, приезжайте сюда сами, Посидите здесь годочков три иль пять — Будете с восторгом вспоминать.

1926 rog

#### СЕКИРНАЯ ГОРА

На седьмой версте стоит Секирная гора, Там творились страшные дела: В муравейник нас сажали, Шкуру заживо снимали, Ох, зачем нас мама родила. Много, много видела Секирная гора, Под горой под той зарыты мертвые тела. Буря по лесу гуляет, Мама родная не знает, Где зарыты косточки сынка.

1920-е годы

#### СОЛОВКИ

Занесет нас зимою метель И запрячет на полгода в щель, Но не знают совсем Соловки Ни забот, ни тревог, ни тоски...

### Припев:

Хорошо из дали Соловецкой В мир глядеть с улыбкою нам детской. И куда ты ни посмотришь — там и тут Песенки веселые поют!

От метелей морозных и вьюг Мы, как чайки, вернемся на юг. И сверкнут позади огоньки— Соловки, Соловки, Соловки!

#### Припев.

И когда-нибудь тихой зимой Мы сберемся знакомой толпой, И беззлобно начнут старики Вспоминать Соловки, Соловки!

### Припев:

Хорошо из дали Соловецкой В мир глядеть с улыбкою нам детской. И куда ты ни посмотришь — там и тут Песенки веселые поют!

## ИЗ КОЛЫМСКОГО ДАЛЬНЕГО КРАЯ...

Из Колымского дальнего края Шлю тебе я, малютка, привет. Как живешь ты, моя дорогая, Напиши поскорее ответ.

Я живу близ Охотского моря, Где кончается Дальний Восток, Я живу без нужды и без горя, Строю новый стране городок.

Скоро кончится срок приговора, Я с горами, с тайгой распрощусь, И на поезде в мягком вагоне, Дорогая, к тебе я вернусь.

1930-е годы

### ЭШЕЛОН \*

За вагоном проходит вагон С гулким стуком по рельсовой стали. Спецэтапом идет эшелон Из столицы в таежные дали. Здесь на каждом вагоне замок, Три доски вместо мягкой постели,

<sup>\*</sup> На мотив танго А. Вертинского «Тоска по Родине».— Сост.

И, закутавшись в сизый дымок, Мне мигают дорожные ели.

### Припев:

Не печалься, любимая!
За разлуку прости меня.
Я теперь далеко от тебя,— дорогая, прости!
Как бы ни был мой приговор строг,
Я вернусь на родимый порог,
И, тоскуя по ласке твоей, я в окно
постучусь...

Завернувшись в тулуп с головой, Проезжая снега и болота, Здесь на каждой площадке конвой Ощетинил свои пулеметы.

Десять лет трудовых лагерей Подарил я рабочему классу, Там, где стынут лишь трупы зверей, Я построил колымскую трассу.

## Припев.

Там, где вязнут в снегах трактора, Даже «Сталинцу» сил не хватало, Эта песня под стук топора Над тайгой заунывно звучала... За вагоном проходит вагон, С гулким стуком по рельсовой стали, Спецэтапом идет эшелон Из столицы в таежные дали...

### Припев:

Не печалься, любимая!
За разлуку прости меня.
Я теперь далеко от тебя,— дорогая, прости!
Как бы ни был мой приговор строг,
Я вернусь на родимый порог,
И, тоскуя по ласке твоей, я в окно
постучусь...

# НОВЫЙ ГОД \*

Новый год, порядки новые, Колючей проволокой лагерь обнесен, Везде глядят на нас глаза суровые, И смерть голодная грозит со всех сторон.

Милая, Не будь унылая, Хоть и мучителен тяжелый приговор. Придет свободы час, Судьба спасет всех нас, А за тюрьмы забор сам въедет прокурор.

Конец 1930-х годов

## ГРИГОРИЙ ШУРМАК

## «ВОРКУТА — ЛЕНИНГРАД»

По тундре, по железной дороге, где мчится курьерский «Воркута — Ленинград», мы бежали с тобою, ожидая тревоги, ожидая погони и криков солдат.

Это было весною, одуряющим маем, когда тундра проснулась и оделась в ковер. Снег, как наши надежды на удачу, все таял... Это чувствовать может только загнанный вор!

Слезы брызнут на руку иль на ручку нагана, там вдали ждет спасенье— золотая тайга. Мы пробьемся тайгою, моя бедная мама, и тогда твое слово— мне священный наказ!

По тундре от железной дороги, где мчится курьерский «Воркута — Ленинград», мы бежали с тобою, ожидая тревоги, ожидая погони и криков солдат.

1942 год

<sup>\*</sup> На мотив танго «Брызги шампанского».— Сост.

#### ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ

#### ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ

Товарищ Сталин, вы большой ученый — В языкознанье знаете вы толк, А я простой советский заключенный, И мне товарищ — серый брянский волк.

За что сижу, воистину не знаю, Но прокуроры, видимо, правы. Сижу я нынче в Туруханском крае, Где при царе сидели в ссылке вы.

В чужих грехах мы с ходу сознавались, Этапом шли навстречу злой судьбе, Но верили вам так, товарищ Сталин, Как, может быть, не верили себе.

И вот сижу я в Туруханском крае, Где конвоиры, словно псы, грубы, Я это все, конечно, понимаю, Как обостренье классовой борьбы.

То дождь, то снег, то мошкара над нами, И мы в тайге с утра и до утра. Вы здесь из искры разводили пламя,— Спасибо вам, я греюсь у костра.

Мы наш нелегкий крест несем задаром Морозом дымным и в тоске дождей И, как деревья, валимся на нары, Не ведая бессонницы вождей.

Вы снитесь нам, когда в партийной кепке И в кителе идете на парад, Мы рубим лес по-сталински, а щепки, А щепки во все стороны летят.

Вчера мы хоронили двух марксистов, Тела одели ярким кумачом, Один из них был правым уклонистом, Другой, как оказалось, ни при чем. Он перед тем, как навсегда скончаться, Вам завещал последние слова: Велел в евонном деле разобраться И тихо вскрикнул: «Сталин — голова».

Дымите тыщу лет, товарищ Сталин, И пусть в тайге придется сдохнуть мне, Я верю: будет чугуна и стали На душу населения вполне.

Начало 1950-х годов

# МИХАИЛ ФРОЛОВСКИЙ

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ФРОЛОВСКИЙ (1895—1943).
ИНЖЕНЕР, СЛУЖАЩИЙ. ВПЕРВЫЕ АРЕСТОВАН В 1925 ГОДУ.
ДО 1928 ГОДА ОТБЫВАЛ СРОК НА СОЛОВКАХ,
ПОСЛЕ ЧЕГО СОСЛАН НА ПОСЕЛЕНИЕ СНАЧАЛА В КЕМЬ,
А ЗАТЕМ НА УРАЛ. В 1941 ГОДУ БЫЛ АРЕСТОВАН ВНОВЬ.
УМЕР В ЗАКЛЮЧЕНИИ (ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО В КАРЛАГЕ).
КАК ПОЭТ В ПЕЧАТИ НЕ ВЫСТУПАЛ

#### СОЛОВКИ

Сонет

Упорно шли на север поколенья Безмолвною борьбой утомлены, Измучены, но не побеждены, Победы предвкушая наслажденья.

Ослабевали страстные виденья И отступали огненные сны, Когда высокой вековой стены Смыкали круг тяжелые каменья.

Себя сама не в силах побороть, Воздвигла их бунтующая плоть, И, памятник борьбы неумолимой, Из вздохов, слез, молитвы и постов Встал монастырь, монах неутомимый, Над зеленью пустынных островов.

Тяжело сдавили своды, Тяжело гнетет тюрьма, Мутным призраком свободы За решеткой дразнит тьма. Спит тюрьма и трудно дышит, Каждый вздох — тоска и стон, Только мертвый камень слышит, Ничего не скажет он.

Но когда последней дрожью Содрогнется шар земной, Вопль камней к престолу Божью Пронесется в тьме ночной.

И когда, трубе послушный, Мир стряхнет последний сон, Вспомнит камень равнодушный Каждый вздох и каждый стон.

И когда последний пламень Опалит и свет, и тьму, Все расскажет мертвый камень, Камень, сложенный в тюрьму.

Спит тюрьма и тяжко дышит, Каждый вздох — тоска и стон, Неподкупный камень слышит, Богу все расскажет он.

1925 год. Великий Четверг

#### КРЕСТЫ

В морях, где румпель морехода Не вел ни разу корабля, Где бьется в камни непогода, Где в лед закована земля,

Там в пламени зари морозной Над угловатою скалой Глядится в море призрак грозный — Три тени смотрят в мрак ночной.

Три крестных тени недвижимы Над грудой серых валунов, И море, страж неумолимый, Хранит их в сумраке веков.

Хранит в пустыне бездорожной Их моря пенящийся вал, И белых чаек крик тревожный Не оглашает черных скал.

Но в час последнего призыва К безлюдным, тихим берегам Волной великого прилива Мы все сольемся к трем крестам.

Из недр земли, со дна пучины Немой, испуганной толпой, Комки проснувшиеся глины, Мы соберемся под скалой.

На неприступные ступени Поставим влажную стопу, И трех крестов большие тени Накроют бледную толпу.

1926 rog

# ПРОЩАНИЕ С ИЗБОЙ «ГОРОДОК»

Тебе, прокопченной избе косарей, Я кланяюсь низким поклоном За черную стену декабрьских ночей, Молчанья пронизанных звоном.

За шум исковерканных ветром берез, Замученных нордами елей, За редкое солнце, за крепкий мороз, За арии диких метелей.

За первые капли дождя на крыльцо В тумане весеннего пара, За ветер колючий, покрывший лицо Коричневой маской загара.

За стоны приливом изломанных льдин, За дни без ночей и рассвета, За первые почки у нежных осин, За ласку короткого лета.

За то, что среди оскорбленных святынь, Не ведая горькой утраты, Святыню далеких, безлюдных пустынь Доселе одна сберегла ты.

Я ей поклонился под кровлей твоей, Курная изба стариков косарей.

1927 rog

#### НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ

Мы в семнадцать — учились любить, В двадцать лет — умирать научились, Знать, что если позволено жить,— То еще ничего не случилось.

В двадцать пять — научились менять Жизнь на воблу, дрова и картофель; Было некогда нам замечать Нежной краской зардевшийся профиль.

Жили мы — как в теплушке тряслись, Дни — мильярды кидали без счету, Ну, а в тридцать — за книгу взялись, Неумелой рукой за работу.

Вместе с юношей мы в тридцать пять Жизнь сколачивать вдруг начинаем, Разрушаем и строим опять, А как строить — и дальше не знаем.

Что ж осталось узнать к сорока? — Мы так много страниц пропускали. Разве только, что жизнь коротка. — Так ведь это и в двадцать мы знали.

19 февраля 1928 года. Кемь

\* \* \*

Я хочу к тебе вернуться прежним, Прежним быть, как много лет назад. Не гляди, что время неизбежно Заостряет мой спокойный взгляд.

Стал смелее, тише и суровей, Стал суровей, может быть, добрей. Слишком много потеряло крови Мое сердце в этой смуте дней.

Но зато по-новому быть нежным, Нежным быть могу — но не с тобой, Я с тобой хочу остаться прежним Мальчиком с большою головой.

10 апреля 1928 года

#### КЕМЬ

Кемь, карельский чулан, снеговая нора, Нет в тебе ничего для поэта, Ничего, что б под властью волшебной пера Заблистало б в оправе сонета.

Ничего! Темнота, непробудная лень, Грязь и снег, исполком и казенка, Словно вылез на берег лохматый тюлень И по-русски ругается звонко.

Моя бедная Кемь! Я особый поэт, Не такой, как другие поэты. Из тебя я увидел покинутый свет И тебя не забуду за это.

Я из этой норы, как сквозь щели дверей, Подсмотрел на свободу чужую... Показалось мне — солнце глядит посветлей И теплее на землю родную.

Я почувствовал воздуха запах и вкус, Обнял жизнь свою грубо и сильно; Я приехал к тебе — неврастеник и трус, А уеду — стальной и двужильный.

Я не спорю — пусть холод и вечная темь, Город — дрянь, ни на что не похожий, Но запомнить придется мне пьяную Кемь, Она в жизнь мою стала прихожей.

8 ноября 1928 года. Кемь

#### ПЕРЕСЫЛКА

От свистка до свистка, от шести до восьми, От решетки к железной решетке Ходят, мечутся бывшие раньше людьми, А сегодня— табун в загородке.

Ноги, ноги и ноги стучат на полу, А в глазах — промелькнувшие дали. И слова — как зола, но не трогай золу, Под золой — красный уголь печали.

Ходят, мечутся, ждут, говорят, говорят, Ждут, как скорбные тени Гомера, Что живой Одиссей отопрет этот ад, Где стучится их скорбная вера.

Отопрет и вернет этим теням тела С теплой кровью, костями и кожей. Ходят, мечутся, ждут... И слова — как зола, И глазами как братья похожи.

7 июня 1928 года. Свердловск

Приди. Тебя зовет тоскующее тело. Я о душе молчу, души уж больше нет. Она гостит сейчас у тихого предела, Где царствует прозрачный синий свет.

И с телом я один. Молчу и изнываю— Пусть будут говорить объятья дерзких рук. В слезах— в них просьбы нет. Теперь я это знаю, И лжет обманчивый и лицемерный звук.

Вся правда только в том, чтоб с теплым телом тело, С горячей грудью грудь сплелись в один комок, Пока не встанет вновь у светлого предела Нежданным пламенем спасительный восток.

22 августа 1929 года

Уйду в поля под колокольный Прозрачный, редкий перезвон, И мир, широкий и привольный, Откроется со всех сторон.

Забуду книги, все, что было, Как будто я родился здесь, Как будто все родно и мило, Как будто здесь родная весь.

Высоко сяду у обрыва, Не буду думать — лишь смотреть, Как речка режет прихотливо Полей остриженную клеть.

А на дороге с интересом Услышу толк про урожай И позабуду, что за лесом Есть и другой, родной мне край.

Сентябрь 1929 года. Деревня Юрьино

Я с пермяками пью вино, Вино тяжелое чужбины. Должно быть, так и суждено Мне жизнь прожить до домовины. Хотелось мне спокойно тлеть Там, где родные тлеют кости, Чтоб внук пришел бы посидеть С журналом новым к деду в гости.

А вот, быть может, кое-как Схоронят всем чужое тело И без поминок, натощак Уйдут, сказав: «Готово дело!»

Октябрь 1928 года

Дождь и снег, и снова дождь и слякоть, Небо стало грязным и сырым. В эти дни — лишь на могиле плакать, Все равно над кем, хоть над чужим.

И осенний ветер, сморщив лужи, Вдруг доносит затаенный вздох — Это жмется от нежданной стужи Пэлудь-Айка — васильковый бог.

Он сидит, укрывшись под сосною, В волосах уснула стрекоза, И собачьей лаской и тоскою Смотрят синие прозрачные глаза.

Ноябрь 1928 года

# СОЗВЕЗДЬЯ

Опять в изгнании светившие Назону Созвездья смотрятся за листьями в окно, И место мощному давая Ориону, Кассиопея путь направила на дно.

О новых подвигах скучающий и хмурый К зениту движется тяжелый Геркулес, И быстроногие, как лани, Диоскуры Исчезли точками в дали ночных небес. О вы, бессмертные, счастливые герои! Вам мало, что вас пел божественный Гомер? Поэты умерли, остыли камни Трои, Пропали призраки драконов и химер.

А вы по-прежнему царите в синем небе, В окно затворника глядите вы ко мне. Кто смеет говорить, что в сумрачном Эребе Томитесь вы теперь в подземной тишине?

Пускай измерены, рассчитаны орбиты,— Сквозь сеть тончайшую парабол и кривых, Пегаса легкие вздымаются копыта, И слышен храп и крик призывов боевых.

И, точно гении крылатые победы, Зовут меня опять бороться или пасть Глаза молящие несчастной Андромеды, Дракона мертвого разинутая пасть.

Ноябрь 1928 года

#### РЕКА ГУЛЯЕТ

Опять, молодая и злая, Широко гуляет река, Кидая, швыряя, ломая И с неба ловя облака.

Летят очумелые льдины, Ломая мосты, как забор. Справляет река именины, Выходит река на простор.

Чтоб вором пройтись по амбарам, Трепать жеребенком стога И, пристань сорвав под товаром, Его раскидать по лугам.

Хоть будут мальчишки босые, Забыв о прошедшей беде, Искать голыши расписные В спокойной июльской воде, И спину согнуть ледяную Придется под скрипом саней И слушать, как песню глухую Декабрь запевает на ней.

А нынче, забыв про похмелье, Про долгие зимние сны, Скорее навстречу веселью Широкой, жестокой весны.

12 мая 1928 года

#### ОТРЫВОК

Он уходил один с простреленной рукой, Как зверь, роняя след кровавый на дороге, И слушал свист свинца над самой головой, И вспомнил в первый раз за много лет о Боге.

Далеко за ручьем, на вспаханном холме Мелькали, на ходу отстреливаясь, цепи, А он, как альбатрос, бессильный на земле, Не мог взмахнуть крылом, чтоб с ними скрыться в степи.

И он прилег один у тихого ручья И кровью замутил спокойное теченье, А дома чай пила спокойная семья И думала о том, что завтра — воскресенье.

1929 год

# СЫНУ, КОТОРЫЙ БУДЕТ

Я тебя не вижу и не знаю, Мой в земле таящийся алмаз, Но в глазах любимых я читаю Новый блеск мужских спокойных глаз.

Это я, но только помоложе, Это дед, но только посильней, Это кровь моя под новой кожей, Смуглой кожей матери твоей.

# ЮРИЙ ЧИРКОВ

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ЧИРКОВ (1919—1988).
МЕТЕОРОЛОГ, ДОКТОР ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР. АРЕСТОВАН В 1935 ГОДУ, БУДУЧИ
ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИМ ШКОЛЬНИКОМ.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ НАХОДИЛСЯ ДО 1945 ГОДА.
СРОК ОТБЫВАЛ НА СОЛОВКАХ, В УХТИЖМЛАГЕ.
В 1951—1954 ГОДАХ НАХОДИЛСЯ В ССЫЛКЕ
(ВЕЧНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ).
КАК ПОЭТ В ПЕЧАТИ
НЕ ВЫСТУПАЛ

Чернь бескрайняя, холодная Над застывшею землей. Жизнь звериная, голодная. Ах, домой, домой.

Люди-звери, люди-призраки. Безысходная тоска, Бред, кошмары, смерти признаки— Воля снова далека...

Неужель без оправдания Жизнь свою закончу тут, И без гроба, без прощания В мерзлоту мой труп швырнут.

Январь 1939 года

Был тихий вечер, солнце село, Заря сгорела без следа. На небосводе потемнелом Зажглась вечерняя звезда.

Чуть слышно волны шелестели Внизу за каменной стеной. Давно уж чайки улетели, Их крик не нарушал покой. И месяц, из-за стен поднявшись, На башне шпиль посеребрил, А под ногами лист опавший Шаги неровные глушил.

Тишь кралась призраком разлуки, Предчувствия сжимали грудь, Друг другу в клятве сжавши руки, Мы знали — ждет нас трудный путь.

Наивным нашим идеалам Клялись быть верными всегда. Темнела ночь, сильней сияла Во мраке первая звезда!

И мы решили: каждый вечер С тех пор, как, друг, нас разлучат, До дня веселой нашей встречи Звезду вечернюю встречать.

Чтоб свет ее спокойный, нежный, Нас осенив в суровый час, Соединил наш дух мятежный И укрепил духовно нас...

Прошли года с последней встречи, Не счесть загубленных тюрьмой! И, словно траурные свечи, Мерцают звезды над страной...

Но, как и прежде, каждый вечер Звезды встречаю я восход, Я верю: этот гнет не вечен И справедливость все ж грядет!

С тоской щемящей вспоминаю Я боль и радость прошлых лет, Но остров тот благословляю, Где в грудь запал мне звездный свет.

Февраль 1940 года. Ухтижмлаг

Нас окружает тьма, мой друг, Завешен свод небес. Куда ни кинешь взгляд, вокруг Угрюмый стынет лес. Он мириады страшных лап С угрозой ввысь простер, В честь дружбы, что судьба сплела, Разложим мы костер.

1940 год. Ухтижмлаг

Исчезают, как дымка, былые фантазий, С мира лика звериного приподнял я вуаль, И открылась пред мною жизнь во всем безобразии,

И не манит уж больше миражная даль.

Все мечты, что взлелеяны юностью были, Оказались миражем в пустыне сухой. Жизнь хрустальные замки фантазий разбила, Грубо скомкала все беспощадной рукой.

Так вот путник, в пустыне миражем обманутый, Вместо зелени пальмовой видит песок И, лишенный надежды, никем не помянутый, Умирает, от цели желанной далек.

Но я верю, что цели своей я достигну, Пусть курится самумом зловещая даль. Добреду до оазиса, я не погибну! И увижу живительной влаги хрусталь.

18 февраля 1940 года

Еще «от можа и до можа» Во сне Рыдзь-Смиглы Польшу зрел, А уж соседи, брань отложив, Четвертый начали раздел. Люфтваффе бомбовые лавы На спящих ринулись с небес, И в направлении Варшавы Колонны двинулись эсэс.

И вдруг удар жестокий в спину... Как удержать такой потоп? Уланы, сабли гордо вскинув, Атаковали танки в лоб.

И, утверждая веру, верность, Те, кто от пыток слаб и нем, Писали «вильность», «неподлеглость» Своею кровью на стене...

Потом шли долго эшелоны В неведомый и страшный мир, Играл «Катюшу» на гармони Татарин рыжий — конвоир.

1941 год

Образ Ваш мне извечно снился И в мечтах, словно лотос, расцвел. Я найти его в жизни стремился И искал, но, увы, не обрел...

Все сильнее в тоске отчужденья Сердце стыло, сжималось в крови! Но я верил, я ждал пробужденья, Лучезарной счастливой нови.

И свершилось! Вся жизнь осветилась! Вы явились, мечты озаря, Неизведанным ритмом забилось Сердце, светлой любовью горя!

Я нашел Вас, мой образ желанный, Образ нежный, как лилий цветы, Я увидел рассвет долгожданный, Сердца голос сказал: это ты! Сердца голос так весел сегодня, Я всем сердцем о счастье пою. Вы, как солнце теплом душу полня, Подарили мне дружбу свою.

Как святыню я чту дружбу Вашу, Я клянусь Вам как рыцарь служить, Сердца Вашего хрупкую чашу От несчастий и горя хранить...

12 апреля 1941 года. Ухтижмлаг

Спасибо тебе, дорогая! Ты мне так тепло улыбнулась, Что сердце мое, догорая, На миг для тебя встрепенулось.

Друг друга совсем мы не знали, И, встретившись как-то случайно, Мы тотчас навеки расстались, Окутаны дымкою тайны.

И боль снова в сердце замкнулась, Лишь в памяти радость звучала. И жизнь; словно ночь потянулась, Без дна, без конца, без начала...

21 сентября 1941 года

Ирме

Я крепко сплю. Мне снится плащ твой синий, B котором ты в сырую ночь ушла.

Александр Блок

На траве и в сердце иней: Близится зима. Не видать ни дали синей, Ни ее письма. Не повеет ветер с юга, Зазвенев в листве,— Жди, когда завоет вьюга, А не жди вестей.

Жди, когда покроет небо Северная ночь! Жди, борись за корку хлеба. Жди! Иль ждать невмочь?!

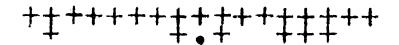
Жди! А если ждать нет силы — Погружайся в сон: Будет сердце с сердцем милой Биться в унисон,

Будет радость встречи с милой, Словно боль, сильна... Потрясенный счастья силой, Я очнусь от сна,

Задохнусь, сожмусь от муки, С губ стирая кровь, Боль любви и боль разлуки В сердце скрою вновь...

И никто, никто не сможет Боль души унять! Дай мне силы, Боже, Боже! Беспробудно спать...

22 сентября 1941 года



# «СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА»

ЖУРНАЛ, ИЗДАВАВШИЙСЯ УПРАВЛЕНИЕМ СОЛОВЕЦКИХ ЛАГЕРЕЙ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОГПУ В 1923—1930 ГОДАХ. ЕГО АВТОРАМИ БЫЛИ ТОЛЬКО ЗАКЛЮЧЕННЫЕ. К СОЖАЛЕНИЮ, НИКАКИХ СВЕДЕНИЙ ОБ АВТОРАХ ПУБЛИКУЕМЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ ОБНАРУЖИТЬ НЕ УДАЛОСЬ

## А. ПАНКРАТОВ

Хочу одно: увидеть луг С простыми пестрыми цветами, И рожь с родными васильками, И неба светло-синий круг.

Хочу войти, без дум, без слов, В зеленые благоуханья, Внимая птиц перекликаньям, Стозвучьям шорохов и снов.

Хочу одно: печаль забыв, Идти в полях с улыбкой ясной, Встречая жизни самовластной Всеисцеляющий призыв.

О, трепет ласковых берез, И ветер неуемный воли! ...Ах, в область снеговых раздолий Я жизнь нечаянно занес. Такая, видно, полоса. Но тяжелей мне год от года: Реки бесплодная коса, Задернутые небеса, Вся эта мертвая природа.

1930 rog

# ВЛАДИМИР КЕМЕЦКИЙ

## ПЕРЕД НАВИГАЦИЕЙ

Сонет

В иных краях безумствует земля, И руки девушек полны цветами, И солнце льется щедрыми струями На зеленеющие тополя...

Еще бесплодный снег мертвит поля, Расстаться море не спешит со льдами, И ветер ходит резкими шагами Вдоль ржавых стен угрюмого кремля.

Непродолжительною, но бессонной Бледно-зеленой ночью сколько раз Готов был слух, молчаньем истомленный,

Гудок желанный услыхать, для нас О воле приносящий весть, быть может... Но все молчит. Лишь чайка мглу тревожит.

1930 rog

# ВЛАДИМИР КЕМЕЦКИЙ

ПРЕКРАСНОЙ НЕЗНАКОМКЕ, ЛЮБЕЗНО СНАБДИВШЕЙ МЕНЯ ПАЧКОЙ МАХОРКИ

Сонет-мадригал

Заброшен я в тринадцатую роту, Где стены прошлым отягощены, Где звук псалмов сменила брань шпаны, Махорка — ладан, сумрак — позолоту. Как древле жрец, которому видны В мечтаньях небожителей высоты, Пел гимн и смо́лы сожигал без счету Во мгле святилищ, полных тишины,—

Так я, вам благодарный заключенный, Под сводами собора заточенный, Во храме обветшалом и глухом,

Спешу гиперборейской Афродиты Воссла́вить лик, увы, от взора скрытый — Махорки воскуреньем и стихом.

1930 rog

## МАКС КЮНЕРТ

#### **ЛЮБИМЫЕ**

Мы все от них отрезаны лесами, Водой, болотами, нас прикрывает мгла...
— «Забудь и не пиши — дождаться не могла»,— Одни из них сюда напишут сами. Другим изменят здесь — всесильна и смела Довлеющая похоть и над нами. Но знаю: ждет меня — по-прежнему мила — Любимая с зелеными глазами. Ключом сонета заключу ответ, Я дам себе торжественный обет, Мне об измене и помыслить гадко. И верен я обету своему, Параграф внутреннего распорядка Невольно соблюдая потому.

1930 rog

## я. широнин

Я изведал радостный опыт, Ощутил движенье времен, Пулеметов карающий ропот, Торжествующий шелест знамен. И, взвиваясь на гребнях массы, Слышал я сквозь уколы ран,— Как крушились классы о классы, Как трещали границы стран...

Конь летит, беспощадно топчет Полевые цветы и рожь... Хорошо пулеметы ропщут На земную подлость и ложь!

1930 rog

## А. ЯРОСЛАВСКИЙ

# СЛУЧАЙНОЙ ЖЕНЩИНЕ

Сонет

Весна. Карелия... И струи рельс... И десять лет, распахнутые в вечность... И хрупкий смех, змеящийся беспечно Вдоль узких губ, вдоль глаз, где бродит хмель.

Есть, вероятно, в этой жизни цель — Она в любви и радости, конечно, Но разве можно так бесчеловечно Мне прямо в сердце выплеснуть апрель?

На будущее жалобней взгляни. Как вспугнутые кони, эти дни... Но в этих днях над дымкой сероватой, Сквозь скучный мрак болот и острых скал,—

Лица очаровательный овал. И лишь улыбка, как письмо без даты.

1930 rog

# БОРИС ЛЕЙТИН

# КОМАНДИРША ЖЕНСКОЙ РОТЫ

Твой статный муж охранником и хватом Был для других. Но преклонялся ниц Он пред твоим воинственным ухватом, Пред гневом глаз, пред манием ресниц.

Ты счет вела его карманным тратам, Ежовых не снимая рукавиц, И, в ужасе пред окриком крылатым, Детишки жались стайкой робких птиц.

Но в час, когда очаг твой разметала Двух революций пенная волна, Ты на допросах — стойкая жена —

О прошлом мужа говорить не стала. И, теша здесь характер непреклонный, Ведешь ты женщин узкие колонны.

1929 год

# БОРИС ЛЕЙТИН

# БАРОНЕССЕ, ВЕДУЩЕЙ СЧЕТНУЮ КНИГУ

Был гроссбух Рока широко раскрыт На новом счете — юной баронессы. Раздернул мир пред ней свои завесы Сиянием приветственным облит.

И заревом зардевшихся ланит Она встречала комплимент повесы Под ритмы вальса иль пасхальной мессы, Когда орган ликующе гремит.

Но дебет рос. И вот пером крылатым Собрался Рок всем знатным и богатым Баланс свести. И Вам не миновать Бесспорных цифр бесстрастного закона: Сменил топчан старинную кровать, И скучно Вам над гроссбухом УСЛОН'а Зевать, склоняться и опять зевать.

1930 rog

# БОРИС ЛЕЙТИН

# МЕЩАНКА

Окно, левкои. Тюль и занавески... Застенчивый и розовый уют. Года неспешно, бережно куют Металл судьбы, металл такой невеский!

Но шалый нэп вознес в нежданном блеске Твою звезду. Сияньем взоры жгут Ногтей рубины (маникюрши труд), Свистящий шелк, чулок расцветкой резкой.

Тюрьма. Этап. И желтый женбарак Тебя принял под кров гостеприимный. Ты в трауре: мечта лишь, облак дымный — Ушедших лет веселый кавардак.

О нем звенят, поют в ушах подвески, В окне ж — ромашка, тюль и занавески.

1930 rog

# БОРИС ЛЕЙТИН

## ТОРФУШКА \*

От поля, что устало зеленеть, От брошенных, ненужных больше грабель В голодный год ты к тем, кто крал и грабил, Пришла кудрями цвета ржи звенеть.

<sup>\*</sup> Укладчица торфа.— Сост.

Разгульных дней похмелье— злая снедь. За штабелем ты ставишь бурый штабель, Словечки сыпля, что в бандитском штабе Заставили б любого покраснеть.

Но мерный труд, и спорый, и жестокий, И без румян румянит знойно щеки, О прошлом шепчет, разгоняя кровь,—

И в ласках краденых, в лесу иль в травах, Ты вновь познаешь просто, нелукаво Нехитрую крестьянскую любовь.

1930 rog

# ЮРИЙ КАЗАРНОВСКИЙ

Стою у озера в смиренье... И, чуть колеблемо волной, В воде темнеет отраженье Мое — пришедшее со мной.

Из той же вещей ткани сшито — Родной и чуть усталый вид — И вдруг пискливо и сердито Мне отраженье говорит:

— Довольно северного спорта! Чужда мне мерзлая вода! И, вообще, какого черта Вы привезли меня сюда?

Вы совершили преступленье, Бродя, как кислое вино, Но я— я ваше отраженье, За что же я сидеть должно?

Хочу я, может, отражаться В краях, что отоснились вам... Зачем же я должно скитаться И услоняться по СЛОН'ам?

Страдаю я почти три года, Вдыхая ваших сроков чад. Теперь я требую развода — И отраженья жить хотят!

Замолкло... Это хуже бед — Мне изменяют даже тени. Но я сумею дать ответ, Достойный этих нападений.

— Послушайте. Вы — отраженье, Непостоянное, как дым. Считал я в сладком заблужденье Вас отражением родным.

Когда я мог ее касаться, Ее волос, ее лица— С ответной тенью целоваться И вы умели без конца.

Что?.. Мне не надо извинений, Вы знали радости предел. Какую глубину падений У отражений — я узрел!

Молчит... Колышется в смущенье... Что отраженью возразить? Все уверенья отраженья, Измены горькое броженье — Сумел я силой возраженья Без сожаленья — отразить!

1930 rog

# **⟨ЮРИЙ КАЗАРНОВСКИЙ**⟩

ДРУЖЕСКИЕ ЭПИГРАММЫ

#### На самого себя

Шумела юность в голове, Все было розовым на свете, И, развлекаяся в Москве, СЛОН'а-то он и не приметил.

## Д. Г. Янчевецкий

(представитель криминологического кабинета)

Он кабинету много дал, И велико его значенье: В себе он редко сочетал И материал, и наблюденье.

#### Н. С. Соколов

(делопроизводитель А/ч)

В беседе с ним забудешь горе, В глазах такая юга ширь, Как будто бы на Черном море Наш Белогорский монастырь.

1929 roq

#### М. Горькому

(дружеская эпиграмма)

Писатель, трепетно любимый, Зачем такой тяжелый путь — Полотен бег неизмеримый, Туман болот, давящий грудь. Не лучше ль было, в самом деле, Себя в пути не утомить, А нас, всей шумною артелью, К себе Вам в гости пригласить.

1929 rog

# **(ЮРИЙ КАЗАРНОВСКИЙ)**

# ЧТО КТО ИЗ ПОЭТОВ НАПИСАЛ БЫ ПО ПРИБЫТИИ НА СОЛОВКИ

# А. С. Пушкин

НОВЫЕ СТРОФЫ ИЗ «ОНЕГИНА»

Мой дядя самых честных правил, Когда внезапно «занемог», Москву он тотчас же оставил, Чтоб в Соловках отбыть свой срок.

Он был помещик. Правил гладко, Любил беспечное житье. Читатель рифмы ждет: десятка \* — Так вот она — возьми ее!

Ему не милы те широты, И вид кремля ему не мил, Сперва за ним ходил комроты \*\*, Потом рукраб \*\*\* его сменил.

Мы все учились понемногу, Втыкали резво где-нибудь, Баланов \*\*\*\* сотней (слава богу?) У нас немудрено блеснуть.

<sup>\*</sup> Имеется в виду срок заключения.

<sup>\*\*</sup> Заключенные на Соловках делились на роты во главе с командирами (комроты), причем состав роты зависел от состава преступления. Например, 6-я рота именовалась «святейшей», поскольку в ней отбывали наказание священники.

<sup>\*\*\*</sup> Руководитель работ.

<sup>\*\*\*\*</sup> Бревен.

# М. Ю. Лермонтов

ДЕМОН

Демон проникает в келью Тамары — в женбарак.

Тамара

...Клянись мне!

## Демон

Клянусь я первым днем ареста, Клянусь его последним днем, Посылкою друзей из треста, Освобожденья торжеством. Клянусь этапа горькой мукой, Разгрузки краткою мечтой, Клянусь свиданием с тобой И непременною разлукой. Клянусь я сонмищем людей, По учрежденью мне подвластных, Мечами стражей беспристрастных, Метелью снежных летних дней. Клянусь в универмаге блатом, УСЛОН'ом, ДПЗ, тюрьмой, Клянусь твоим печальным платом, Твоей бессчетною слезой. Отрекся я от преступленья, Отрекся я от всех статей, Клянусь тебе я исправленьем И безопасностью своей. Отныне яд коварных действий Лубянки не встревожит ум, Отрекся я от глупой мести, Отрекся я от гордых дум. Хочу отныне примириться С Лубянкой-2. Хочу молиться. Хочу я веровать добру. Твоей любви я жду, как дара, И десять лет отдам за миг, В любви, как в сроке, верь, Тамара, Я неизменен и велик. Тебя я, смелый сын УСЛОН'а, Возьму в укромные края, Топчан нам будет вместо трона, Царица пленная моя!

#### Тамара

О кто ты? Речь твоя опасна... Царица я? — Избави бог: За это, совершенно ясно, Наверняка прибавят срок!..

> Демон (не обращая внимания)

Без сожаленья, без участья Смотреть на остров будешь ты, Где нет ни прочности, ни счастья, Ни краткосрочной красоты.

В то время шел надзор дозорный, И, слыша голос непокорный, Вдруг в женбарак заходит он. И гордый Демон — дух изгнанья — За нелегальное свиданье Был тотчас в карцер заключен. Тамару ж въедчиво и тихо Бранила долго старостиха.

## Александр Блок

По вечерам над соловчанами Весенний воздух мглист и сыр. И правит окриками пьяными Суровый ротный командир.

А там, за далью принудительной, Над пылью повседневных скук СЛОН серебрится упоительный И раздается чей-то «стук».

А дальше, за постами самыми,— Касаясь трепетной руки, Среди канав гуляют с дамами Рискующие остряки.

И каждый вечер омрачающим Туманом полон небосклон, И я опять неубывающим Остатком срока оглушен.

А рядом, у дневальных столиков, Проверок записи торчат, И ротные, противней кроликов, «Сдавайте сведенья» кричат.

И каждый вечер в час назначенный, Иль это только снится мне, Девичий стан, бушлатом схваченный, В казенном движется окне.

И, медленно пройдя меж ротами, Без надзирателя— одна, Томима общими работами, Она садится у бревна.

И веет тягостным поверьем Метелка в узенькой руке, Полна Особым Назначеньем Нога в болотном сапоге.

Сибирь и минусы склоненные В моем качаются мозгу. И сроки длинные, бездонные Цветут на синем берегу.

Глухие тайны мне поручены, Мне чьи-то сроки вручены, И все души моей излучины Осенней скукою полны.

## Игорь Северянин

#### В СЕВЕРНОМ КОТТЕДЖЕ

Я трибуналом обусловнен, Коллегиально осужден.

Среди красот полярного бомонда В десерте экзотической тоски, Бросая тень, как черная ротонда, Галантно услонеют Соловки.

Ах, здесь изыск страны коллегиальной, Здесь все сидят — не ходят — а сидят. Но срок идет во фраке триумфальном, И я ищу, пардон, читатель, blat.

Полярит даль бушлат демимоденки, Вальсит грезор, балан искрит печаль, Каэрят \* дамы — в сплетнях все оттенки, И пьет эстет душистый вежеталь.

Компрометируют маман комроты, На файв-о-клоках фейерея мат. Под музыку Россини ловит шпроты Большая чайка с занавеса MXAT \*\*.

Окончив срок, скажу: оревуар, Уйду домой, как в сказочную рощу, Где ждет меня, эскизя будуар, За самоваром девственная теща.

# Сергей Есенин

НЕДОШЕДШЕЕ «ПИСЬМО К МАТЕРИ»

Ты еще жива, моя старушка, Жив и я. Привет тебе, привет... Получил в посылке я подушку И цилиндр с парою штиблет. Слышал я: тая тоску во взоре, Ты взгрустнула шибко обо мне. Ты так часто ходишь к прокурору В старомодном ветхом шушуне. Ничего, родная, успокойся... Не грусти на дальнем берегу. Я, хотя отчаянный пропойца, Но без водки — спиться не могу. Я по-прежнему такой же нежный, И мечта одна лишь в сердце есть: Чтоб скорей от этой вьюги снежной Возвратиться к нам — на минус шесть. Я приду, когда раскинет ветви

 $<sup>^{</sup>ullet}$  Каэрят — от «КР» (каэр), то есть осужденные за контрреволюционную деятельность.

<sup>••</sup> Эмблемой журнала «Соловецкие острова» в 30-е годы было изображение беломорской большеклювой чайки, летящей над морем на фоне трех прибрежных камней. Только «летела» чайка (в отличие от мхатовской) слева направо.— Сост.

Сад, купаясь в розовости вод, Только ты меня уж на рассвете Не буди, как в роте на развод. Не томи ж меня печальным взором, Не грусти так шибко обо мне, Не ходи так часто к прокурору В старомодном ветхом шушуне.

# Владимир Маяковский

(после получения посылки из Моссельпрома)

Мой лозунг:

— «От жизни Все берите»,

Но все Я

Брать не готов:

Это вам — Не какой-нибудь Толстый критик — А 10 лет Соловков!

СЛОН высок. Но и я высокий. Мы оба —

> Пара из пар. Ненавижу Всяческие сроки!

— Обожаю Всяческий гонорар!

Мой голос Ударит громом,

И рядом скиснет медь:

Кроме, Как в УСЛОНЕ, Нигде

> Не хочу сидеть!!! Тысяча тысяч,

Знайте:

Нет больше голов тоски:

Вам говорю:

— Покупайте

«Новые Соловки» \*.

<sup>\*</sup> Название газеты УСЛОНа. Цена отдельного номера 5 коп., на год — 1 р. 30 коп.

## НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

АРХИЕПИСКОП ВЕРЕЙСКИЙ ИЛЛАРИОН (ТРОИЦКИЙ)

(1866—1929) ОТБЫВАЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 1920-х ГОДАХ НА СОЛОВКАХ,
УМЕР В ТЮРЕМНОЙ БОЛЬНИЦЕ В ЛЕНИНГРАДЕ.

СТИХОТВОРЕНИЕ НАПИСАНО ЕГО ИПОДИАКОНОМ
(ИМЯ УЗНАТЬ НЕ УДАЛОСЬ),
НАХОДИВШИМСЯ ВМЕСТЕ С НИМ
В СОЛОВЕЦКИХ ЛАГЕРЯХ.
ОНО ИМЕЛО ХОЖДЕНИЕ В СПИСКАХ,
С ОДНОГО ИЗ КОТОРЫХ И ПУБЛИКУЕТСЯ.

# ПАМЯТИ АРХИЕПИСКОПА ВЕРЕЙСКОГО ИЛЛАРИОНА

Упокой, господи, душу усопшего раба твоего...

Испуганным голосом сердце вскричало, Ворвавшись надсадой в метелистый гам: Не моя ли любовь лебединым причалом Всегда приставала к твоим берегам.

Не нам ли с тобой улыбались сполохи, Посланники верные северных стуж. Птенец-недокормыш сиротские вздохи Недаром просыпал в сосновую глушь.

Я словно отшельник в суровом затворе Слезой неуемной спалил рукава. Припомнились мне соловецкие зори, Бросавшие в море цветные слова.

Тебе я хвалился стиховой обновой, Из песенных ульев ты черпал мой мед. О, белые ночи, о, лов окуневый, Морошковый праздник — убранство болот.

Должно быть, ты помнишь, как старец Назарий В Березовой тоне нас потчевал семгой, Как сосны пылали в осеннем пожаре И я уходил за плечами с котомкой.

Олени страшились всегда гидроплана, В глубокую чащу стремился их след. Не мы ли с тобой так восторженно рано Своим славословьем встречали рассвет.

Чудные тюлени боялись мотора, Бензинного запаха, алых огней. Не к нам ли с тобой с золотого дозора Заря приходила родимой родней.

И вереск лиловый нам под ноги стлался, Он был нам дороже бухарских ковров... И я восхищался, и я восторгался, Смиряя молитвой мятежную кровь...

Теперь моя радость причалила к устью. Беззвонной обедней скучает село... Рыбацкую смелость подернуло грустью, Волной беломорской разбило весло.

Ушел от меня ты на раннем закате, До дна не истратил кипучести сил...

Не нас ли с тобой преподобный Савватий За Светлой Заутреней лаской кропил...

Два старца, слюбившись, в Зосимины дали Молитвенно плыли на новой ладье... В последнюю осень всё чайки рыдали, Прощаясь с утехой в озерной воде.

Простились и мы у забытой часовни. А грудь подсказала: «прощанье навек»... Лечь бы с тобой, как с отцом, по-сыновьи, В голубом стихаре под серебряный снег...

Задумался Анзер, и Муксальма тоже В брусничном пространстве теряет свой взор. Ушел от меня ты с земных бездорожий От горького подвига в Божий Собор...

Ну разве ты думал, ну разве мы мнили, Что так изомнутся любовь и цветы. Нева и граниты тебя приютили; Надежная встреча: тот город и ты. Узнав про утрату, Ока затужила, Зеленые Липицы взвыли тоской, И ангел пропел над родимой могилой: «За крестным страданьем — блаженный покой».

Все сердце исходит большими слезами, Закуталась в схиму орлиная мысль... Прими мою душу на вечную память В свою светозарно-безбрежную высь...

Прими мою душу, как птицу и зорю Под саккос своей необъятной любви. И грешного странника в вечном просторе Трепещущим словом опять обнови...

Я в сумрак повергнут и в холод железный, Ищу, где кончаются скорби концы. Возьми от скитаний, прими от болезней Под ноги твои расстилать орлецы...

1929 rog

## АННА БАРКОВА

АННА АЛЕКСАНДРОВНА БАРКОВА (1901—1976), ПОЭТЕССА. НАХОДИЛАСЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ В 1934—1939, 1947—1956 И 1957—1965 ГОДАХ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК «ЖЕНЩИНА» БЫЛ ИЗДАН В 1922 ГОДУ. РУКОПИСИ ЕЕ СТИХОВ, НАПИСАННЫХ В ЛАГЕРЯХ, СОХРАНИЛИ ПОДРУГИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ

#### В БАРАКЕ

Я не сплю. Заревели бураны С неизвестной забытой поры, А цветные шатры Тамерлана Там, в степях...

И костры, костры.

Возвратиться б монгольской царицей В глубину пролетевших веков. Привязала б к хвосту кобылицы Я любимых своих и врагов.

Поразила бы местью дикарской Я тебя, завоеванный мир, Побежденным в шатре своем царском Я устроила б варварский пир.

А потом бы в одном из сражений, Из неслыханных оргийных сеч В неизбежный момент пораженья Я упала б на собственный меч.

Что, скажите, мне в этом толку, Что я женщина и поэт? Я взираю тоскующим волком В глубину пролетевших лет. И сгораю от жадности странной И от странной, от дикой тоски. А шатры и костры Тамерлана От меня далеки, далеки.

1935 год. Караганда

Степь, да небо, да ветер дикий, Да погибель, да скудный разврат. Да. Я вижу, о боже великий, Существует великий ад. Только он не там, не за гробом, Он вот здесь окружает меня, Обезумевшей вьюги злоба Горячее смолы и огня.

1935 год. Караганда

# О ВОЗВЫШАЮЩЕМ ОБМАНЕ

Блажен, кто посетил сей мир В его минуты роковые.

Ф. Тютчев

Клочья мяса, пропитанные грязью, В гнусных ямах топтала нога. Чем вы были? Красотой? Безобразием? Сердцем друга? Сердцем врага?

Перекошено, огненно, злобно Небо падает в темный наш мир. Не случалось вам видеть подобного, Ясный Пушкин, великий Шекспир.

Да, вы были бы так же разорваны На клочки и втоптаны в грязь, Стая злых металлических воронов И над вами бы так же вилась. Иль спаслись бы, спрятавшись с дрожью, По-мышиному, в норку, в чулан, Лепеча беспомощно: низких истин дороже Возвышающий нас обман.

1946 rog

#### **ИНКВИЗИТОР**

Я помню: согбенный позором, Снегов альпийских белей, Склонился под огненным взором, Под взором моим Галилей.

И взгляд я отвел в раздумье, И руки сжал на кресте. Ты прав, несчастный безумец, Но гибель в твоей правоте.

Ты сейчас отречешься от мысли, Отрекаться будешь и впредь. Кто движенье миров исчислил, Будет в вечном огне гореть.

Что дадите вы жалкой черни? Мы даем ей хоть что-нибудь. Всё опасней, страшней и неверней Будет избранный вами путь.

Вы и сами начнете к Богу В неизбывной тоске прибегать. Разум требует слишком много, Но не многое может дать.

Затоскуете вы о чуде, Прометеев огонь кляня, И осудят вас новые судьи Беспощадней в стократ, чем я.

Ты отрекся, не выдержал боя, Выходи из судилища вон. Мы не раз столкнемся с тобою В повтореньях и смуте времен. Я огнем, крестом и любовью Усмиряю умов полет, Стоит двинуть мне хмурой бровью, И тебя растерзает народ.

Но сегодня он жжет мне руки, Этот крест. Он горяч и тяжел. Сквозь огонь очистительной муки Слишком многих я в рай провел.

Солнца свет сменяется мглою, Ложь и истина — всё игра. И пребудет в веках скалою Только Церковь Святого Петра.

1948 год

#### ВЕРА ФИГНЕР

1

Ветер мартовский, мартовский ветер Обещает большой ледоход. А сидящего в пышной карете Смерть преследует, ловит, ждет.

Вот он едет. И жмется в кучи Любопытный и робкий народ. И осанистый царский кучер Величаво глядит вперед.

Он не видит, что девушка нежная, Но с упрямым не девичьим лбом, Вверх взметнула руку мятежную С мирным знаменем, белым платком.

2

Ни зевакой, ни бойкой торговкой Ты на месте том не была. Только ум и рука твоя ловкая Это дело в проекте вела. Эх вы, русские наши проекты На убийство, на правду, на ложь! Открывая новую секту, Мы готовим для веры чертеж.

Не была там ты, но дело направила И дала указанье судьбе. Там ты самых близких оставила, Самых близких и милых тебе.

А потом вашу жизнь, и свободу, И кровавую славную быль Пронизал, припечатал на годы Петропавловский острый шпиль.

А потом всё затихло и замерло, Притаилась, как хищник, мгла. В Шлиссельбургских секретных камерах Жизнь созрела и отцвела.

А потом, после крепости,— ссылка. Переезды, патетика встреч, Чьи-то речи, звучащие пылко, И усталость надломленных плеч.

Жутко, дико в открытом пространстве, В одиночке спокойно шагнешь. И среди европейских странствий Била страшная русская дрожь.

Но тревожили бомбы террора Тех, кто мирным покоился сном, Ночь глухую российских просторов Озаряя мгновенным огнем.

Да, у вас появился наследник, Не прямой и не цельный, как вы. Ваша вера — и новые бредни, Холод сердца и страсть головы.

Вам, упорным, простым и чистым, Были странно порой далеки Эти страстные шахматисты, Математики, игроки. Властолюбцы, иезуиты, Конспирации мрачной рабы, Всех своих предававшие скрыто На крутых подъемах борьбы.

В сатанинских бомбовых взрывах Воплощал он народный гнев,— Он, загадочный, молчаливый, Гениальный предатель Азеф.

3

Но не вы, не они. Кто-то третий Русь народную крепко взнуздал, Бунт народный расчислил, разметил И гранитом разлив оковал.

Он империю грозную создал, Не видала такой земля. Загорелись кровавые звезды На смирившихся башнях Кремля.

И предательских подвигов жажда Обуяла внезапно сердца, И следил друг за другом каждый У дверей, у окна, у крыльца.

Страха ради, ради награды Зашушукала скользкая гнусь. Круг девятый Дантова ада Заселила советская Русь.

Ты молчала. И поступью мерной Сквозь сгустившийся красный туман Шла к последним товарищам верным В клуб музейных политкаторжан.

Но тебе в открытом пространстве Было дико и страшно, как встарь. В глубине твоих сонных странствий Появлялся убитый царь.

И шептала с мертвой улыбкой Ненавистная прежде тень: «— Вот ты видишь, он был ошибкой, Этот мартовский судный день.

Вы взорвали меня и трон мой, Но не рабство сердец и умов, Вот ты видишь, рождаются сонмы Небывалых новых рабов».

Просыпалась ты словно в агонии, Задыхаясь в постельном гробу, С поздней завистью к участи Сони, И к веревке ее, и столбу.

1950 rog

#### СТАРУХА

Нависла туча окаянная, Что будет — град или гроза? И вижу я старуху странную, Древнее древности глаза.

И поступь у нее бесцельная, В руке убогая клюка. Больная? Может быть, похмельная? Безумная наверняка.

Куда ты, бабушка, направилась?
Начнется буря — не стерпеть.
Жду панихиды. Я преставилась,
Да только некому отпеть.

Дороги все мои исхожены, А счастья не было нигде. В огне горела, проморожена, В крови тонула и в воде.

Платьишко все на мне истертое, И в гроб мне нечего надеть. Уже давно блуждаю мертвая, Да только некому отпеть.

1952 rog

#### РУСЬ

Лошадьми татарскими топтана, И в разбойных приказах пытана, И петровским калечена опытом, И петровской дубинкой воспитана.

И пруссаками замуштрована, И своими кругом обворована. Тебя всеми крутило теченьями, Сбило с толку чужими ученьями.

Ты к Европе лицом повернута, На дыбы над бездною вздернута, Ошарашена, огорошена, В ту же самую бездну и сброшена.

И жива ты, живьем-живехонька, И твердишь ты одно: «Тошнехонько! Чую, кто-то рукою железною Снова вздернет меня над бездною».

1954 rog

Хоть в метелях душа разметалась, Все отпето в мертвом снегу, Хоть и мало святым осталось,— Я последнее берегу. Пусть под бременем неудачи И свалюсь я под чей-то смех, Русский ветер меня оплачет, Как оплакивал нас всех. Может быть,

через пять поколений, Через грозный разлив времен Мир отметит эпоху смятений И моим средь других имен.

1954 год

\* \* \*

Белая ночь. Весенняя ночь. Падает северный майский снег. Быстро иду от опасности прочь На арестантский убогий ночлег.

В душном бараке смутная тьма, На сердце смута и полубред. Спутано все здесь: весна и зима, Спутано «да» с замирающим «нет».

1954 год

Я

Голос хриплый и грубый,— Ни сладко шептать, ни петь. Немножко синие губы, Морщин причудливых сеть.

А тело? Кожа да кости, Прижмусь — могу ушибить, А все же: сомненья бросьте, Все это можно любить.

Как любят острую водку,— Противно, но жжет огнем, Сжигает мозги и глотку И делает смерда царем.

Как любят корку гнилую В голодный чудовищный год,—Так любят меня— и целуют Мой синий и черствый рот.

1954 rog

#### ТОСКА ТАТАРСКАЯ

Волжская тоска моя, татарская, Давняя и древняя тоска, Доля моя нищая и царская, Степь, ковыль, бегущие века. По соленой казахстанской степи Шла я с непокрытой головой. Жаждущей травы предсмертный лепет, Ветра и волков угрюмый вой.

Так идти без дум и без боязни, Без пути, на волчьи на огни, К торжеству, позору или казни, Тратя силы, не считая дни.

Позади колючая преграда, Выцветший, когда-то красный флаг, Впереди — погибель, месть, награда, Солнце или дикий гневный мрак.

Гневный мрак, пылающий кострами, То горят большие города, Захлебнувшиеся в гнойном сраме, В муках подневольного труда.

Все сгорит, все пеплом поразвеется. Отчего ж так больно мне дышать? Крепко ты сроднилась с европейцами, Темная татарская душа.

1954 rog

Да, мне до́роги стали слишком Эти белые вечера. Значит, мне наступила крышка. Что же делать? Пора.

После каждой встречи сильнее То, что годы пытались смять, От чего я брела, немея, И к чему вернулась опять.

Не заваривай адское варево, Расхлебаешь его сама. И запомни, что после зарева — Непроглядная мертвая тьма.

1954 год

Протекали годы буйным золотом, Рассыпались звонким серебром, И копейкой медною, расколотой В мусоре лежали под столом.

Годы бесконечные, мгновенные, Вы ушли, но не свалились с плеч. Вы теперь, как жемчуг, драгоценные, Но теперь мне поздно вас беречь...

#### июль

Июль мой, красный, рыжий, гневный, Ты юн. Я с каждым днем старей. Испытываю зависть, ревность Я к вечной юности твоей.

Ты месяц моего рожденья, Но мне ноябрь сейчас к лицу, Когда, как злое наважденье, Зима сквозь дождь ползет к крыльцу.

Но и в осеннем неприволье Листва пылает, как огни, И выпадают нам на долю Такие золотые дни,

Что даже солнечной весною Бывает золото бледней. Хмелеет сердце, сладко ноет Среди таких осенних дней.

1954 roq

Нам отпущено полной мерою То, что нужно для злого раба: Это серое, серое, серое — Небеса, и дожди, и судьба.

Оттого-то, завидев горящее В багрянеющем пьяном дыму, От желанья и страсти дрожащие, Мы бежим, забываясь, к нему.

И пускаем над собственной крышею Жарких, красных, лихих петухов. Пусть сгорает все нужное, лишнее — Хлеб последний, и дети, и кров.

Запирались мы в срубах раскольничьих От служителей дьявольской тьмы И в чащобах глухих и бессолнечных Мы сжигались и пели псалмы.

Вот я и убегаю от серого Растревоженной жадной душой, Обуянная страшною верою В разрушенье, пожар и разбой.

1954 rog

Игра опасных намеков, Рискованная игра. Она бывает жестока, Она бывает хитра. От скуки играем словами. Шутя, просто так, на ура. Играем и видим, что нами Начинает играть игра. Что под нами зыбкая почва Ненадежнее день ото дня, Что под этой коркой непрочной Клокотанье злого огня.

1954 rog

#### ПЕСНЯ

На счастливую звезду Все мои расчеты. Я не знаю, как войду, Как скажу я что-то.
Как тряхну кудрями я,
Как глаза прищурю,
Что почувствую вокруг:
Тишину аль бурю.
А в кудрях-то седина,
На лице морщины.
Голова моя больна
От тоски-кручины.
Эх, не все ли мне равно,
Серебро иль злато,
Что прошло давным-давно,
Требует возврата.

Неужели часы случайные После длинного скучного дня Разбудили все страшное, тайное, Что терзало когда-то меня? Прежним дьяволом околдована, Я смотрю в свою зимнюю ночь. Все, что сломлено, что сковано, Не осмеивай, не порочь. Вот рванулось оно, окаянное, Оборвало бессильную цепь, И взметнулось бураном пьяным, Взбаламутило русскую степь.

1954 rog

Все понятно и очень просто, Очень ясно тебе и мне. Ну, а чья же коварная поступь Между нами слышна в тишине?

\* \* \*

Отойдет, и вернется обратно, И, дыхание затая, Ждет, когда наконец в непонятном Потеряемся ты и я.

1954 rog

Толпой людей, тупых и одичавших, Мы стиснуты и разъединены. Мы, видно, не до дна испили чашу И горя, и неведомой вины.

1954 год

Экий запутанный ребус — Жить с тревогой такой. Низкое синее небо — С крыши достанешь рукой.

Душно под ним и тяжко, Ясный дневной кошмар: С околышем красным фуражка, Бараки, стационар.

Цинизм и взгляда, и речи, Арестантский распутный жест. И виден из зоны далече Шестой ли, седьмой ли крест.

Но это не для распятья, Телеграфные это столбы. Нас медленно душат объятья Арестантской нашей судьбы.

Нам тело не распинают, А душу распяли давно. И мы это сами знаем, Но нам уже все равно.

Так вырвем у нашей жизни, Что можно вырвать, отнять, Все судорожней, капризней, Все гибельнее — как знать!

1950-е годы

Украдкою...— от слова «кража» — Родится ласка в тишине. Мы не выходим из-под стражи, За нами смотрят и во сне.

Глаза чужие рядом, близко, Глаза, как грязная вода, Нас заливают мутью склизкой И день, и ночь, всегда, всегда.

1954 rog

# ОБЫКНОВЕННЫЙ УЖАС

Кругом народ — неизбежные посторонние. Ну как нам быть при этом с любовью? Если рука так ласково тронет, Разве можно сохранить хладнокровие?

Глаза наточены, наточены уши У этих всех... наших ближних. Они готовы просверлить нам душу, Ощупать платье — верхнее, нижнее.

А ну-ка представим себе помещение, Где на воле нам жить придется. Оконца слепые для освещения, Под щелястым полом скребется

То ли крыса, то ли другая гадина. А кругом-то все нары, нары. А на нарах... Боже! Что там «накладено»: Тряпки, миски. И пары, пары...

Морды, которые когда-то были Человеческими ясными лицами. И мы с тобой здесь... Но не забыли, Что когда-то жили в столице мы.

Мы поспешно жуем какой-то кусок. Надо спать, не следует мешкать.

И ложимся тихонько мы «в свой уголок» В темноте зловонной ночлежки.

Ну как же при этом быть с любовью? Кругом народ — посторонние. На грязной доске, на жестком изголовье Мы любовь свою похороним.

Похороним, оплачем, все-таки веря, Что это все временно терпим мы. Что мы не пошляки, не грубые звери В этом мире спертом и мертвенном.

«Временно, временно»... А время тянется, А для нас когда время наступит? Быть может, когда в нас жизни останется Столько же, сколько в трупе.

Ты боишься, что Ужас Великий грянет, Что будет страшней и хуже. А по-моему, всего страшней и поганей Наш обычный, спокойный ужас.

1954 год

Загон для человеческой скотины. Сюда вошел — не торопись назад. Здесь комнат нет. Убогие кабины. На нарах брюки. На плечах — бушлат.

И воровская судорога встречи, Случайной встречи, где-то там, в сенях. Без слова, без любви.

К чему здесь речи? Осудит лишь скопец или монах.

На вахте есть кабина для свиданий, С циничной шуткой ставят там кровать; Здесь арестантке, бедному созданью, Позволено с законным мужем спать. Страна святого пафоса и стройки, Возможно ли страшней и проще пасть — Возможно ли на этой подлой койке Растлить навек супружескую страсть!

Под хохот, улюлюканье и свисты, По разрешенью злого подлеца... Нет, лучше, лучше откровенный выстрел, Так честно пробивающий сердца.

1955 rog

Трезвая, но я была пьяна, Мне приснилась белая весна, Ветер с океана и пурга, Внезакатный майский день, снега, И что ночь светлей и жарче дня, Что коснулась молодость меня.

1955 rog

Море Черное, море Каспийское, Жгучий ветер и жгучий песок... Все заветное, все византийское Отошло от меня на восток.

Только вьюги победные, белые, Запоздалый лихой ледоход. Только сердце оцепенелое То ударит в груди, то замрет.

1955 rog

Метель в июне. Кто поверит? Не меркнет ночи пьяный свет. За мной мой след бежит от двери, На белом ярко-черный след. Предательский — он слов не знает, Но говорит яснее слов... Пусть на него метель шальная Накинет легкий свой покров.

Сияют ночи и метели В июне снова, как тогда, Но я не подымусь с постели И я не выйду никуда.

1955 rog

Надо помнить, что я стара И что мне умирать пора. Ну, а сердце пищит: «Я молодо, И во мне много хмеля и солода, Для броженья хорошие вещи». И трепещет оно, и трепещет.

Даже старость не может быть крепостью, Защищающей от напастей. Нет на свете страшнее нелепости, Чем нелепость последней страсти.

1955 rog

Прошло семь месяцев в разлуке, Сегодня первое число. Мы с горя не ломаем руки, Хоть нам и очень тяжело.

Есть мука, полная актерства: Рыдать, метаться и кричать. Мы с героическим притворством Должны несчастия встречать.

Когда от боли непрерывной Мы еле сдерживаем крик, Когда надежд слепых наивность Нас покидает в горький миг,— Мы все таим и помним свято: Спасет молчание одно Все то, чем жили мы когда-то, Чем жить нам дальше суждено.

1955 rog

Наша жизнь коротка И горька, словно лук. Никакого куска Не пускайте из рук.

\* \* \*

Недоступен один, Так хватайте другой. После тяжких годин Веселитесь душой.

Ждать и медлить нельзя, Утоляй аппетит — Смерть, косою грозя, У порога стоит.

Рассуждая легко, Все считай трын-травой. Если друг далеко, Так найдется другой.

Только я поплетусь По дорожке одна, Как родимая Русь, Никому не нужна.

1955 rog

Как дух наш горестный живуч, А сердце жадное лукаво! Поэзии звенящий ключ Пробьется в глубине канавы. В каком-то нищенском краю Цинги, болот, оград колючих Люблю и о любви пою Одну из песен самых лучших.

1955 rog

# НАДРЫВНЫЙ РОМАНС

Бродим тихо по снежной дороге, По вечерней, чуть-чуть голубой, Дышит все нашим прошлым убогим, Арестантскою нашей судьбой.

И судьбы этой ход нам неясен, Мы давно не считаем утрат. Белый снег. И оранжево-красен Сиротливый тоскливый закат.

И закату здесь так одиноко, Ничего, кроме плоских болот, Как мы все, осужден он без срока, Как мы все, никуда не уйдет.

Мы с тобой влюблены и несчастны, Счастье наше за сотней преград. Перед нами оранжево-красный Сиротливый холодный закат.

1955 rog

Восемь лет, как один годочек, Исправлялась я, мой дружочек. А теперь гадать бесполезно, Что во мгле — подъем или бездна. Улыбаюсь навстречу бедам, Напеваю что-то нескладно, Только вместе ни рядом, ни следом Не пойдешь ты, друг ненаглядный.

1955 rog

Не сосчитать бесчисленных утрат, Но лишь одну хочу вернуть назад. Утраты на закате наших дней Тем горше, чем поздней.

И улыбается мое перо: Как это больно всё и как старо. Какою древностью живут сердца. И нашим чувствам ветхим нет конца.

1955 rog

Эта горькая вольная воля — И внутри, и повсюду, кругом — Острым снегом в лицо меня колет. Только думаю я о другом: О степях, где стада с чабанами, О Москве... и опять о степях. Где мы будем? Что станется с нами? И привычный шевелится страх.

1955 rog

Не стать ли знаменитым дряхлым гадом С морщинами и астмой? Все, что надо Для стариков маститых и старух. Потерян будет ум, утрачен слух, Сомнения мучительная едкость, Пера смертельная исчезнет меткость, И стану я почтенна и глупа И удостоюсь звания столпа...

1955 год

# **ВОЗВРАЩЕНИЕ**

Вышел Иван из вагона С убогой своей сумой. Народ расходился с перрона К знакомым, к себе домой.

Иван стоял в раздумье, Затылок печально чесал, Здесь, в этом вокзальном шуме, Никто Ивана не ждал.

Он, сгорбившись, двинулся в путь С убогой своей сумой, И било в лицо и в грудь Ночною ветреной тьмой.

На улицах было тихо, И ставни закрыли дома, Как будто бы ждали лиха, Как будто бы шла чума.

Он шел походкой не спорой, Не чуя усталых ног. Не узнал его русский город, Не узнал и узнать не мог.

Он шел по оврагам, по горкам, Не чуя натруженных ног, Он шел, блаженный и горький, Иванушка-дурачок.

Из сказок герой любимый, Царевич, рожденный в избе, Идет он, судьбой гонимый, Идет навстречу судьбе.

1955 rog

#### жизнь

Ты в мире самая влекущая, Всего пленительнее ты, Покорная и всемогущая, Гроза и ливень с высоты.

Ты окружила нас запретами И нарушаешь их сама. Ты песня, вечно недопетая, Ты воля, рабство и тюрьма.

Игрой прельстительно-преступною Меня ты манишь на тропу В познанье горько недоступное И в безрассудную толпу.

Где пахнет потом и убийствами, Разгромом, водкой, грабежом, Безумных вожаков витийствами, Цепями, петлей и ножом.

Паду ли с головой расколотой, Или убью кого-нибудь, Или награбленное золото Швырну на мой случайный путь?

Или, по-прежнему лукавая, Меня к иному уведешь, Иною напоишь отравою, Иной болезнью изведешь.

Полна веселья, зложелательства, Быть может, бросишь ты меня С непостижимым издевательством В объятья чуждого огня.

И превратит он в дым и пепел Все, что сгорает и горит, И ржавые расплавит цепи, Освободит и закалит.

Ты мне нужна, моя проклятая, Нужна, как трудный тяжкий вздох. Ты — страсть моя, враждой объятая, В безбожном сердце — грозный Бог.

Убьешь ли ты меня нечаянно Иль воздвигаешь эшафот, А может быть, рука случайная Мой труп в трущобе подберет?

А имя пылью подорожною Смешаешь с прахом гробовым, Или бессмертие тревожное Пойдет в столетие за ним.

1950-е годы

Смотрю на жизнь с недоуменьем, С наивной жадностью детей, Приглядываясь к пестрой смене Людей, событий и страстей.

И я сама, актер-любитель, Игрою своего лица Любуюсь, как привычный зритель, Не забываясь до конца.

И ощущаю я порою Всю нереальность наших мук. Наверно, даже смерть героя — Удачный театральный трюк.

А в грозном торжестве победы Я чувствую, лукавый раб, Что победитель будет предан, Что он устал и очень слаб.

И на кровавую потеху, На важность нашей суеты Смотрю с жестоким детским смехом С моей пустынной высоты.

1950-е годы

# РОССИЙСКАЯ ТОСКА

Хмельная, потогонная, Ты нам опять близка, Широкая, бездонная, Российская тоска.

Мы строили и рушили, Как малое дитя. И в карты в наши души Сам черт играл шутя.

Нет, мы не Божьи дети, И нас не пустят в рай, Готовят на том свете Для нас большой сарай.

Там нары кривобокие, Не в лад с доской доска, И там нас ждет широкая Российская тоска.

Что-то вспыхнуло, замерло, умерло, Загоревшись до самых звезд. Отнесли за каким-то нумером На унылый тюремный погост.

Это все? Или было посмертное Продолженье какое-нибудь? Если было, я им пожертвую, Мне не жалко его ничуть.

Будут старые вина литься, Прозвучит поминальный тост. Прах мой, будешь ли ты шевелиться, Проклинать арестантский погост?

Что за дело мне, что болваны Зашибут на мне честь и деньгу И разлягутся на диванах, Ну а я коченею в снегу.

Не гнию, распадаясь, не тлею — Вековая хранит мерзлота. И не знают вина и елея Искаженные смертью уста.

Я — живая — пылала жаждой К гордой славе, к любви, к вину. А теперь влюбляется каждый В отошедшую к вечному сну.

Выпивая бокал за бокалом, Каждый грустные шепчет слова: — Жаль, рожденье мое запоздало, Очень жаль, что она не жива.

Но меня не согреет слава После смерти в промерзшей мгле. И лежащим в земле не по нраву Трепетанье огня на земле.

1950-е годы

Мы должны до вечерней поры Заходить на чужие дворы, Чтобы сбросить мешок наш с плеч, Чтобы где-то раздеться и лечь. Может быть, в неопрятном углу Мы в чужую упрячемся мглу И вздохнем, может быть, тяжело. Нет, не греет чужое тепло, И чужой плохо светит свет, И на воле нам счастья нет.

1955 rog

# ПУРГОВАЯ, БРЕДОВАЯ, ПЛЯСОВАЯ

«Акбар»

Свобода, свобода, Эх, эх, без креста. Александр Блок

Ι

Вспоминаю свой рдяный рассвет. Он сулил не добро, не добро. Как дерзко плясало в осьмнадцать лет На бумаге мое перо. Казалось, — пойду и все возьму, Смою тоску, злобу и тьму. Так казалось... А почему? Говорят, что был излом, декаданс И некий странный болезненный транс, А я думаю — силы неловкий взлет, А теперь ее никто не вернет.

Ц

А потом забурлил красный дурман, А потом казакстанская степь и буран, А потом у Полярного круга Закрутилась, взревела вьюга, Тундровая, Плясовая, Бредовая. Выкликай вслед за пургой: — Ой-ой! Гой-гой!

III

На сердце вечная злая пурга-любовь Взметнула оледеневшую кровь. Ведьма-пурга, бей! Лютей! Дуй в глубину, в высоту! Любовь эта хуже семи смертей, От нее привкус крови во рту.

Выползло солнце едва-едва,
И тут же за край земли
Свалилась солнца голова,
Ее топором снесли,
Ледовым,
Острым,
Острей, чем сталь.
Но казенного солнца не жаль, не жаль.

V

В какой я вернусь в город и в дом С моих обреченных дорог? Кто меня встретит с хлебом, с вином, На чей я вступлю порог? Нет никого, нет ничего! Только хохот пурги:

— Ого-го! Ого-го!

VI

Снега, снега, Вся в снегу тайга. В тайге коварная рысь. Но мне все равно Пропасть суждено, И на рысь прошипела я: брысь! Я в пятерочке иду К вдохновенному труду, А пятерочек не счесть, Их пятьсот, наверно, здесь. Шаг в сторонку — пуля в бок. Повалился кто-то с ног. Срок закончил человек, Мы кровавый месим снег. Девки, что там впереди? Погляди-ка, погляди. — Там стреляли... По кому? Ничего я не пойму. Сердце ёкнуло в груди.

— Дура, шаг ровней, иди! Топай с радостным лицом Иль подавишься свинцом.— Пурга поет, гудит с тоской: — Со свя-ты-ми упокой! — И память вечная плывет До Карских ледяных ворот. Поглотит вечная мерзлота, Наступит вечная пустота, И нет ни могилы, ни креста.

#### VII

Но я упряма. Я живу. Я возвращусь в столицу, в Москву. Там двор-колодец, окно, стена (Меня давно ожидает она) И есть решеточка на окне, Она кое-что напомнит мне. На Полярном на кругу Повстречала я пургу, И с тех пор седой, кудрявой, Беспощадной и лукавой Позабыть я не могу. Эx, nypra! Ox, nypra! Мы с тобою два врага. Чую, сгину ни за грош, Ты снегами занесешь. Замети, замети! Насмерть сбрось меня с пути! И весь мир, пурга родная, Без вина хмельным-хмельная, В пляс погибельный спусти. В коммунизме заверти!

#### ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Героям нашего времени Не двадцать, не тридцать лет. Тем не выдержать нашего времени, Нет! Мы герои, веку ровесники, Совпадают у нас шаги. Мы и жертвы, и провозвестники, И союзники, и враги.

Ворожилй мы вместе с Блоком, Занимались высоким трудом. Золотистый хранили локон И ходили в публичный дом.

Разрывали с народом узы И к народу шли в должники. Надевали толстовские блузы, Вслед за Горьким брели в босяки.

Мы испробовали нагайки Староверских казацких полков И тюремные грызли пайки У расчетливых большевиков.

Трепетали, завидя ромбы И петлиц малиновый цвет, От немецкой прятались бомбы, На допросах твердили «нет».

Мы всё видели, так мы выжили, Биты, стреляны, закалены, Нашей родины злой и униженной Злые дочери и сыны.

Свобода, свобода, свобода! Чужие дома. Тротуары. Все можно: хоть с камнем в воду, Хоть Лазаря петь — на базаре.

1957 rog

# ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ (1910—1937). ПОЭТ. АРЕСТОВЫВАЛСЯ ТРИЖДЫ — В 1932, 1935 И 1937 ГОДАХ. ПОГИБ В ЗАКЛЮЧЕНИИ. ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ И ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ «СНЕГИРИ ВЗЛЕТАЮТ КРАСНОГРУДЫ», НАПИСАННОЕ ВО ВНУТРЕННЕЙ ТЮРЬМЕ НА ЛУБЯНКЕ) СОБРАНЫ, ОПУБЛИКОВАНЫ И ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА ЕГО ДРУГОМ С. А. ПОДЕЛКОВЫМ

Сначала пробежал осинник, Потом дубы пошли, потом, Закутавшись в овчинах синих, С размаху в бубны грянул гром.

Плясал огонь в глазах саженных, А тучи стали на привал, И дождь на травах обожженных Копытами затанцевал.

Стал странен под раскрытым небом Деревьев пригнутый разбег, И все равно как будто не был, И если был — под этим небом С землей сравнялся человек.

Май 1932 года. Лубянка. Внутренняя тюрьма

# ПЕСНЯ О ТОМ, ЧТО СТАЛОСЬ С ТРЕМЯ СЫНОВЬЯМИ ЕВСТИГНЕЯ ИЛЬИЧА НА БЕЛОМОРСТРОЕ

Первый сын не смирился, не выждал Ни жены, ни дворов, ни коров — Осенил он крестом себя трижды И припомнил родительский кров.

Бога ради и памяти ради, Проклиная навеки ее, Он петлю себе тонкую сладил И окончил свое житие. Сын второй изошел на работе Под моряны немыслимый вой — На злосчастном песке, на болоте Он погиб как боец рядовой. Затрясла лихоманка детину, Только умер он все ж не врагом — Хоронили кулацкого сына, И чекисты стояли кругом. Ну а третьему — воля и сила, И бригадные песни легки — Переходное знамя ходило В леву руку из правой руки. Бригадиром вперед, не горюя, Вплоть до Балтики шел впереди, И за это награду большую Он унес с собой в жизнь на груди. Заревет, Евстигнёшке на горе, Сивых волн непутевый народ И от самого Белого моря До Балтийского моря пройдет. И он шел, не тоскуя, не споря, Сквозь глухую, медвежью страну. Неспокойное Белое море Подъяремную катит волну. А на Балтике песня найдется, И матросские ленты легки, Смотрят крейсеры и миноносцы На Архангел из-под руки. С горевыми морянами в ссоре, Весть услышав о новом пути, Хлещет посвистом Белое море И не хочет сквозь шлюзы идти.

1934 rog

# ПРОЩАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ

Друзья, простите за все — в чем был виноват, Я хотел бы потеплее распрощаться с вами, Ваши руки стаями на меня летят — Сизыми голубицами, соколами, лебедями.

Посулила жизнь дороги мне ледяные— С юностью, как с девушкой распрощаться у колодца.

Есть такое хорошее слово — родныя, От него и горюется, и плачется, и поется.

А я его оттаивал и дышал на него, Я в него вслушивался. И не знал я сладу с ним. Вы обо мне забудете,— забудьте! Ничего, Вспомню я о вас, дорогие мои, радостно.

Так бывает на свете — то ли зашумит рожь, То ли песню за рекой заслышишь, и верится, Верится, как собаке, а во что — не поймешь, Грустное и тяжелое бьется сердце.

Помашите мне платочком за горесть мою, За то, что смеялся, покуль полыни запах... Не растет цветов в том дальнем, суровом краю, Только сосны покачиваются на птичьих лапах.

На далеком, милом Севере меня ждут, Обходят дозором высокие ограды, Зажигают огни, избы метут, Собираются гостя дорогого встретить как надо.

А как его надо — надо его весело: Без песен, без смеха, чтоб ти-и-ихо было, Чтобы только полено в печи потрескивало, А потом бы его полымем надвое разбило.

Чтобы затейные начались беседы... Батюшки! Ночи-то в России до чего ж темны. Попрощайтесь, попрощайтесь, дорогие, со мной, я еду

Собирать тяжелые слезы страны.

А меня обступят там, качая головами, Подпершись в бока, на бородах снег: «Ты зачем, бедовый, беседуешь с нами, Нет ли нам помилования, человек?»

Я же им отвечу всей душой: «Хорошо в стране нашей,— нет ни грязи, ни сырости,

До того, ребятушки, хорошо! Дети-то какими крепкими выросли!

Ой и долог путь к человеку, люди, Но страна вся в зелени — по колено травы. Будет вам помилование, люди, будет, Про меня ж, бедового, спойте вы...»

Август 1935 года. Ночь после суда

Я полон нежности к мужичьему сну. Пахнет в доме овчинами, жена спит, Грубые руки ее раскинулись — два крыла, Легкая влага у нее на лице.

Падает низкий, тяжелый потолок, Мертвые мухи в паутине висят, И только зыбки дерюжный маятник Грозно покачивается в тишине.

Он считает: сколько времени прошло, Сколько дней без солнца и ночей, С тех пор, как стало тяжко жить И спать, тяжело дыша.

Я полон любви к мужичьему сну. Ведь надо же понимать — спит человек... Ведь надо же пожалеть детей его? И грубые руки его жены?

Ему наплевать, что за окном рассвет Широкий, захолодевший встает теперь, Что коровы мычат на зарю тепло И нежно начинают лошади ржать.

Послушайте, люди, — он крепко спит, Этот угрюмый и грубый человек, Он сеял всю жизнь пшеницу и рожь И не слышал, как гремят соловьи.

Посмотрите, люди, как во сне Он брови сводит теперь! Это он думает, что, может быть, Двор его посетил конокрад.

Это он боится — что дождь побьет Камнями его посев. Что конь падет и сгложет пожар Скудный его приют!

Крепко он держится за свое добро. Он спит. Ему наплевать, Что травы кланяются заре, Ему надо траву — косить!

Я люблю тебя, угрюмый человек, Если б мог я твой сон беречь! Я дюблю твои песни, и твой день, И грустящую твою гармонь.

Песня моя тебе одному принадлежит, Ты брат мне и единственный друг, И если тебя по харе бьют, Сердце визжит у меня в груди.

Я песни своей

ни за что другим не отдам, Ни женщине, ни лживым льстецам, Не для этого ты растил меня И черным хлебом кормил.

И что б ни сулила, эта жизнь, За пятак скупившая иных, Я ни за что не предам и не обману Недоверчивых глаз твоих.

Так послушай, что говорит сын, Кровь от крови глухой твоей,

Ты напрасно, напрасно бережешь Этот страшный, проклятый кров.

Сколько дней без солнца, ночей Он высасывал кровь твою? Как смеялись сверчки его, Когда мы умирали в нем?

Ты напрасно, напрасно бережешь От пожаров его и от воров — Не такое наследство твое дите Потребует, когда взрастет!

Дикий, дикий! Темень моя! Неужели ты не разглядишь, Как поет над страной большой рассвет И качаются яблоневые сады?

Неужели ты так далеко живешь, Что к тебе паровозом не дойти, И не дотянутся к тебе провода, И свет у тебя в избе не зажечь?

Рассвет по ромашкам шел

к мужичьему дому

Поглядеть в окошко,

как мужику спится.

Как мужику спится?

Плохо мужику спится. Все какая-то птица к нему садится. И начинает разговаривать по-худому.

Август 1935 года. Ночь после суда

# ПРИНЦ ФОМА

# Глава 1

Он появился в темных селах, В тылу у армий, в невеселых Полях, средь хмурых мужиков. Его никто не знал сначала, Но под конец был с ним без мала Косяк в полтысячу клинков.

Народ шептался, колобродил... В опор, подушки вместо седел, По кованым полам зимы, Коней меняя, в лентах, в гике, С зеленым знаменем на пике Скакало воинство Фомы.

А сам батько в кибитке прочной, Обок денщик, в ногах нарочный Скрипят в тенетах портупей. Он в башлыке кавказском белом, К ремню пристегнут парабеллум, В подкладке восемьсот рублей.

Мужик разверсткой недоволен... С гремучих шапок колоколен Летели галки. Был мороз. Хоть воевать им нет охоты, Все ж из Подолья шли в пехоту, Из Пущи — в конницу, в обоз.

В Форштадт летьмя летели вести, Что-де Фома с отрядом вместе В районе Н-ска сдался в плен, Что спасся он,— и это чудо,— Что пойман вновь, убит, покуда Не объявился он у стен Форштадта сам...

И город старый Глядит с испугом, как поджарый Под полководцем пляшет конь. Грозят его знамена, рея, И из отбитой батареи Фома велит открыть огонь.

С ним рядом два киргизских хана, Вокруг него— его охрана В нашитых дырах черепов. Его подручный пустомелет, И, матерясь, овчину делят Пять полковых его попов.

Форштадт был взят. Но, к сожаленью, Фомы короткое правленье Для нас осталося темно — Как сборы он средь граждан делал И сколько им ночных расстрелов В то время произведено?

И был ли труд ему по силам? Но если верить старожилам (Не все ж сошли они с ума), Признать должны мы, что без спору Ходили деньги в эту пору С могучей подписью: Хома.

### Глава 2

Так шел Фома, громя и грабя... А между тем в французском штабе О нем наслышались, и вот Приказом спешным, специальным По линии, в вагоне спальном, Жанен к нему посольство шлет, И по дороге капитану Все объясняет без обману Осведомитель: «Нелюдим, Плечист и рыж. С коня не слазит. Зовет себя мужицким князем, И все ж — губерния под ним».

А конквистадор поднял шторы, Глядит в окно — мелькают горы, За кряжем кряж, за рядом ряд, Спит край морозный, непроезжий, И звезды крупные, медвежьи Угрюмым пламенем горят. Блестят снега, блестят уныло. Ужели здесь найдут могилу Веселой Франции сыны?..

Рассвет встает, туманом кроясь, На тормозах подходит поезд, Дымясь, к поселку Три Сосны. Оркестр играет «Марсельезу», Из двадцати пяти обрезов Дан дружественный вверх салют. Стоят две роты бородатых, В тулупах, в валенках косматых... Посланцы вдоль рядов идут. И вызывают удивленье Их золотые украшенья, Их краги, стеки и погон, И, осмелев, через ухабы Бегут досужливые бабы Штабной осматривать вагон. Стоят кругом с нестройным гулом И с иноземным караулом Заводят торги: «Чаю нет?» А в это время в школе местной «Мужицкий князь», Фома известный, Дает в честь миссии обед.

Телячьи головы на блюде, **Лепешки** в масляной полуде — Со вкусом убраны столы! В загоне, шевеля губою, Готовы к новому убою, Стоят на привязи волы. Пирог в сажень длиной, пахучий, Завязли в тесте морды щучьи, Плывет на скатерти икра. Гармонь на перевязи красной Играет «Светит месяц ясный» И вальс «Фантазия» с утра. Кругом — налево и направо — Чины командного состава, И, засучивши рукава, Штыком ширяя в грудах снеди, Голубоглаз, с лицом из меди, Сидит правительства глава.

И с ужасом взирают гости, Как он, губу задрав, из кости Обильный сладкий мозг сосет. Он мясо цельными кусками Берет умытыми руками И отправляет сразу в рот, Пьет самогон из чашки чайной...

Посол Жанена чрезвычайный, Стряхнув с усов седую пыль, Польщен, накормлен ради встречи. На гальском доблестном наречье Так произносит тост де Вилль:
— Prince! \* Скрыть не в силах восхищенья, Вас за прием и угощенье Благодарить желаю я. Россия может спать спокойно. Ее сыны — ее достойны. С'est un \*\* обед — Гаргантюа...

С народом вашим славным в мире Решили мы создать в Сибири Против анархии оплот, И в знак старинной нашей дружбы Семь тысяч ящиков оружья Вам Франция в подарок шлет. Три дня назад Самара взята. Магсhez! \*\*\* В сраженье, демократы, Зовет история сама. Я пью бокал за верность флагу, За вашу храбрость и отвату, Же ву салю \*\*\*\*, мосье Фома!

#### Глава 3

Страна обширна и сурова... Где шла дивизия Грязнова? Дни битв ушедших далеки. Бинтуя раны на привале, Какие песни запевали Тогда латышские полки?

<sup>\*</sup> Принц (фр.). \*\* Это (фр.).

<sup>\*\*\*</sup> Вперед! (фр.)

 $<sup>^{****}</sup>$  Я вас приветствую ( $\phi p$ .).

Тысячелетья горы сдвинут, Моря нахлынут и отхлынут, Но сохранят народы их В сердцах, Над всем, что есть на свете, Как знамя над Кремлем и ветер, Как сабли маршалов своих!

Местами вид тайги печален — Сожженный, набок лес повален,— Здесь падал некогда снаряд, Средь пней крутых, золотолобых В глухих запрятаны чащобах Следы утихших канонад... Лишь ветер помнит о забытых, Да на костях полков разбитых Огнем пылает псиный цвет, Бушуют травы на могиле... Снега непрочны. Весны смыли Фомы широкий тяжкий след. Он все изведал: бренность славы, Ночные обыски, облавы И мнимость нескольких удач... По-бабьи, вплачь шрапнель орала, До Грязных Кочек от Урала Бежало войско принца вскачь. Попы спились, поют в печали, Степные кони одичали, Киргизы в степи утекли. И Кочки Грязные — последний Приют — огонь скупой и бледный Туманной цепью жгут вдали. Владеют красные Форштадтом...

Конь адъютанта пляшет рядом, И потемнелый, хмурый весь, Фома, насупив бровь упрямо, Велит войскам:
— Идите прямо, А я здесь на ночь остаюсь, В селенье, по причинам разным. Он стал спускаться к Кочкам Грязным Витой тропинкой потайной—И на минуту над осокой

Возник, сутулый и высокий, Деревню заслонив спиной.

Окно и занавес из ситца. Привстав на стремени, стучится Фома:

- Алена, отвори!
- Фома, сердешный мой, болезный.— Слетает спешно крюк железный, Угрюмо принц стоит в двери, В косматой бурке, на пороге:
- Едва ушел. Устал с дороги.
   Раскрой постель. Согрей мне щей.

Подруга глаз с него не сводит. Он, пригибаясь, в избу входит, На зыбку смотрит: — Это чей?

И вплоть до полночи супруги Шумят и судят друг о друге, Решают важные дела, В сердцах молчат и дуют в блюдца. И слышно, как полы трясутся, И шпор гудят колокола.

Не от штыка и не от сабли Рук тяжких кистени ослабли, Померкла слава в этот раз. Фома разут, раздет, развенчан — Вот почему лукавых женщин Коварный шепот губит нас.

На Грязных Кочках свету мало. Выпь, нос уткнувши, задремала, Рассвет давно настал — все тьма. Щи салом затянуло, водка Стоит недопитая...

Вот как Исчез мятежный принц Фома.

1935—1936 годы. Москва — Рязань. Городская тюрьма Елене

Снегири взлетают, красногруды... Скоро ль, скоро ль, на беду мою, Я увижу волчьи изумруды В нелюдимом, северном краю.

Будем мы печальны, одиноки И пахучи, словно дикий мед. Незаметно все приблизит сроки, Седина нам кудри обовьет.

Я скажу тогда тебе, подруга: «Дни летят, как на ветру листье, Хорошо, что мы нашли друг друга, В прежней жизни потерявши все...»

Февраль 1937 года. Лубянка. Внутренняя тюрьма

# СЕРГЕЙ ПОДЕЛКОВ

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОДЕЛКОВ (РОД. 1912).
ПОЭТ. УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
АРЕСТОВАН В 1935 ГОДУ.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ НАХОДИЛСЯ ДО 1938 ГОДА.
СРОК ОТБЫВАЛ В УХТОПЕЧЛАГЕ.
ЧАСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

Молчанье — золото, — давно твердят, им полон мой лубянский каземат. О зарешеченная ложью жизнь! Молчанье — смерть. А я ведь жизни рад.

Ноябрь 1935 года. Лубянка. Внутренняя тюрьма

> Когда я умру, дорогая, ни песен не пой, не молись, не сади в изголовье, вздыхая, пламя розы и кипарис.

Освеженной грозой огромной надо мною травою будь. Если ты хочешь помнить — помни, если хочешь забыть — забудь.

Больше мне не увидеть тени, дождя не почувствую я, больше я не услышу пенья страстью тронутого соловья. И в тесовой одежде скромной в ночь уйдя от твоей судьбы, быть может, смогу я помнить, быть может, смогу — забыть.

Июнь 1936 года. Ухтопечлаг. Лагпункт «Головка»

Отчего так грустно и тревожно: жадно ловишь каждый звук во мгле?.. Будто и возвраты невозможны, будто и не жить мне на земле.

Будто где-то ждет лихая дата непоклонной головы рудой. За каким она стоит закатом, над какой склоняется водой?

Это расставанья неизвестность, это выдумка. И ты не верь. Я вернусь, я распахну, невеста, девичью застенчивую дверь.

И ворвутся в комнату (еще раз проплывет дыханье страшных дней) голубые сумерки Печоры и потемки юности моей.

И, чтоб горе навсегда забыла, ради встречи, счастья без конца, с легкой бы руки тогда кормила озорного белого песца.

Ты всегда со мной, моя родная, это все, чем я богат и горд. Слышишь, небо свистом разрывает матовый двухтрубный пароход?

А совсем недавно жизнь иную нам в мечтах сулили вечера...

Ну, зачем ты плачешь? Все минует. Ну, простимся. Кажется, пора.

Август 1936 года. Ухтопечлаг. Лагпункт «Головка»

### ОСЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ

Летят по ветру листья, как во сне, деревья голы — плачут в тишине, и я прислушиваюсь скрытно к плачу... Какая же томит их неудача? Чу! Звон пилы! И зубья — как по мне...

Сентябрь 1936 года. Ухта

\* \* \*

Все в памяти: тайга, печальный гон, неправдой тяжкой шаг обременен; скользят в снегу истасканные ноги. В глазах нет солнца, а душа в тревоге. Там — кто-то — падает в дороге... И холодно от ветренных времен.

Сентябрь 1936 года. Ухта

Этап. Недоуменье. Замять. Кривится шаг. На холоду распутываем голосами нас оглупившую беду.

Копаемся туманно в груде догадок, ищем — где концы... И жгут вопросы: кто же судьи — убийцы или мудрецы?

За чьи духовные изъяны зачли нам грех? Иль сбылся сдвиг: из Откровенья Иоанна Конь Блед над разумом возник?

Далече ли придется топать? Морозны мысли... Дух в петле облыжности... И, словно копоть, недоуменье на челе.

Да и зачем все пересуды? Не понимаем ни аза. От государственной простуды у нас воспалены глаза.

Декабрь 1936 года. Трасса Чибью — Крутая. Лаглункт Седью

Мать, убаюкай песней меня... Видно, кончено все... О, как больно и тесно! Песню вдохни мне, прощальную песню — в сердце, где тени прошедшего дня.

Голову тяжкую мне не поднять, спрячь на груди ее, крытую дымом. Плакальщиц нет и молчат пилигримы... Мать, убаюкай песней меня.

1936 год, Ухтопечлаг. Лагпункт Ухта

Молчу о тайнах власти — тишина!
Причина жесткости нам неясна.
А часовые, словно Геростраты, их лица тупы, их в крови зарплата...
Неужли власть им навсегда дана?

Январь 1937 года. Седью

### В ЛАЗАРЕТЕ

Шумят за стеною столетние ели, апрель послезавтра и — пение птах...

Ручей,

как младенец в земной колыбели, опять залепечет в крутых берегах.

Опять журавли поднимаются с Нила, в морях собираются рыб косяки,

а здесь

надо мною

сиделка склонилась...

Вгрызаются в окна,

крутясь,

сквозняки.

А ты?

Где же ты?

Под железною крышей

ты спишь,

горячо разметалась коса.

Но в сумерках бреда

я голос твой слышу,

я чувствую губы,

я вижу глаза.

Ты рядом?

Со мной!

Ты поешь на закате.

Пытаюсь обнять,

но хватает рука

сосновый скелет

заскрипевшей кровати

и полосатый

покров тюфяка.

И снова лопаты

о грунт загремели.

Уже мимо окон

и доски несут.

Как ты далеко —

затерялась в метели,

не знаешь,

что я

накануне апреля

умру

на рассвете

в четвертом часу.

Март 1937 года. Седью

Все отнято: и честь, и имя... И днесь владычествует ложь, И ты с такими же другими между конвойными идешь.

На сворках псы —

косятся люто... И неизвестно почему — непостижимое уму — над государством тень Малюты.

Март 1937 года. Седью

### ОЖИДАНИЕ ВЕСНЫ

Покидают бураны

мою параллель,

и врывается

щебет

и клекот.

Нет, не мой еще

грянул апрель.

До него, видно, ой как далеко!

Апрель 1937 года. Седью

Навытяжку — перед своей судьбой! Издалека, как мчащийся прибой, как бешеных седых овчарок вой, сбивает с ходу, виснет над тобой, ты задохнулся от песка и гальки;

и как бы ни кричали сверху чайки, ты измордован — до крови — судьбой.

Апрель 1937 года. Головной лагпункт

#### **TPACCA**

Осеннее небо ночное как выбитые глаза. расслабленность как от зноя, усталость — как тормоза. Не раскрываю рта я, право: мычать, сопя. По трассе Чибью — Крутая передвигаю себя. Напарник — рядом, бок о бок, с лопатой, я — с кайлом. Оступаемся. Шаг наш робок. За другими вослед ползем. Потрескавшимися устами глотаем воздух тугой. Мы так устали, устали... Смертоносцы — кругом! Мы легче дыма, мы — тени, каторжный труд мозжит... Бремя чьих преступлений на горьких судьбах лежит?.. Впереди — конвойных светит, врезаясь во мглу и тишь, как на далекой планете фонарь «летучая мышь». На плечах наших — горы, сердце сердцу стучит... — Прекратить разговоры! конвойный кричит. Таежное приполярье, сверху — мороз, снизу — грязь,

болотной и потной гарью пропитан каждый из нас. Зажаты, друг в друга тычась; тащат нас под уздцы; нас много, нас тысячи тысяч, все — зэки, все — мертвецы. Какую долю начертит безвыходная пустота? Трассу медленной смерти стелет нам клевета. Ложью избит, ошельмован, знобит, хочется выть. Одно лишь краткое слово бъется: жить! жить! жить! Затавренные арестанты. От голодной тоски дотянуться бы до баланды, до сырого куска трески. Морок! Судьба! Виденье: То ли явь, то ли сны... Преступники без преступленья, виноватые без вины. А вокруг наготове затворы... А я былое бужу, пытка памятью, от которой места не нахожу. Наемник! Без покаянья. Он знает одно: «мать-перемать». Но из мира воспоминаний он не может меня изгнать. Шаг в сторону --и брызнет жарко смерти знак огневой, шаг в сторону — и овчарка в загривок вцепится твой. Здесь нет слезы человечьей, болото — вот исход, муравьиного спирта крепче смертный каторжный пот. Сжатая, будто камень, на ощупь, едва дыша,

между собаками и штыками движется

моя душа.

Декабрь 1937 года. Ухтопечлаг. Нибель

Лик Пантократора на старом древке был строг, безумен, темен,— и под ним, смеясь, пахали парни, пряли девки и без оглядки пели жизнь, как гимн.

Теперь нам ложь и страх ломает брови, и честь хрипит, как под ножом овца, мы поднимаем флаг — он в пятнах крови, и нет лица, и нет лица...

Март 1938 года. Нибель

#### на ижме

— Весна!

Смотри, на Ижме ледоход. Теснятся льдины, раздвигая берег. — Прости, мой друг,

я не могу поверить в ток глухарей и рокотанье вод.

Пускай хоть папоротники цветут, пусть честь подруг оберегают лоси, пускай бессонно бродит солнце тут, пусть лиственницы не коснется осень,—

мне все равно.

Уже который год встречаю снег и провожаю грозы... Что из того —

на Ижме ледоход, а на сердце еще скрипят морозы.

Май 1938 года. Ухта

\* \* •

Я говорю: прощай, Печора, сказать не в силах —

благодарствую... Как жаль, что стражники и воры в твоих лесах могучих

царствуют.

Простерто меж стволов

острожье,

какие судьбы припорошены! Здесь Правда

беспощадной ложью, штыками, псами огорожена. Как жжет режим тут лихоимный и правосудие на вымысле! Вчера матроса, что брал Зимний в Семнадцатом,

в болото вынесли... Страшна безвестная могила, и нет примет у заточения. Я жив. Меня другая сила уносит—

Вычегды течение.

14 июля 1938 года. Усть-Вымь

### COH

1

У кладбища прилег я и заснул, я слышал черепов тяжелый гул, восстанье мыслей, смутный ветхий ропот, а вы, друзья,

меня отпели скопом, составив сыска черный караул... В слезах распавшееся забытье. Во сне я сердце увидал свое в рубцах и синяках, в кровоподтеках...
Рвал сна силок...

И, опершись на локоть, я тяжко встал, чтоб видеть бытие.

Июль 1938 года. Ухта

Мозг охватило тишиной. Как двери хлопают, не слышу. Глаза горят — и мир иной повертывается и дышит.

А неба обморочно дно, набитое кровавой дробью, и лезет сквозь кусты в окно больной луны звероподобье.

1938 год. Ухта

#### РАСПРАВА

Памяти Павла Васильева

Среди радости русского леса поднималась она, хороша,

короша, сто колец прорезало железо, золотая открылась душа...

Повалилась сосна, повалилась, подрубили ее моготу— не за слабость корней,

не за хилость,

за величие,

за красоту.

Maŭ 1938 roga

### ИЗ РЕДЬЯРДА КИПЛИНГА

Когда разверзнется небо, и Страшный настанет суд, и мертвые вдруг воскреснут их на суд призовут. Под раскатами грома, при молнии грозовой бог каждому жившему воздаст по делам его. И каждая тварь земная станет покорна судьбе. Писателей и художников бог призовет к себе. За муки, за их дарованье, поруганное не раз, в золотые посадит кресла, золотые им доски даст, золотые большие кисти. золотые карандаши, поднимет торжественно руку и каждому скажет: «Пиши!» И станут писать о том лишь, что видели, что их пленит, никто не скует их мыслей, песен их не стеснит. и тогда оскорблявшая, пытавшая их орда будет в бездну забвения брошена навсегда.

1938 год. Порожское

Испытываю силу ножевую всей сущностью своей, и сердцу страшно; раб времени,

во времени живу я, дни плотны,

как пласты на пашне.

Навет — и след: слова, как шершни, жалят... Решетка лжи...

Мне дел бы непочатых! О время, время,

на твоих скрижалях так много клякс и опечаток.

Январь 1939 года

## КАЗНЬ НА ТРОИЦКОЙ ПЛОЩАДИ

Еще с утра, с рассветного тумана, в домах был сон замысловатый смят,—то в лад припадочному барабану приподнимались ноги

у солдат.

И в скорбных улицах из ранней хмари стучался голоса крестящий кнут, что девку сверьху \*, Гаментову Марью, казнят за нераскаянье, за блуд, за кражу, убиенье плода в чреве, как показали розыск и досмотр, и что на казнъ пожалует во гневе сам царь. Сам император Петр.

В снег колесованный, шагов метанье

<sup>\*</sup> Верхние этажи дворца, где жили фрейлины.— Авт.

сержант

размеренно

производил...

Он руку вверх — и барабан не бил, он на ходу переводил дыханье, чтобы отчетливей была и строже царева

воля

произнесена.

И между фраз, зловещая до дрожи, на миг обрушивалась на прохожих страшней землетрясенья тишина.

И как на грех, ни петуха, ни ржанья, ни грома, ни поземки, ни дождя, прислушивались чутко горожане за ставнями,

щеколд не отводя; и пятились невольно, робко, слепо, повертывали головы — чу, звон! — туда, где Петропавловская крепость, где Трубецкой

в потемках бастион,

туда, где рядом Троицкая площадь, где грань всех мук, где кипятят смолу, где бороду боярскую

полощет варяжский ветер

на крутом колу;

где в ссадинах и с ликом скорбно-гордым,— в чертах чела окаменела грусть,— с захлестнутым

тугой веревкой

горлом,

в горлатной шапке, в охабне просторном на виселице

вздернутая Русь.

И там, в неиссякающем безмолвье, от эшафота в ста шагах, одна, глядит Мария,

встав у изголовья,

в колодец вырубленного окна.

Она вздохнула — боль. Опять ей сон все тот же снился, будто в муке на дыбу

с хрустом

поднят он... И руки обломились на роброн, тоскующие мраморные руки.

А день встает такой же, как вчерашний, все так же, как и в первый день,— решетка узловатая да башни горбатая, кочующая тень.

Все так же верен утренней побудке, застыл на четверть века — в стужу, в зной — указом царским в полосатой будке к ружью

приговоренный

часовой.

Все так же времени чеканя даты на звоннице руками

каждый час, прелюдию голландскую солдаты разыгрывают. Звяканье ключа... За дверью надзиратели болтают. Ночь бронзовая плавится. Литая луна дробится,

в облаках ползя.

Скорей!..
Как медленно светает...
О, это каменное равнодушье!
Безмерна ноша.
Горькая стезя.
Сломать бы стены!
Ветра!
Неба!
Душно!

Из-под ресницы проросла слеза, упав на угловатую подушку. И в тишине глухого каземата зашлась навзрыд, не в силах говорить...

Который месяц видятся закаты и ни на миг —

хотя б клочок зари.

Сюда, сюда,—
где страх, как малярия,
где вечность — миг,
а мука так длинна,
кусая губы,
ты вошла, Мария,
и встала у морозного окна.

А за окном, а за глухой стеною качается и мечется пурга, идут солдаты, вздрагивает хвоя, гремят копыта, падают снега.

А на земле так близко воскресенье, рукой подать,

несчастная моя,

до первых гроз, до первого цветенья, до первого удара соловья.

А по садам опять грачи гнездятся, капели

с крыш тесовых

точки бьют.

Кто ей протянет руку попрощаться? Стучит священник — видно, причащаться, на площади палач и плаха ждут. Как тяжелы здесь ржавые решетки, как много скорби в каменных стенах. — Но кто это?

Весь в черном, с чашей... Ax!..

Как изваяние, щипая четки, к тебе во мгле склоняется монах.

— Покайся, грешница! Вот крест Господень, прими отдохновение души. Какие ж злодеянья преисподней лукавый сердцу бабьему внушил! Вкуси же тела, выпей кровь Христову, ты, недостойная, ты тяжкий крест неси. А может быть... Наследника престола ты вытравила?

Боже, упаси!..

— Нет-нет! и горестные слезы... Тихо монах уходит, дверь он распахнул. Она взглянула в коридор там лихо, за ней пришел солдатский караул.

На площади толпа давно теснится. Надвинув шапки, кутаясь в платки, застыли заколдованные лица, назад — ни шагу, ни вперед — руки.

И только холодок, густой и колкий, пополз по спинам, дернулся в плечах, когда к помосту царская двуколка, ободьями железными стуча, вдруг выросла грозой у поворота, неумолима, будто острие. И в этот миг раскинулись ворота и вывели из крепости ее. «Ведут! Beavt!» (Нет на пути помехи.) — Толпа зашевелилась,

словно спрут.

С резных крылец отсвечивало эхо, из-за углов рвалось: «Ведут!

Ведут!»

И Петр увидел: в полукруге стражи белей снегов — напрасен полукруг — спешило платье с кружевным фонтажем и ленты содрогались на ветру.

Вся нежная и вся воздушней дыма, вся тихая, как сон, белым-бела, кнутами пытана, огнем палима, к Петру, к царю, Мария подошла.

Присела в реверансе, шелком вея, ресницы подымая, как рассвет, вот так же, как тогда, на ассамблеях. когда он

приглашал

на менуэт.

Влекомый алчным любопытством детским, со стороны, откинувшись назад, Петр посмотрел

бессонницей

подчеркнутые резко В горячие глаза.

Вот-вот в них вспыхнет тяжкое рыданье, но просьбы не видать -

скорей мятеж.

Они полны печали и страданья, жестоких снов, раздумий и надежд.

Он руку протянул. Коснувшись платья, рванул ее

на скользкий эшафот.

А ведь совсем недавно в каземате переступил ей

двадцать третий год.

Петр мыслью злой источен и измаян, почти больной, почти что тайны раб, Руси непререкаемый хозяин, склонился к ней, до шепота ослаб.

#### Петр

Ах, горе, Марьюшка, сама себя ты губишь... Казнить... и ми-иловать вольны цари. Скажи мне, Марьюшка, ай вправду любишь? Одну лишь правду, правду говори!

## Мария

Да, государь, люблю! Уж третий год...

## Петр

Ах Марьюшка, признание-то всуе... А не царевич ли —

младенец тот,

что отыскался вдруг... у ног статуи в саду?

## Мария

Нет, государь.

## Петр

Небось в хмелю ты, Марья,

с денщиком моим

сблудила?

Сблудила? А?

## Мария

Нет, государь,— любила и ныне

пуще прежнего люблю.

А Ваня—
он ни в чем не виноват,
все я—
его напасть,
лихая доля...
Ты, Петя,

выпусти его на волю...

Цать отшатнулся. Сделал шаг назад. Как будто отодвинулась стена, и пред Марией

на кол галка села.

И вздрогнула и поняла она: последняя

надежда

отлетела...

И ненавистью жгучей, но без страха, сияя глубиною, встретил взор в рубцах исполосованную плаху, на палаче посконную рубаху, на сгиб руки

повешенный топор.

А воронье охрипло,

как на торге, и суживает жадные круги... Как строги, как томительны, как долги секунд предсмертных

тихие шаги!

Она еще склониться не успела, толпа зажмурилась, забыв слова, когда от поскользнувшегося тела к Петру закувыркалась голова. Нагнулся царь над нею, с башмака перчаткой смахивая

крови блестку,—

и по-хозяйски, не сломав прическу,— так виделось — над плахой, над снегами, ее обкуренными, в желваках, приподымал обеими руками. И вздрогнул, уколов зрачки о жало еще светившихся

бесстрашных глаз...

Какая ненависть

в них полыхала!

Какая в них,

бог весть,

любовь жила!

Знать, не было и не могло быть силы — пусть колесо, пусть дыба, пусть костер! — из них и кнут

повинной не исторг! —

их даже смерть и та не погасила.

Подавшись, как от режущего света, Петр повернулся, не сдвигая ног, к Толстому:

— Вот, гляди... (но голос глох)
Здесь сонная артерия, а этот, что рублен,

чаю, пятый позвонок.

И голос пересекла немота, свела всего,— аж прядавшая в венах была слышна густая теплота. Состарившийся,

кажется,

мгновенно,

всей одержимой силой рта царь дернулся в рывке животворящем, и к девичьим губам, еще дрожащим, прильнули государевы уста. Не отогреть. Ненужное. Пустое. — На,—

он протянул ее

Толстому.

Прикрыв ладонью трясшееся веко, из глубины души рванул слова:

— В кунсткамеру! Беречь ее вовеки!
За голову — в ответе голова.

И сдвинулся. Огромный. По-мальчишьи с помоста прыгнул,

чуть к земле припав.

И на два берега

его величьем

расколота безмолвная толпа.

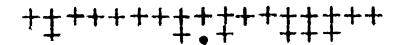
И долго-долго в предрассветной сини, не трогаясь и не смыкая след, стояла удивленная Россия, разглядывала — как вперед, в рассвет, по площади походкою солдата, запаживая

беглым жестом

плащ,

идет ее великий император, ее создатель и ее палач.

16-19 июля 1938 года. Ухта



## «БИБЛИОТЕКА СТРОИТЕЛЯ БАМа»

«ИЗДАНИЕ КВО (КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА) БАМлага НКВД.»

«НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛАГЕРЯ», «ХУДОЖЕСТВЕННО И ТЕХНИЧЕСКИ ОФОРМЛЕНО И ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ БАМЛАГА НКВД...

ГОР. СВОБОДНЫЙ» — ОБОЗНАЧЕНО НА ТИТУЛЕ
И В ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ КНИГ ЭТОЙ БИБЛИОТЕКИ.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКОВ ЭТОЙ СЕРИИ НЕИЗВЕСТНО,
НО, ВИДИМО, КНИГ БЫЛО ИЗДАНО ДОСТАТОЧНО МНОГО.
ОДИН ИЗ СБОРНИКОВ ИМЕЕТ ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР: «ВЫПУСК 15».
НИКАКИХ СВЕДЕНИЙ ОБ АВТОРАХ ОБНАРУЖИТЬ
НЕ УДАЛОСЬ

## АЛЕКСЕЙ ВОЛГАРЬ

#### СЛОВО В ПРЕНИЯХ

В нашем замечательнейшем мире Двести лет хотелось бы прожить.

Николай Васильев

Фырчи, гуди, Машина ЗИС, Пыли, дорога, Что ли!.. Какие дни, Какая жизнь Нам выпала на долю!

Когда и где, В стране какой Встречали Нас на слете,— Скажи, Товарищ Погребной, В своем победном счете. Мой голос. Знаю, повторят Ребята. Люди трассы. Не зря о нас Уж говорят, Что мы с рабочим классом. Мы помнить долго Будем дни, Алтай мы будем Помнить! Цвети, весна, В моей груди, В грабарках Рвитесь, кони! Вставайте. Песни голосов, Крепись, Труда сноровка! Прошу встречать Своих сынов, Товарищ Перековка! В ответ одно: В поход за план, За качество Работы. Рубцы покроем Прошлых ран Стальною позолотой. Фырчи, гуди, Машина ЗИС, Пыли, дорога, Что ли!.. Какие дни, Какая жизнь Нам выпала На долю!

1936 год

## ПАВЕЛ ИГНАТЬЕВ

#### ПЕРЕКОВКА

Годы, как сон, Годы бегут, Годы вперед за собою зовут...

Вспыхнули новые мысли, Птицей взвиваются ввысь. К скалам я крепко притиснул Прошлое — хитрую рысь!

Вьюга поет, Вьюга метет, Вьюга сугроб на сугробы кладет... Новые чувства и новую совесть, Знаю, сознанье кует словно сталь... Радостно пишется новая повесть, И умирает былая печаль.

Взглядом куда ни кинь, Горы, тайга и синь...

Зовы звенящие, в даль уходящие.... Хмурясь, грустит тайга, Склоны завьюжены гор... Кружит в оврагах пурга Таежный далекий простор...

В эти морозные ночи и дни Вьюга напевы доносит одни: О том, что в снегах непроезжей тайги Стальными чекистами возвращены Стране трудовой и воры и враги, И реют знамена Советской страны.

Утро ли? День ли? Иль, может быть, вечер? Время несется, несется, как ветер!.. Время беснуется снежной метелицей, Снежным покровом былое застелется. Воля ударная стелет пути. Ими нам к воле пройти!..

1936 rog

## ФЕДОР КАРБУШЕВ

### ГРЕМИТ ТАЙГА

Гремит тайга, работают машины, Ударный труд и здесь свое творит. Штурмуя глушь, взрывая гор вершины, И день и ночь грохочет динамит.

Где рыскал зверь да выли ураганы, Воздвиглись ввысь железо и бетон, Несутся дни и пятилеток планы... В тайге растет рудник за рудником.

Растут дома, и школы, и больницы Здесь вместо тьмы и порванных оков, Гремит тайга, поют стальные птицы, Струится ток по жилам проводов.

Кругом поля, на них стальные кони, Хоронят старь, моторами рыча, И слышно здесь, в машинном гулком звоне, Биенье сердца — сердца Ильича.

Вперед! Вперед! Грудь шире, тверже ногу! Тесней смыкай ударные ряды. К богатствам гор быстрее строй дорогу, Растет страна и требует руды.

Руби, сверли ударною рукою, Стремись вперед сквозь дебри и утес, Чтоб по тайге с пушниной и рудою Меж Шорских гор помчался паровоз.

Эй, зорче глаз! Эй, слух острей, чекисты, Разоблачай вредителя, рвача! Стрелки, ударники и коммунисты, За славный труд, за дело Ильича!

Трудна задача, но должны досрочно Связать с тайгой мы рельсами Кузбасс. Так дружно в бой — и выполним мы точно Правительства и партии наказ.

1936 rog

# ЮРИЙ НОЛЬДЕН

## БАЛЛАДА О ФЕЛИКСЕ ДЗЕРЖИНСКОМ

Бессонная лампа над столом горит. Режущий свет от зари до зари. В небе туч золотая канва. Бессонным Кремлем живет Москва. Чудом минутный, колючий сон — Ежеминутно трешит телефон. А у подъезда автомобиль Воет, взрывая снежную пыль. В Кремле кабинет. За ширмой кровать Стоит, чтоб на ней никогда не спать. Печка, не пой, про уют не мурлычь!.. Сегодня звонил Владимир Ильич. Заговор? Есть! Выехать в шесть! Темная весть, что врагов не счесть. В прошлом? Сибирь, кандалы, тюрьма. Лицом к лицу смерть сама. Побег из тюрьмы. Подкопы, жар, Кровавой реакции душный угар. Товарищ Дзержинский! Стань во весь рост, Как капитан не покинешь пост. Летопись славных Октябрьских дней Ты завершаешь страницей своей. Сталью блестят три буквы, слова: ВЧК!.. ВЧК!.. ВЧК!..

«Я отдам свою душу или не отдам ничего»,—

Такие были слова его...
А слова — это дело у таких людей.
Он партии отдал до края дней
Душу — хрусталь и сердце — снег,
Отдал революции человек.
Звонок! Телефон! Среди ночи. В поход!
Дело! Ни слова. Да! Да! Зовет.
Растет пролетарий. Крепнет страна.
Где ж тут спать? Есть время для сна?

В Кремле кабинет. За ширмой кровать Стоит, чтоб на ней никогда не спать. Никогда не спать, но навеки лечь, На съезде внезапно не кончив речь.

Утро! Рано! Говор барабана. Старая гвардия Большевиков. Склоненные знамена, Марш похоронный, Плавное качанье Лент, венков:

Феликса хоронят под лязг штыков.

Утро! Рано! Говор барабана. Возгласы оркестра, Красный гроб. Ветер острым свистом Реет над чекистом, Улицы бессонны, Заря узка... Светлый лоб из гроба... Небо кроет глобус И кричат знамена: ВЧК!

Феликс, мы клянемся: С дороги не собьемся, Дорога наша будет, Как сталь, звонка! — В эту годовщину Мы помним исполина Рыцаря Дзержинского ВЧК!

1936 rog

Пусть косит снег и пусть метель кружится Мильонами теней у фонаря. Но с нами радость, как большая птица,— Немеркнущее солнце Октября.

Шумят грузовики. Красногвардейцы едут,— Приказывает Смольный наступать — И верят в пролетарскую победу — Кроме цепей им нечего терять! Снег петербургский меряет просторы, Порфирородный поседел гранит, И над свинцовой Балтикой «Аврора» Речитативом мощным говорит. Там восемнадцать лет невиданным расцветом Республика Советская живет, И мы живем, и радость бьется в этом, Звенящая, как солнечный восход. Года проходят бурей многопенной И знамена шумят над головой, Но каждый знает: с трубкой неизменной Стал у штурвала мудрый рулевой.

1936 rog

## **ЛЕОНИД ПРОЛЕТАРСКИЙ**

#### ПРИВЕТ КУЛЕШОВУ

Лейся, песня, на новый мотив, Слушай, ударник труда! Есть колонна, а в ней коллектив. Он всем коллективам — звезда.

Красное знамя реет над ним. Дано за победу на всех фронтах. Его, как любовь, бережет коллектив И держит в надежных руках.

План выполняет и темпы берет, Во всех отношениях самый толковый, Все ТПК за собою ведет. Он ТПК — образцовый.

Стахановский метод страну всколыхнул. Нормы стахановцы дружно подняли. В него коллектив Кулешов втянул, Стахановцем стал, и с ним многие стали. Топливо домнам! Должны поезда В тайге пробежать по рельсам веселым, Для домен Кузнецка польется руда Между Ахпуном и Таштаголом.

От Учулена меж пихт и берез Рельсы стальные змейкою вьются... Скоро по ним пробежит паровоз, Вдогонку вагоны за ним пронесутся.

Ваш, кулешовцы, почетен труд. Ценим почин ваш простой и стойкий. За вами все лучшие люди пойдут Ударно закончить постройку.

1936 год

## л. ДМИТРИЕВ

## ПУСКОВОЙ ЭКСПРЕСС 7 ОТДЕЛЕНИЯ

«Вот он, вот он,— там за поворотом!» — кто-то сбоку громко говорит, и перрон, наполненный народом, напряженно, сдержанно гудит.

И идет из озаренной дали (завершилось! кончено! сбылось!) тот, кого так долго ожидали,— разодетый в зелень паровоз.

Он умерил быстроту разгона, по путям уверенно идя... Впереди расшитые знамена и портрет великого вождя.

Тишина. Подходит. Замедленье. Остановка. Праздничный вокзал. Вот оно, огромное мгновенье,—то, что каждый долго ожидал.

И, смотря на радостные лица, выступает женщина вперед: на кожанке красные петлицы. Напряженно слушает народ.

«Завершаем мы большое дело, говорит, спокойная, она, потому что партия хотела и хотела этого страна.

Это было радостно и нужно, это понял каждый здесь из нас. Мы прошли напористо и дружно...» — вот и весь простой ее рассказ.

Зазвучали на перроне речи, — голосов веселый перезвон, и сиял, свидетель этой встречи, голубой и ясный небосклон.

И, приветно распростившись с нами, набирая скорость на разгон,— этот поезд с пестрыми цветами на другой умчался перегон.

Все же солнце светит и смеется, все же сердце бьется и поет,— оттого, что радость остается, никуда из сердца не уйдет.

1936 rog

## М. ШТЕЙНБЕРГ

### НОЧЬ НАПРОЛЕТ

Пусть экспресс пусковой загудит по путям, пусть горят семафоров огни, пусть работой своей героический БАМ уплотняет последние дни!

На фаланге огонь и огонь боевой,— все работают ночь напролет;

ни один фалангист не вернется домой, прежде чем пусковой не пройдет.

Мы гордимся ударной фалангой своей, что своим обещаньям верна,— ведь она посылает стране сыновей, перекованных стройкой до дна.

И сердца наши буйно пылают огнем, в нас незыблем закал трудовой. Мы умеем работать и ночью и днем, всей фалангою двадцать второй!

1936 год

## С. ПОЛТАВСКИЙ

## А СЕЙЧАС

Год назад это были мечты, мечты... Год назад это был еще только труд. А сейчас — за мостами бегут мосты, а сейчас — по вторым балласт везут.

День назад это был волевой напор, день назад это был вихревой разгон, а сейчас — проведен дерновой узор, а сейчас мы готовый сдаем перегон.

Час назад еще был сам себе чужой, час всего,— назывался еще «зека», а сейчас — свободен! В душе: «Домой!»... А сейчас — над письмом чуть дрожит рука...

## П. КОРНИЛОВ

## БОЕВОЙ ПРИКАЗ

«Строить прочно и красиво».

Из приказа НСТР т. Френкеля

Нам выстроить — приказ страна дала — необходимую железную дорогу. И вот пришли. И дрогнула скала. И расступились горы понемногу.

От берегов Байкала на восток, где цепи мрачных гор стоят стеною, где мчится быстрых горных рек поток и омывает берега волною,—

мы шли вперед незыблемой стеной, болота осушали, рвали скалы— рождалась насыпь линией прямой, на полотно ложились ровно шпалы.

Гигантский экскаватор разрывал сырую землю зубьями стальными. Гремели тачки. Горы сострясал гул аммонала взрывами глухими.

Кипит работа бойкая кругом. Охвачены энтузиазмом массы, ударники на фронте боевом, ретивые строители на трассе.

Настали дни решающих побед. Нас призывает наш руководитель. Дружней вперед! — Вот подлинный ответ, его дает сознательный строитель.

Сильней стучи, железная кирка! На штурм, боец! На трассу боевую! чтоб в срок твоя упорная рука могла закончить магистраль стальную!

Настанет долгожданная пора. Дорогой новой паровоз помчится, от девственного сна воспрянет край, ночь яркими огнями озарится.

И смело скажем мы тогда: «Страна! Мы дали в срок тебе пути вторые. Крепка работа наша и сильна, стрелой проходят насыпи прямые.

Вперед! Вперед под знаменем труда! Мы возведем сооруженья прочно, чтоб четко грохотали поезда и оживляли край Дальневосточный».

1936 год

## Я. ШАМАНИН

## КАК МЫ УЕДЕМ

Путь змеею длинной вьется по тайге и по горам. Лихо конь стальной несется, и стучат колеса: «БАМ!»

Первый поезд мчится смело: вот мелькнул,— исчез вдали... Эти рельсы — наше дело, это сделать мы смогли!

Путь второй БАМлаг построил, с центром он Далькрай связал. Только при советском строе мыслим трудовой закал.

Дальше, дальше, все на запад, все стремительней, быстрей, пробуя железной лапой прочность сданных в срок путей,—

мчится, мчится поезд первый, мчится по вторым путям. Радостно играют нервы, дышится привольно нам!

Край далекий, край восточный! Мы прощаемся с тобой, мы, что выковали прочно и себе свой путь второй.

Переплавкой, перековкой лагерь нас переродил. С крепкой трудовой сноровкой всякий будет люб и мил.

Мчится поезд: села, веси, города и города... И над всем закат развесил золотые провода. Взор вперед, и мысли тоже обгоняют паровоз. Поднимай, держи построже выбранный тобой колхоз.

Расскажи братве колхозной, как мы строили пути, как смогли в тайге морозной к новой жизни подойти...

Поезд мчится, словно птица, все вперед и все вперед. За труды твои сторицей отблагодарит народ.

Но и ты Стране Советов полноценно помогай, докажи, что правда это, что родной ты любишь край,

что его могучей стройкой ты захвачен, ты горишь, что уверенно и стойко дело общее творишь!

Путь стальной змеею вьется все вперед, к родным местам. Поезд птицею несется, и дышать привольно нам!

1936 rog

# АНДРЕЙ ЗАГРЯЖСКИЙ

АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЗАГРЯЖСКИЙ (1898—1970). ИНЖЕНЕР, ОФИЦЕР, УЧАСТНИК ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. АРЕСТОВАН В НАЧАЛЕ 1930-х ГОДОВ. СРОК ОТБЫВАЛ В ВОРКУТЕ, В ДМИТРОВЛАГЕ (КАНАЛ МОСКВА — ВОЛГА). ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ В 1939 ГОДУ РАБОТАЛ НА СТРОЙКАХ В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ СТРАНЫ. СТИХИ НАПИСАНЫ В 1935—1939 ГОДАХ, ПУБЛИКУЮТСЯ ВПЕРВЫЕ

## СОСНЫ

За каждый светлый миг, за каждое мгновенье Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.

• М. Ю. Лермонтов

Разметая грустный уют Ночной синевой снегов, Как море, сосны поют У радостных берегов.

Оно ворвалось в мой дом, Мой тихий дом залило И бурно взвихрило в нем Тропическое тепло.

Дыханьем пьяных цветов Безудержные ветра Смели, как сны облаков, Бесследно мое вчера.

Они молитвы поют, Поют о дивной судьбе, Их гимнов рокот замкнут Тобой, для Тебя, о Тебе.

Но в лучезарный их блеск, Неистовый их размах С холодных черных небес Плывет мистический страх.

Вступает в светлый хорал Шум сосен в снежной дали, Чтоб в счастье своем я ждал Беспощадную месть земли.

# В НОЧНОЙ АРБАТСКОЙ ТИШИНЕ

Пропел клаксон автомобильный В ночной арбатской тишине. Нет, не бледней! — в тоске бессильной, В тоске предчувствий не бледней!

Мгновенья давят... Разобьет ли Звонок тревогу тишины? Сейчас ли, завтра, через год ли Мы все равно обречены.

Горят нам горькие созвездья Лучами алыми, как кровь, Нам страшный мир несет возмездье За небывалую любовь.

Но верой страху неподвластной, Неоспоримо нам одним, Мы в тяжкий час улыбкой ясной Путь к новой встрече озарим.

# ТЮРЕМНОЕ СВИДАНИЕ

Твой профиль, нежный, гордый, четкий, Царить рожденный и блистать, В тюрьме за сдвоенной решеткой Передо мной возник опять.

В Твоей улыбке боли тени, Как тени туч в лучах зари. Усильем воли дрожь коленей Почти бессилен я смирить. Так близко быть,— какая мука! — И не коснуться, не прильнуть, И не обнять в тоске друг друга, В угрюмый отрываясь путь!

Так близко быть,— о самом нужном Сказать успев едва-едва, За ливнем слов чужим и дружным Едва угадывать слова!

Так близко быть,— вот-вот оставить В былом лучистый пламень глаз, И жгучей болью не расплавить Решетки, делящие нас!

Ты так горда! — ни слез, ни пеней, Ты вся любовь, любовь и свет, И только тайной боли тени Кладут у глаз прощальный след!

Ты так светла! — Двором тюремным Несу с собой Твои черты, Как будто пьян огнем напевным: Ты — это я! Я — это Ты!

Ты так близка! Ни даль, ни время, Ни смерти синие края Нас не расторгнут, не изменят, Я — это Ты! Ты — это я!

# ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА

В синий час из тусклого тумана За решеткой шаткого окна Мне в глаза взглянула Несмеяна, Севера царевна и весна.

Ельник, мох, слезинки в светлом взоре, Цепкий дым, тревожный ритм колес...
— «Проходи, не мешкай в коридоре!» — Конвоир угрюмо произнес. И опять мучительно и жутко В тесной клетке, где ни лечь, ни встать, Тянутся пути седьмые сутки, Тысяч верст какая-то верста.

К полдню стал и глухо замер поезд. На часы пустая тишина Задавила слух, в квадрате кроясь Глазу недоступного окна.

И когда усталость за плечами Разморила дремой, кто-то вдруг Закричал: — А ну давай с вещами! — И назвал нам станцию Пинюг.

Дрожь руки, ремни, узлы, рюкзаки, На песке у выхода конвой, Строгие конвойные собаки, Облачный простор над головой.

Шелест, шорох капель неустанный, Терпкий хмель березок и хвои,— Да, бледны и грустны, Несмеяна, Царские владения твои!

Но хватают легкие поспешно Воздух твой, как будто силясь смыть Пропитавший вещи и одежду Запах унизительный тюрьмы.

# УХТО-ПЕЧЕРСКИЙ ТРАКТ

День за днем немеркнущие зори, Облаков бессонный перламутр, Шум тайги, как дальний ропот моря, В чуткой дреме полуночных утр.

День за днем свинцом гнетет усталость, Пыль и пот в дороге жгут глаза, И кричит свирепо на отсталых Конвоир, винтовкою грозя.

День за днем над теснотой стоянок Стелется пахучий дым костров. И весна — царевна Несмеяна — Мучит звоном липких комаров.

День за днем в пути мы запеваем, По команде шаг ровнять бодрей:
— «Человек проходит как хозяин Необъятной родины своей!»

## ΠΛΑΤΟΚ

Блеск перламутра в дреме облаков Сиял всю ночь, в одну сливая зори, И складки волн до черных берегов Вел пароход по сумрачной Печоре.

Сырой сквозняк, студя, перебивал Горячий вздох стальных машин из трюма, Где пленным сердцем угловатый вал Сверкал ритмично, скупо и угрюмо.

Мои соседи, сгрудясь вкруг меня, Витали в снах, ниспосланных судьбою, А я, порывшись в пряжках и ремнях, Достал платок, надушенный Тобою.

Прильнул к нему, без мыслей, слез и слов, С Тобой, в Тебе счастливый, словно не был Рабом пространств, и каторжных годов, И горьких зорь, окрасивших полнеба.

# ВОРКУТА

Черной тундры край зацепив, Вверх пополз ослепительный шар. Золотых облаков разлив Днем полночным томит, как кошмар.

Резкий ветер поет, звеня, Вагонетки поспешно стучат. Из бессонного зева дня Надвигается угольный ад.

Речка в тундре, шахт чернота, Дым, и пыль, и злорадный гудок,— Так встречает нас Воркута На мучительный каторжный срок.

Нас, как скот, считает конвой И ведет, и командует сесть. И ползут над пыльной травой Час за часом, которых не счесть.

# ПЕСНЬ О БОЛИ

Ты отнята, умолк вдали Неумолимый меч разлуки. Отбуревели, отожгли Утраты огненные муки.

Года ползут, года шуршат Глухими кольцами удава. И горько учится душа Стихать в молчанье величавом.

Прощать безумие земли, Смирять тоску и трепет тела И предугадывать вдали Лазурь последнего предела.

Идти к нему, как в отчий дом, Спокойно мудрыми стопами, О нашем празднестве былом Неся ликующую память.

Но сбит усталый ровный шаг, И боли песнь звенит и мучит, Когда сверкнет в привычный мрак Твоих страданий страшный знак, Кровавый блеск звезды падучей.

# ОТЕЦ ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФЛОРЕНСКИЙ (1882—1937). ФИЛОСОФ, СВЯЩЕННИК, УЧЕНЫЙ, ПИСАТЕЛЬ, ПОЭТ. АРЕСТОВАН В 1933 ГОДУ. СРОК ОТБЫВАЛ В БАМЛАГЕ И НА СОЛОВКАХ. РАССТРЕЛЯН 8 ДЕКАБРЯ 1937 ГОДА

# OPO \*

## Лирическая поэма

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Содержание. Одно из древнейших племен ДВК — орочоны (оленеводы), принадлежащие к группе тунгусов, вымирают, но предания о былом величии продолжают храниться в памяти стариков. Потомство одного когда-то знатного рода уже почти исчезло, и последний представитель этого рода женился по любви на простой орочонке, так что оказался из-за этого оторванным от своих родичей. Детей у него нет. В последней надежде, уже пожилой, этот орочон-охотник обращается к шаману с просьбой о помощи, и тот, во время камлания, предсказывает ему, что родится сын, который будет отличаться глубоким проникновением в природу и прославит племя орочон, но что родители должны посвятить его духам мерзлоты.

Мальчика, когда он родился, называют Оро, т. е. Олень, именем священного животного орочон. Он растет, интересуясь лишь природой, особенно мерзлотой, накопляет громадный опыт, своим умом доходит

Поэма не окончена, имеет несколько вариантов. Здесь дан вариант 1934 года с посвящением 1936 года. Рукопись хранится в семье П. А. Флоренского, публикация подготовлена П. В. Флоренским и М. С. Трубачевым.

до понимания явлений природы. Но ему хочется и от других получить какую-нибудь помощь. Он расспрашивает окружающих о древних преданиях и весь охвачен жаром познания.

В лесу с ним встречается ссыльный грузин, потомок когда-то сосланных польских грандов, озлобленный на жизнь и судьбу, благородный, но глубоко подозрительный и изнервничавшийся человек. Грузин странствует по тайге, изучая мерзлоту. В доме Оро он находит себе приют. Грузин рассказывает о судьбе своего рода, о своей родине — Аджаристане, а старик орочон о судьбе своего рода. Все это еще больше раздувает желание Оро учиться. Грузин зовет его с собой на Сковородинскую Опытную Мерзлотную Станцию, действие же происходит в районе головного участка БАМа, в ущелье реки Ольдоя. Отец не отпускает Оро. Но после ухода грузина Оро открывает месторождение интересного редкоземельного минерала и с отцом едет на ОМС показать образцы его. Жизнь станции. Отец, видя хорошее обращение к Оро на ОМС, решается оставить его для обучения. Оро быстро крепнет, делает разные интересные находки (мамонт), предупреждает трагическое столкновение грузина с дирекцией станции, выдвигается. Его направляют, после предварительного обучения, шую школу. Он делается большим ученым и вместе с тем работает по просвещению родного народа, в творческие возможности которого глубоко верит.

Задача. Мерзлота, как тройной символ — природы, народа и личности, — таит в себе силы разрушительные и творческие. Выходя наружу, они могут стать губительными. Золото, таящееся в мерзлоте, обращается в золотой пожар, губящий достояние орочонов — тайгу и мох, разгоняющий дичь — источник их жизни. Пожары производят золотопромышленники — их погоня за золотом — источник бедствий, а потому и вырождения орочонов, постепенно оттесняемых со своей территории. Вечная мерзлота разрушает, когда ее начинают «обживать» и «освоять». Отсюда — «не трогай мерзлоты» орочонов. Но то же — о душе. Прикрытые мерзлотой, таятся в ней горечи, обиды и печальные наблюдения прошлого. Но не надо копаться в ее недрах. Мерзлотная бодрость дает силу

справиться с разрушающими силами хаоса. Мерзлота — это эллинство.

Автор избрал для своей поэмы четырёхстопный ямб, как наиболее бодрый и быстрый темп. Чтобы исключить женственность, мечтательность, неопределенность, автор запретил себе женские рифмы. Этим были внесены большие трудности при писании, и большой вопрос — оправдываются ли они результатами.

Поэма написана для моего сына Мика и приспособлена к его пониманию,— хотя, быть может, сейчас он и не поймет всех многочисленных намеков этих стихов. Но по многим личным причинам мне необходимо посвятить поэму именно Мику, пусть она будет ему хотя бы впоследствии памятью об отце.

# ПОСВЯЩЕНИЕ

Ты свет увидел, бедный Мик, Когда спасен был смутный миг. Отец твой бегством лишь и жил, Замуровавшись средь могил — Могил души. Могу ль назвать Иначе дом умалишенных? Тать Обхитил разум их, и крик Застыл пустой. Я к ним проник. Там воздух по ночам густел Обрывками сотлевших тел — Страстей безликих, всё живых; Там стон страдальцев не затих, Хотя сменил уже на тьму Им рок врачебную тюрьму.

Увы, в голодный жуткий год Какой подарок кто найдет? Искал кругом, что Мику дать — И дар нашелся: благодать. Хотелось мне, чтоб Божья тишь Тебя укрыла, мой малыш.

Был старец — праведный Давид. Сам в рое жалящих обид И жгучих язвий, Бога сил Он имя сладкое хранил. Однажды видит он во сне Судьбу мою, награду мне. Двойную благодать сулил Излить провидец Иоил Во дни предельные скорбей. Мы не дошли до крайних дней. Но сон вещал, что Бог двойным Мне разум просветит Святым Дыханьем уст Своих, что ждет меня и мудрость и почет. И вот двойную благодать Тебе решил я передать И так сказал себе. С тех пор Спустился я с высоких гор, Где темно-синь эфир небес, Во мглу долин, в унылый лес. Блужданьем темным утомлен, Я помню прошлое, как сон... Текли печальные года. Но никогда, но никогда Тебя не забывал отец, Мой хрупкий маленький птенец. Себе я сердце разорвать Готов был, только б мир и гладь Тебя окутали. Полет Событий кружит и влечет. В тревоге смутной, средь невзгод Шел день за днем, за годом год. Ты рос, но слабый, бледен, мал И с детства горести познал. За сроком новый срок скользит. Но не фосфат же инозит \* Удобрит нив душевных новь — Восполнит ласку и любовь. Какой сердечный препарат Слоит сердечный чахлый сад? Заменит солнечный привет, Когда тебя со мною нет?

Но знал: не должно мне роптать. Прошли года (не два, не пять),

<sup>\*</sup> Химическое название фитина.— Авт.

А много безуханных лет, Как звенья внутренних побед. Себя смиряя вновь и вновь, Я в жилах заморозил кровь, Благоуханье теплых роз Замуровал в льдяной торос. Так мысли пламенной прибой Остыв, закован сам собой. С тобой в разлуке вот опять. Тебе лишь повесть рассказать Могу с своих унылых нар — Любви бессильной жалкий дар. Но не хотел бы уронить Из рук ослабших Парки нить, Стрясти земную пыль и прах, Пока не выскажусь в стихах. «Цветы осенние милей Роскошных первенцев полей». Так пусть над кровом мерзлоты Взрастут последние цветы.

8—10 апреля 1936 года

Ι

Полеты пламенной души И чувства, взросшие в тиши, Война, убийство, царский гнев, Свирели хрупкий сельнапев,

Цветенье нежное любви, Иль как иначе назови,— Хоть годы юные проказ— Воспеты были много раз.

В поэмах солнце и закат Над мирной музыкой звучат, Увядший и поблеклый лист В них вечным золотом лучист.

Божеств, героев и царей Деянья режут глаз. Скорей Забудь о них, к тому ж давно Писать о них запрещено. Весь мир описан и воспет, И мысли кажется, что нет Такого уголка, где стих Не наследил бы стоп своих; Куда бы с давних, древних пор Поэт не влез, как хишный вор.

Но даст холодный сверхвосток Мне тематический исток: От перевала Эвота \* Течет он — словом мерзлота.

#### II

Где Тында, иль Туман, бежит Селип, Ольдой, иль Муртетит, Падь Конская, где Имачи Журчат — кипящие Ключи — Зимой и летом, ночью, днем, И по траве и подо льдом (Так бъешься, сердце, верно, ты), Где в недрах вечной мерзлоты, Как меж тоскливых тусклых туч, Мерцает огустелый луч,— По орочонским здесь тропам Взнестись наверх намерен БАМ. Поет пила, звенит топор, Рвут аммоналом косогор, Меж звуковых зеркал зовет Аврально поработать слёт. Безмолвье скрылося с тех пор — Звучит в лесу фаланги хор.

#### ПЕСНЬ ФАЛАНГИ

Лов рыбки в взмученной воде Оставь, захватчик КВД: Ольдоя струями дано Ущелие под полотно.

<sup>\*</sup> Высшая точка района. Севернее Эвоты наледей почти нет, а южнее — очень много.— $\Pi$ .  $\Phi$ .

Удвоенным путем на БАМ Грозить сумеем мы врагам. Спешим мы вдвое, в много раз, Чтоб путь двойной закончить враз.

От пункта к пункту, в новый пункт Проводим к морю ж.-д. шунт. Чтоб общество без классов спас, Мы строим путь,— не напоказ.

Поет пила, звенит топор, Рвут аммоналом косогор. Фаланги песнью звучен лес. Идут врагу наперерез.

Но шумом жизни удручен В горах укрылся орочон.

#### III

Не встретишь здесь ни кротовин, Ни нор мышиных. Ты один Скитаешься в стране пустой, Не видя ни души живой.

В тайге не слышен птичий грай. Печален и суров тот край. Пуста, безлюдна и бедна Золотоносная страна: Невзрачна мерзлота на вид, Хоть дар Мидасов в ней разлит.

Здесь всё совсем наоборот, Здесь всё по-своему живет. Здесь на возвышенных хребтах Затишье, но долинный прах Разносится по ветру. Здесь Всего, что есть, не перечесть. На дне глубоких котловин Копится холод. Ни один Ветр отепляющий сюда Не проникает никогда,— И к дну воздушных сих озер, Замерзших меж окрестных гор, Себе дороги не найдет И не пробъет воздушный лед.

Весною звонкий ледоход На реках льда не разобьет, Лишь все победней и звончей Бежит по наледям ручей.

Как дерево, гниет гранит, В дресву бессильную разбит, Но корням лиственниц упор Не даст промерзший косогор.

Идешь по наледи, но жаль Ступать ногою на эмаль. Не бирюзы ли жила там К скалистым жмется берегам? — Нет, серый и гнилой гранит Вкруг наледей речных лежит. Парчи ль серебряной узор? Запорошенный косогор. Константинопольских владык Не пышный пурпур ли проник? Быть может, византийский двор Сюда сокрылся в древний бор? — Но нет, не думай о былом. Поблек Царьград перед стволом; Пурпурных лиственниц наряд Затмил торжественный Царьград. Не купол то Софии, нет. Преображенный в белый свет, Сияющий стоит Фавор Над цепью Тукурингрских гор.

τv

Об орочонах, их истории и вырождении. История одного знатного, но захудалого рода. Бездетность, тоска по ребенку последнего представителя рода.

Камлание у шамана, с целью узнать, будет ли ребенок. Шаман предсказывает сына, если он будет посвящен по обету духам мерзлоты, и сулит этому мальчику славное будущее в области науки.

#### VI

Родился мальчик слаб и хил. В крещенье назван Михаил. Но именем мирским Оро Отец назвал его. Старо То имя. Смысл его — Олень. Священная оленя тень Легла на мальчика. Он врос В тайгу. Окурки папирос, Бумажки, тряпки, прочий сор Пытливый не сквернили взор. По лесу, бодрый, как Олень, Оро бродил, и слова лень Иль слова скука он не знал. Лишь мира тайн

Страстей бесплодных треск и шум Был заглушен. Кристаллы дум Росли прозрачные.

#### VII

Он был охвачен жаром — знать. Еще ребенок, презирать Круг детских плясок и забав Он научился. Пылкий нрав Таил под хладной мерзлотой. Один, угрюм, своим не свой, Всходил он на лесной бугор, Вперяя вглубь сверлящий взор.

<sup>\*</sup> Пропуск в рукописи.

Упорной мыслию пронзен, Вскрыть мерзлоту пытался он. Какие силы вознесли Те булгоняхи от земли? Быть может, ледяной сокрыт В бугре из мха, ином на вид? И расчищал он белый мох; Но, слабый, быстро изнемог И выбился из детских сил. Хрустальный купол проступил, Заголубев, как небосвод. Но свод небес — не тот же ль лед? Сверкает бездной пузырьков, Замкнутых в ледяной покров. Пустоты ль в бирюзовой мгле Сокрыты в горном хрустале? Оро пробить старался свод. Удар кайла другой зовет.

Вдруг... треск внезапный. Оглушен, Отброшен и напуган он.

Расселся купол. Бьет фонтан. Восторгом хладным обуян, Оро застыл, глаза вперив В невиданный водоразлив. Струя текла, журчал ручей Под сетью иглистых лучей, И, охлаждаясь, застывал Слоями в наледный кристалл.

#### VIII

В то время, ношей утомлен, Тайгой шел странник. Мирный сон И отдых не смыкали вежд Давно. Печальный, без надежд В стране пустынной встретить кров, Он брел по ржавому ковру Опавшей хвои. Лишь нору Себе соорудить меж скал, В нем голос внутренний кричал.

Вдруг видит: пьяный лес, бугор, Вверху, раскрыв широко взор, Мальчонок, что олень, стоит, Закатным золотом залит. Он черноглаз и длинноног, На бронзовом лице восторг.

— «Скажи мне, странник, кто же ты?» — «Искатель».— «Зо?..» — «Нет,

мерзлоты».

Ответом странным удивлен, Внимает юный орочон. С бугра скользнул, к отцу бегом Спешит в волнении немом.

«Привел я странника... Он здесь. Скорее дай ему поесть. Он ищет мерзлоту. Про мышь Он нам расскажет. Но поди ж И встреть. Тот странник не простой — Он занят нашей мерзлотой. Хотел бы, чую, чтоб металл До глубины земной лежал И вида золота бежит, Как будто был бы ядовит».

Не многое понял старик, Но слушаться Оро привык, И, подтянув ремнём унты, Он поспешил до темноты Навстречу гостю: hytta — сын Любимец был и господин.

«Привет тебе, наш гость. Свой путь Прерви на время. Отдохнуть Зайди ко мне. Пусть уруса Заменит холод и леса».

— «Охотно к вам зайти готов. А приамурских тунгусов Уже давно и быт и нрав Меня влечет».— «Так, видно, прав Мой сын Оро. Нам небом дан Наш гость, пришлец из дальних стран».

Орочонин принимает у себя странника. После ужина разговоры.

 $\mathbf{x}$ 

«Быть может, хочешь ты бежать?»
— «Чтоб ни сестра, ни брат, ни зять Не знали, где я. Чтоб жена Забыла, роком сражена, Об имени моем,— о мне Не вспоминала б и во сне. Я испарился бы с земли, Как здешний снег, что намели Нежданно майские ветры.

Устал, измучен, одинок, Скитаюся, мой путь далек».

«Я вижу, странник, ты скорбишь. Вдохни полнее нашу тишь,— Забудется пред жизнью страх, И боль замрет у нас на льдах».

-- «Ну что ж, ничуть не утаю Я боль душевную свою, Озлоблен, мрачен, грустен, дик. Да, люди чужды мне, старик. Не говори мне: «Ка...\* — брат. Твердил и я о том стократ, Но ошибался: весь свой век Волк — человеку человек, Иль злее, уссурийский тигр Не мучит жертву ради игр, А человека не нужда, Не голод — зависть иль вражда Стезей предательства, измен Толкает к страсти злобной в плен. Он в душу ближнему иприт Налить хотел бы, и горит

<sup>\*</sup> Слово недописано в рукописи.

От злобы сердце. Другу дал Приязни знак ты — свой кинжал. Но в час офелия забыт Долг благодарности и стыд. Увидишь ты друзей без маск. Тобой подаренный дамаск, Поверь, насколько было сил, Твой друг в твою же грудь вонзил, А сам доверчивый твой сон Хранить клялся надежно он».

#### XΙ

«С тобою спорить не готов. Не знаю ваших городов, Ни ваших нравов и страстей. Останься с нами. Мы гостей Не видим вовсе. Ты покров Найдешь и ласку вместо льдов.

Смотри, как сын тебе наш рад, Как у него блистает взгляд. Один у нас омолгечан \*. Когда-то возвестил шаман: «Постигнет тайны мерзлоты». Так, может быть, расскажешь ты Ему про лед и про кипень, Про мрак ночной, про ясный день. Про солнце, звезды, вешний ветр, Огонь золотоносных недр. Умом пронзить хотел бы мир, Но одинок он здесь и сир.

Как дикая коза — гюнтан, Наш мальчик в вёдро и туман Бежит к реке, в тайгу, к горам. Меня ругают: «Это срам», Но верю, знанья сладкий мед Оро когда-нибудь найдет».

<sup>\*</sup> Мальчик.

Орочон рассказывает про судьбы своего народа, о том, как орочоны постепенно утрачивали свою силу и как вместе с тем хирел его собственный род. Но под мерзлотою народа и рода, рассчитывает он, таятся творческие возможности. Ему отвечает странник.

#### XIII

«И наш, скажу тебе я, род Зигзагом сверху вниз идет. Отец отца был польский граф. Восстал в защиту панских прав, Но, силой русской побежден, Был сломлен и наказан он С друзьями-панами. Приказ Готов — о ссылке на Кавказ. И сын его был сослан с ним, За вольность польскую гоним. Красе Кавказа чужд, мой дед Прожил как ссыльный мало лет. И, ностальгией заболев, Окончил дни Друдзовский Лев. А сын его Виссарион, Красой грузинки увлечен, Родил Друдзовского Сандро». Вниманья полн, застыл Оро, Мечтой внезапно увлечен. А гость, задумавшись, умолк. Времен нахлынувший поток Волною грусти затопил Остатки истощенных сил. Но вновь себя преодолел, Перешагнул чрез груды тел — Воспоминаний о былом.

«За зло платить не буду злом. Не видел в жизни я добра: Нужда, обиды. Но пора, Пора уж заморозить кровь, Про вероломную любовь Забыть, забыть, похоронить

И мирно ждать, покуда нить Порвется жизни. Пред тобой Гонимый яростной судьбой Сандро Друдзовский. Вновь лишась Своей отчизны (я Кавказ Родным себе привык считать), С ней потерял я также мать. И от меня далек, далек Родимый Западный Восток.

#### XIV

«В горах, прекраснее всех стран, Раскинут наш Аджаристан. Слоновокостный там самшит Земля приморская родит, Над морем, среброгруд, баклан Прорежет утренний туман, И облачных закатных туч Края зажжет последний луч Смарагдным светом. Вечных дум Предмет моих — родной Батум. Шумит там море, и в волнах, В их контрапункте слышен Бах, Когда сардоникс и агат Волной влекомые гремят.

Призыв не к неге лишь — Коран: Зовет к борьбе. Так ураган Нежданный, грозный. Дальний гул Крепчает быстро. Вот подул Порыв воздушный — бурный шквал, Из глубины вздыбился вал Весь в мыле. Ржет табун, бежит. Лазурь померкла. Грозный вид. Бушует буря. Ужас. Шум. И грохот волн. Таков Батум. Как оркестрован! Грохот, вой, Стук кастаньет, зовет гобой. Fortissimo ревет тромбон. Не взбешенный ли дикий слон Трубит и брызжет, сам не свой? На приступ волн береговой

Мчит полк за полком. Разъярен, На камни вспрыгнул эскадрон, И гневной ярости полна Иссиня-черная волна».

### xv

«Там нет зимы. Лишь тонкий лед Как редкость разве кто найдет Раз-два в году. Зеленый сук Омелы осеняет луг Рождественских зеленых роз. Не снег белеет — стадо коз. Букс, лавровишня на дворе Растут пред домом. В январе Фиалок слышен аромат, Ковром поросших горный скат. Вслед зацветает цикламен, Галантема, миндаль... Но в плен Попал... О, мой Батум, Предмет всегдашних горьких дум! Мечтал: на мирном берегу Сынишку верно сберегу. И думал: мой Георгий род Друдзовских древних вознесет. Неумолимая ж смела От моря в мари, из тепла На мерзлоту, в мороз, в тайгу. Не мщу ни другу, ни врагу, Но Ивиковы журавли, Мню, не оставили земли».

#### XVI-XX

Беседа странника с Оро о разных явлениях природы. Странник уговаривает орочона отпустить с ним Оро на Мерзлотную станцию, орочон не соглашается. Странник уходит. Оро делает разные зимние наблюдения. Зима проходит.

Пришла весна.— Весны здесь нет. Враз испарился тощий снег. Суха, поблекла и мертва По марям длинная трава. Горюч, как порох, мох сухой, И лесовал, и сухостой. Чахгды и лиственниц стволы Огню добыча. От смолы Вздымает пламень. Лесопал От малой искры запылал. И над иссушенной травой Крутится вихорь огневой. Там огненная пелена По скалам гор наведена, Здесь в ночь густую и средь дня Трепещет полог из огня.  $\Delta$ ымятся мари и луга, Дымятся пни, дымит тайга. Как рудозолотой олень Лесная запылала сень — Горит нагорная тайга, Вздымая пламени рога, И зарева со всех сторон Румянят дымный небосклон. Стоит здесь мгла, и дым густой, И запах гари. Полосой Огня хребты обведены В дни этой огненной весны. То распускаются цветы Золотоносной мерзлоты.

#### XXII-XXV

В обвале берега Ольдоя Оро находит остатки мамонта. Вместе с отцом он идет горными тропами в Сковородино на ОМС сообщить о своей находке. Впечатления от ОМС.

#### XXVI

Как эльф порхает меж воров Кудрявый Коленька Быков: Дощечку ищет с давних пор, Чтоб укрепить на ней мотор.

В лазури ль места не нашел Кирилл, что прямо в комсомол Спустился. И огромный взор Глядит на неприбранный двор, Печалью тайною томим. Так многокрылый Серафим Лежит, падением разбит, Но песнь небесная звучит.

Сковородино. 1934 г.

# ΒΑΡΛΑΜ ΙΙΙΑΛΑΜΟΒ

ВАРЛАМ ТИХОНОВИЧ ШАЛАМОВ (1907—1982). ПОЭТ. НАХОДИЛСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ С 1929 ПО 1932 ГОД НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ И С 1937 ПО 1951 ГОД НА КОЛЫМЕ. БЫЛ В ССЫЛКЕ ДО 1956 ГОДА

## СТЛАНИК

Л. Пинскому

Ведь снег-то не выпал. И, странно Волнуя людские умы, К земле пригибается стланик, Почувствовав запах зимы.

Он в землю вцепился руками, Он ищет хоть каплю тепла. И тычется в стынущий камень Почти неживая игла.

Поникли зеленые крылья, И корень в земле — на вершок!.. И с неба серебряной пылью Посыпался первый снежок.

В пугливом своем напряженье Под снегом он будет лежать. Он — камень. Он — жизнь без движенья, Он даже не будет дрожать.

Но если костер ты разложишь, На миг ты отгонишь мороз,— Обманутый огненной ложью, Во весь распрямляется рост. Он плачет, узнав об обмане, Над гаснущим нашим костром, Светящимся в белом тумане, В морозном тумане лесном.

И, капли стряхнув, точно слезы, В бескрайность земной белизны, Он, снова сраженный морозом, Под снег заползет — до весны.

Земля еще в замети снежной, Сияет и лоснится лед, А стланик зеленый и свежий Уже из-под снега встает.

И черные, грязные руки Он к небу протянет — туда, Где не было горя и муки, Мертвящего грозного льда.

Шуршит изумрудной одеждой Над белой пустыней земной. И крепнут людские надежды На скорую встречу с весной.

Не дождусь тепла-погоды В ледяном саду. Прямо к Богу черным ходом Вечером пойду.

Попрошу у Бога места, Теплый уголок, Где бы мог я слушать песни И писать их мог.

Я б тихонько сел у печки, Шевелил дрова, Я б выдумывал без свечки Теплые слова. Тают стены ледяные, Тонет дом в слезах. И горят твои ночные Влажные глаза.

Все те же снега Аввакумова века, Все та же раскольничья злая тайга, Где днем и с огнем не найдешь человека, Не то чтобы друга, а даже врага.

# КАМЕЯ

На склоне гор, на склоне лет Я выбил в камне твой портрет.

Кирка и обух топора Надежней хрупкого пера.

В страну морозов и мужчин И преждевременных морщин

Я вызвал женские черты Со всем отчаяньем тщеты.

Скалу с твоею головой Я вправил в перстень снеговой.

И чтоб не мучила тоска, Я спрятал перстень в облака.

Чем ты мучишь? Чем пугаешь? Как ты смеешь предо мной Хохотать, почти нагая, Озаренная луной?

Ты как правда — в обнаженье Останавливаешь кровь. Мне мучительны движенья И мучительна любовь...

Модница ты, модница, Где ты теперь?

Годинца ты, модинца, Где ты теперь? Как живется, ходится, Гуляется тебе?

По волнам бегущая Через все моря, Любимая, лучшая, Милая моя.

В море ли, на острове, В горе ли, в беде — Платья твои пестрые Видятся везде.

Следом горностаевым Прыгаешь в снегах, Со снежинкой, тающей На сухих губах.

Брезгуя столицами, В летнюю грозу Скачешь синей птицею По ветвям в лесу.

И на перьях радуга, И в слезах глаза... Повидаться надо бы Донельзя— нельзя!

В этой стылой земле, в этой каменной яме Я дыханье зимы сторожу. И лежу, как мертвец, неестественно прямо И покоем своим дорожу.

Нависают серебряной тяжестью ветви, И метелит метель на беду. И в глубоком снегу, в позабытом секрете И не смены, а смерти я жду.

# БАРАТЫНСКИЙ

Мы втроем нашли находку — Одинокий рваный том, Робинзоновой походкой Обходя забытый дом.

Мы друзьями прежде были, Согласились мы на том, Что находку рассудили Соломоновым судом.

Предисловье — на цигарки, — Первый счастлив был вполне Неожиданным подарком, Что приснится лишь во сне.

Из страничек послесловья Карты выкроил второй — Пусть на доброе здоровье Занимается игрой.

Третья часть от книги этой — Драгоценные куски — Позабытого поэта Вдохновенные стихи.

Я своей доволен частью И премудрым горд судом, Это было просто счастьем — Заглянуть в забытый дом.

Февраль — это месяц туманов На северной нашей земле. Оптических горьких обманов В морозной блистающей мгле.

Я женской фигурою каждой, Как встречей чудесной, смущен. И, точно арктической жаждой, Мой рот лихорадкой сожжен. Не ты ли сошла с самолета, Дороги ко мне не нашла. Стоишь, ошалев от полета, Еще не почувствовав зла.

Не ты ли, простершая руки Над снегом, над искристым льдом, Ведешь привиденье разлуки В заснеженный маленький дом.

Память скрыла столько зла — Без числа и меры. Всю-то жизнь лгала, лгала, Нет ей больше веры.

Может, нет ни городов, Ни садов зеленых, И жива лишь сила льдов И морей соленых.

Может, мир — одни снега — Звездная дорога. Может, мир — одна тайга В пониманье бога.

Не старость, нет,— все та же юность Кидает лодку в валуны И кружит в кружеве бурунов На гребне выгнутой волны.

И развевающийся парус, Как крылья чайки, волны бьет, И прежней молодости ярость Меня бросает все вперед.

Огонь, а не окаменелость В рисунке моего герба,— Такой сейчас вступает в зрелость Моя горящая судьба.

Ее и годы не остудят, И не остудят горы льда, У ней и старости не будет, По-видимому, никогда...

Зима уходит в ночь, и стужа От света прячется в леса, И на пути в дорожных лужах Вдруг отразились небеса.

И дым из труб, врезаясь в воздух, Ослабевая в высоте, Уже не так стремится к звездам, И сами звезды уж не те.

Они теперь, порою вешней, Не так, как прежде, далеки, Они, как горы наши,— здешни И неожиданно мелки.

Весною мы гораздо ближе Земле — и теплой и родной, Что некрасивой, грязной, рыжей Сейчас встречается со мной.

И мы цветочную рассаду Тихонько ставим на окно — Сигнал весне, что из засады Готова выскочить давно.

Чтоб торопиться умирать, Достаточно причины, Но не хочу объектом стать Судебной медицины.

Я все еще люблю рассвет Чистейшей акварели, Люблю луны латунный свет И жаворонка трели... Я, как Ной, над морской волною Голубей кидаю вперед, И пустынной белой страною Начинается их полет.

Но опутаны сетью снега Ослабевшие крылья птиц, Леденеют борта ковчега У последних моих границ.

Нет путей кораблю обратно, Он закован навек во льду,— Сквозь метель к моему Арарату, Задыхаясь, по льду иду.

Он сменит без людей, без книг, Одной природе веря, Свой человеческий язык На междометья зверя.

Руками выроет ночлег В хрустящих листьях шалых Тот одичалый человек, Интеллигент бывалый.

И, выступающим ребром Натягивая кожу, Различья меж добром и злом Определить не сможет.

Но вдруг, умывшись на заре Водою ключевою, Поднимет очи он горе И точно волк завоет... Я здесь живу, как муха, мучась, Но кто бы мог разъединить

Вот эту тонкую, паучью, Неразрываемую нить?

Я не вступаю в поединок С тысячеруким пауком, Я рву зубами паутину, Стараясь вырваться тайком.

И, вполовину омертвелый, Я вполовину трепещу, Еще ищу живого дела, Еще спасения ищу.

Быть может, палец человечий Ту паутину разорвет, Меня сомнет и искалечит — И все же на небо возьмет.

# ИНСТРУМЕНТ

До чего же примитивен Инструмент нехитрый наш: Десть бумаги в десять гривен, Торопливый карандаш — Вот и все, что людям нужно, Чтобы выстроить любой Замок, истинно воздушный, Над житейскою судьбой. Все, что Данту было надо Для постройки тех ворот, Что ведут к воронке ада, Упирающейся в лед.

Так вот и хожу На вершок от смерти. Жизнь свою ношу В синеньком конверте. То письмо давно, С осени, готово. В нем всего одно Маленькое слово.

Может, потому И не умираю, Что тому письму Адреса не знаю.

Говорят, мы мелко пашем, Оступаясь и скользя. На природной почве нашей Глубже и пахать нельзя.

Мы ведь пашем на погосте, Разрыхляем верхний слой. Мы задеть боимся кости, Чуть прикрытые землей.

# ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Свет как в первый день творенья— Без мучительных светил И почти без напряженья Пресловутых вышних сил.

Будто светит воздух самый, Отражая светлый лед, И в прозрачной райской драме Освещает людям вход.

Там стоят Адам и Ева, Не найдя теплей угла, Чем у лиственницы — древа Знания добра и зла.

## ЖИЛ-БЫЛ

Что ж, зажигай ледяную лампаду Радужным лунным огнем, Нынешней ночью и плакать не надо — Я уж отплакался днем.

Нет, не шепчи и не бойся огласки, Громко со мной говори. Эту старинную страшную сказку В тысячный раз повтори.

Голосом ночи, лунного света, Горных обрывов крутых:
— Жил-был король, недостойный поэтов И недостойный святых...

Все молчит — зверье и птицы, И сама весна Словно вышла из больницы — Так бледна она.

В пожелтевшем, прошлогоднем Травяном тряпье Приползла в одном исподнем, Порванном белье.

Из ее опухших десен Выступает кровь. Сколько было этих весен, Сколько будет вновь?

Наклонись ко мне, кленовая Ветка милая моя, Будь негаданной основою Обновленья бытия.

Не твоя ли зелень клейкая Так горька и горяча? Ты нагнулась над скамейкою Возле самого плеча.

Я шепчу признанья пылкие, К твоему тянусь листу, Что дрожит здесь каждой жилкою, Ясно видной на свету.

Стихи— не просто отраженье Больших событий в мелочах, Они— земли передвиженья Внезапно найденный рычаг.

Стихи— не просто озаренье, Фонарь средь тьмы и темноты. Они— настойчивость творенья И неуступчивость мечты.

Стихи всегда — заметы детства С вчерашней болью заодно, Доставшееся по наследству Кустарное веретено.

> Луна качает море. Прилив. Отлив... Качает наше горе На лодке рифм.

Я рифмами обманут И потому спасен. Качаются лиманы, И душен сон.

Придворный соловей Раскроет клюв пошире, Бросая трель с ветвей, Крикливейшую в мире.

Не помнит божья тварь Себя от изумленья, Долбит, как пономарь, Хваленья и моленья.

Свистит что было сил, По всей гремя державе, О нем и говорил Язвительный Державин,—

Что раб и похвалить Кого-либо не может. Он может только льстить, Что не одно и то же.

Жизнь — от корки и до корки Перечитанная мной. Поневоле станешь зорким В этой мути ледяной.

По намеку, силуэту Узнаю друзей во мгле. Право, в этом нет секрета На бесхитростной земле.

Где жизнь? Хоть шелестом листа Проговорилась бы она. Но за спиною — пустота, Но за спиною — тишина.

И страшно мне шагнуть вперед, Шагнуть, как в яму, в черный лес, Где память за руку берет И— нет небес.

\* \* \*

В воле твоей остановить Этот поток запоздалых признаний, В воле твоей — разорвать эту нить Наших воспоминаний.

Только — тогда разрывай до конца, Чтобы, связавшая крепко вначале Если не судьбы, так наши сердца, Нить, как струна, зазвучала...

### ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Мы вмешиваем быт в стихи, И оттого, наверно, В стихах так много чепухи, Житейской всякой скверны.

Но нам простятся все грехи, Когда поймем искусство В наш быт примешивать стихи, Обогащая чувство.

### РАКОВИНА

Я вроде тех окаменелостей, Что появляются случайно, Чтобы доставить миру в целости Геологическую тайну.

Я сам — подобье хрупких раковин Былого высохшего моря, Покрытых вычурными знаками, Как записью о разговоре.

Хочу шептать любому на ухо Слова давнишнего прибоя, А не хочу закрыться наглухо И пренебречь судьбой любою. И пусть не будет обнаружена Последующими веками Окаменевшая жемчужина С окаменевшими стихами.

Она никогда не случайна — Речная полночная речь. Тебе доверяется тайна, Которую надо сберечь.

Укрыть ее в склепе бумажном, В рассказы, заметки, стихи, Хранящие тайну отважно До самой последней строки.

Но это еще не открытье, Оно драгоценно тогда, Когда им взрывают событья, Как вешняя злая вода.

Когда из-под льда, из-под спуда, Меняя рельеф берегов, Вода набегает, как чудо Расплавленных солнцем снегов.

## поэзии

Если сил не растрачу, Если что-нибудь значу, Это сила и воля — твоя.

В этом — песни значенье, В этом — слов обличенье, Немудреный секрет бытия.

Ты ведешь мою душу Через море и сушу, Средь растений, и птиц, и зверей. Ты отводишь от пули, Ты приводишь июли Вместо вечных моих декабрей.

Ищешь верного броду, Тащишь свежую воду К моему пересохшему рту.

И с тобой обрученный, И тобой облученный, Не боясь, я иду в темноту.

И на небе — зарницы, Точно перья жар-птицы Неизвестных еще островов.

Это — мира границы, Это — счастья крупицы, Это — залежь сияющих слов.

# ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ

ЮРИЙ ОСИПОВИЧ ДОМБРОВСКИЙ (1909—1978). ПИСАТЕЛЬ. ВПЕРВЫЕ АРЕСТОВАН В 1932 ГОДУ И ВЫСЛАН ИЗ МОСКВЫ В АЛМА-АТУ.

В 1939—1943 ГОДАХ НАХОДИЛСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ НА КОЛЫМЕ, В 1949—1955 ГОДАХ— НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ И В ТАЙШЕТЕ. СТИХИ ПРИ ЖИЗНИ НЕ ПЕЧАТАЛ. К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ ИМЕЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ПУБЛИКАЦИЙ В ПЕРИОДИКЕ.

> СТИХИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВДОВОЙ ПИСАТЕЛЯ К. Ф. ДОМБРОВСКОЙ. ЧАСТЬ ИЗ НИХ ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

Пока это жизнь, и считаться Приходится бедной душе Со смертью без всяких кассаций, С ночами в гнилом шалаше.

С дождями, с размокшей дорогой, С ударом ружья по плечу. И с многим, и очень со многим, О чем и писать не хочу.

Но старясь и телом, и чувством И весь разлетаясь, как пыль, Я жду, что зажжется Искусством Моя нестерпимая быль.

Так в вязкой смоле скипидарной, Попавшей в смертельный просак, Становится брошью янтарной Ничтожный и скользкий червяк.

И рыбы, погибшие даром В сомкнувшихся створках врагов, Горят электрическим жаром И холодом жемчугов.

Вот так под глубинным давленьем Отмерших минут и годов Я делаюсь стихотвореньем — Летучей пульсацией строф.

Есть дни — они кипят, бегут, Как водопад весной. Есть дни — они тихи, как пруд Под старою сосной.

Вода в пруду тяжка, темна, Безлюдье, сон и тишь, Лишь желтой ряски пелена, Да сказочный камыш,

Да ядовитые цветы Для жаб и змей растут... Пока кипишь и рвешься ты, Я молча жду, как пруд!

В карцере

# ДЕРЖАВИН

Увижу ль тебя я, Пленира?

Державин. «Ласточка»

Ι

К чужим стихам взыскательно-брюзглив, Он рвет листы — тоскующий задира, — Год пролетел, как умерла Пленира, Свирель цела, но глух ее мотив: «Ла-ла-ла-ла! Ты должен быть счастлив Сияньем благ, невидимых для мира.

Обвита элегическая лира Листами померанцев и олив. Почто ж грустишь, великий муж?» — Я жив, Как тяжело с живыми мне, Пленира!

 $\mathbf{II}$ 

Скрипя безостановочно пером, И рассыпая голубую влагу, Он пишет: «Хладные к гражданственному благу, Вы златом убираете свой дом (Перо порвало толстую бумагу, И волосы сверкнули серебром, Тем матовым сияньем неживого, Что притупляет голову и взгляд В долине старости ни Муз и ни Наяд — Амур грустит у Камня гробового).— Вы совесть променяли на венки, На алчное ласкательство прелестниц». Встает. Не трость по переходам лестниц — Стучится кровь в холодные виски.

«Таким рожден я — гордым и простым!» Медлительная догорает осень, Тихи закаты — золото и просинь Плывут над парком — тоже золотым. Свирель поет: «Будь спутником моим, И молодость даров твоих запросит. Кто мудр и тих,— того прекрасна осень, Тот любит дев и музами храним». Свирель сулит: «Будь спутником моим, И женщина твою украсит осень». Он ей: «Молчи! Есть камень на откосе, Есть белый крест — моя любовь под ним!»

Ш

Река. Молчит алеющая гладь, Все в красных, желтых, белых позументах. Стоят рябины в гроздьях, словно в лентах, И клены собираются взлетать; Растет поганка на трухлявой ножке, Скрипит зеленый гравий на дорожке, Осенним солнцем налиты кусты, В глухих аллеях небо, как окошко, В них иволга орет, как будто кошка, И падают, и падают листы.

Беседка Муз. На круглой крыше лира, Она уж покосилась и давно Разбито разноцветное окно. Внутри темно, не прибрано и сыро. Он снял колпак и думает: «Пленира! Здесь смерть взяла твое веретено». А жизнь течет, бежит горох по грядке, Кудрявясь, вьются кисточки плюща, И кружатся, и носятся касатки, Взлетая, упадая, трепеща. О, птица малая! То в небе золотом, То над тростинкой зябнущей и чуткой Сверкают потемневшим серебром И чернью отороченные грудки. Заботницы! Вверх-вниз, туда-сюда, Несетесь вы в распахнутом паренье, Где ж ваш приют, касаточки? Куда Течете вы, как воздух и вода, Храня зорю на сизом оперенье? Как колокольчик, горлышко у вас, Вся жизнь — полет, а отдых — только час!

Так он стоит, прижав ладонь к виску, Весь в переливах осени и света. «Вот ласточки! — и смотрит на реку,—Вот жизнь моя...»

И долго ждет ответа.

1940 rog

#### **ВЕНЕВИТИНОВ**

Внимайте: чтоб сего кольца С руки холодной не снимали, Пусть с ним умрут мои печали И будут с ним схоронены.

Веневитинов. «Завещание»

Века промчатся, и, быть может, Что кто-нибудь мой прах встревожит И в нем тебя откроет вновь.

Веневитинов. «К моему перстню»

Среди могильной пы́ли И сами все в пыли́, Мы гроб его открыли И перстень извлекли.

Среди могильной пыли Кладбищенской земли. Из тесной домовины Мы вынесли на свет Его большой и длинный Мальчишеский скелет.

Из тесной домовины. Тесней которой нет. И вот два музыканта, Девица знойных лет, Два франта-аспиранта И дед-пушкиновед, Священники без шапок И в шапке землекоп. И мы, две мелких шавки, Разглядываем гроб. Там, чуждый нашим спорам, Лежит уж столько лет Тот мальчик, о котором У нас суждений нет. Тот мальчик, о котором Конца нет нашим спорам. Но правды тоже нет.

И шептались духовные лица: «Если руки простерты на бедра, Это значит: самоубийца...» Ах, молчите, духовные лица!

Спи, мой юный, мой чистый, мой гордый! Не достать их догадливой сплетне До любви твоей двадцатилетней. У нее — ни морщин, ни седины, И ни повода, ни причины, Ни начала, ни окончанья, Только радуги, только звучанья, Только свет из глазничных отверстий Все светлей озаряет твой перстень, Да шумит покрывало у милой, Что пришла погрустить над могилой.

# Что ж грустить?

Не звала, не любила, Только перстень она подарила, Только перстнем она одарила, Только гибелью благословила. Осветила мучительным взглядом, Напоила любовью, как ядом; И твое утомленное тело, Словно яблочный цвет, облетело, Оставляя на старом погосте Черный перстень да белые кости.

Так лежи, возлагая на бедра
В отверженье, в бессмертье пустом
Эти руки, простертые гордо,
Но не сложенные крестом!
Пусть плюются духовные лица,
Негодующей верой полны,
И над черепом самоубийцы
Видят синий огонь сатаны!
Пусть трясут они гривою конскою,
Вспоминают евангельский стих...
Там простят ведь княгиню Волконскую
И не очень послушают их!

1940 rog

О, для чего ты погибала, Троя, И выдуман был Одиссеем конь? Каких изменников, каких героев Испепелил бенгальский твой огонь! Зачем не откупилася от тлена Свечением своих бессмертных риз Похожая на молнию Елена И был забыт лысеющий Парис. А может быть, влюбленные для вида, Они милуются, обнажены, Лишь на картине юного Давида — Две декорации с одной стены; И юноша, исполненный отваги, Лишь в те минуты юн и именит, Когда в устах ослепшего бродяги Его шальная молодость звенит. Истлели все: и рыцари, и Боги, Растертые в один летучий прах... Пустынный вихорь ходит по дороге И чью-то пыль вздувает в лопухах. Гудит, гудит, расходится кругами, Вновь возвращается на прежний путь... И словно пыль скрипит под сапогами, Мозг Одиссея и Елены грудь. Но сброшенное волей бутафора На землю, где убийство — ремесло, Чудовищное яблоко раздора За тысячелетья проросло. И вот опять похищена Елена, Да только чья Елена — не поймешь!

Уступленная недругу без боя И брошенная, как троянский конь, Европа бедная, покинутая Троя, Ты погибаешь на коленях стоя, Не испытав железо и огонь.

Опять сзывает хриплая сирена Созревшую к убою молодежь.

Осень 1940 года. Владивостокская пересылка. 2-я речка \* \* \*

Генерал с подполковником вместе, Словно куры, сидят на насесте, Взгромоздились на верхние нары И разводят свои тары-бары. Тары-бары, до верху амбары, А товары — одни самовары. Говорят о белом движенье И о странном его пораженье, О столах, о балах, о букетах, О паркетах и туалетах. Отягчен своей ношей костыльной, Прохожу я дорогой могильной. Боже правый, уж скоро полвека На земле человек, как калека. В Освенцимах при радостных кликах Истребляешь ты самых великих. Ты детей обрекаешь на муки, Ты у женщин уродуешь руки... И спокойно колымская заметь Погребает их страшную память. Не ропщу на тебя, но приемлю Талый снег и кровавую землю. Но зачем, о всевышний садовник, Пощажен тобой глупый полковник? В час, когда догорает эпоха, Для чего ты прислал скомороха?..

Когда нам принесли бушлат И, оторвав на нем подкладку, Мы отыскали в нем тетрадку, Где были списки всех бригад, Все происшествия в бараке — Все разговоры, споры, драки, — Всех тех, кого ты продал, гад! Мы шесть билетиков загнули — Был на седьмом поставлен крест. Смерть протянула длинный перст И ткнула в человечий улей... Когда в бараке все заснули, Мы встали, тапочки обули,

Нагнулись чуть не до земли И в дальний угол поползли.

 $\Delta$ ушил «наседку» старый вор, И у меня дыханье сперло, Когда он, схваченный за горло, Вдруг руки тонкие простер, И быстро посмотрел в упор, И выгнулся в предсмертной муке, Но тут мне закричали: «Руки!» И я увидел свой позор, Свои трусливые колени В постыдной дрожи преступленья. Конец! Мы встали над кутком, Я рот обтер ему платком, Запачканным в кровавой пене, Потом согнул ему колени, Потом укутал с головой: «Лежи спокойно, Бог с тобой!»

И вот из досок сделан гроб, Не призма, а столярный ящик. И два солдата проходящих Глядят на твой спокойный лоб. Лежи! Кирка долбит сугроб. Лежи! Кто ищет, тот обрящет. Как жаль мне, что не твой заказчик, А ты, вмороженный в сугроб, Пошел по правилу влюбленных Смерть обнимать в одних кальсонах.

А впрочем: для чего наряд? Изменник должен дохнуть голым. Лети ж к созвездиям веселым Сто миллиардов лет подряд! А там земле надоедят Ее великие моголы, Ее решетки и престолы, Их гнусный рай, их скучный ад. Откроют фортку: выйдет чад, И по земле — цветной и голой — Пройдут иные новоселы, Иные песни прозвучат,

Иные вспыхнут зодиаки, Но через миллиарды лет Придет к изменнику скелет — И снова сдохнешь ты в бараке!

#### **АМНИСТИЯ**

#### Апокриф

Даже в пекле надежда заводится, Если в адские вхожа края Матерь Божия, Богородица, Непорочная дева моя.

Она ходит по кругу проклятому, Вся надламываясь от тягот, И без выборов каждому пятому Ручку маленькую подает.

А под сводами черными, низкими, Где земная кончается тварь, Потрясает пудовыми списками Ошарашенный секретарь.

И кричит он, трясясь от бессилия, Поднимая ладони свои:
— Прочитайте вы, дева, фамилии, Посмотрите хотя бы статьи!

Вы увидите, сколько уводится Неугодного Небу зверья,— Вы не правы, моя Богородица, Непорочная дева моя!

Но идут, но идут сутки целые В распахнувшиеся ворота Закопченные, обгорелые, Не прощающие ни черта!

Через небо глухое и старое, Через пальмовые сады Пробегают, как волки поджарые, Их расстроенные ряды. И глядят серафимы печальные, Золотые прищурив глаза, Как открыты им двери хрустальные В трансцендентные небеса;

Как, крича, напирая и гикая, До волос в планетарной пыли, Исчезает в них скорбью великая Умудренная сволочь земли.

И, глядя, как кричит, как колотится Оголтелое это зверье, Я кричу:

«Ты права, Богородица! Да прославится имя твое!..»

Зима 1940 года. Колыма

# ВСТУПЛЕНИЕ К РОМАНУ «ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ»

Везли, везли и привезли на самый, самый край земли. Тут ночь тиха, тут степь глуха, здесь ни людей, ни петуха. Здесь дни проходят без вестей — один пустой, другой пустей, а третий, словно черный пруд, в котором жабы не живут.

Однажды друга принесло, и стали вспоминать тогда мы все приключенья этой ямы и что когда произошло. Когда бежал с работы Войтов, когда пристрелен был такой-то... Когда, с ноги стянув сапог, солдат — дурак и недородок — себе сбрил пулей подбородок, а мы скребли его с досок. Когда мы в карцере сидели и ногти ели, песни пели и еле-еле не сгорели:

был карцер выстроен из ели и так горел, что доски пели! А раскаленные метели метлою извернули воздух и еле-еле-еле не улетели с нами в звезды.

Когда ж все это с нами было? В каком году, какой весной? Когда с тобой происходило все, происшедшее со мной? Когда бежал с работы Войтов? Когда расстрелян был такой-то? Когда солдат, стянув сапог, мозгами ляпнул в потолок? Когда мы в карцере сидели? Когда поджечь его сумели? Когда? Когда? Когда? Когда? О бесконечные года! почтовый яшик без вестей. что с каждым утром все пустей. О время, скрученное в жгут! Рассказ мой возникает тут...

Мы все лежали у стены — бойцы неведомой войны, — и были ружья всей страны на нас тогда наведены. Обратно реки не текут, Два раза люди не живут. Но суд бывает сотни раз! Про этот справедливый суд и начинаю я сейчас. Печален будет мой рассказ. Два раза люди не живут...

1940 rog

#### МАРИЯ РИЛЬКЕ

Выхожу я один из барака, Светит месяц, желтый, как собака, И стоит меж фонарей и звезд Башня белая— дежурный пост. В небе — адмиральская минута, И ко мне из тверди огневой Выплывает, улыбаясь смутно, Мой товарищ, давний спутник мой! Он — профессор города Берлина, Водовоз, бездарный дровосек, Странноватый, слеповатый, длинный, Очень мне понятный человек. В нем таится, будто бы в копилке, Все, что мир увидел на веку. И читает он Марии Рильке Инеем поросшую строку. Поднимая палец свой зеленый, Заскорузлый, в горе и нужде, «Und Eone redet mit Eone» \* — Говорит Полярной он звезде. Что могу товарищу ответить? Я, делящий с ним огонь и тьму? Мне ведь тоже светят звезды эти Из стихов, неведомых ему. Там, где нет ни времени предела, Ни существований, ни смертей, Мертвых звезд рассеянное тело. Вот итог судьбы твоей, моей: Светлая, широкая дорога — Путь, который каждому открыт. Что ж мы ждем?

Пустыня внемлет Богу,  $\mbox{ } \mbox{ И звезда } \mbox{ с звездою говорит. }$ 

## мыши

Нет, не боюсь я смертного греха, Глухих раскатов львиного рычанья: Жизнь для меня отыщет оправданье И в прозе дней, и музыке стиха. Готов вступить я с ним в единоборство, Хлыстом смирить его рычащий гнев — Да переменит укрощенный лев Звериный нрав

на песье непокорство!

<sup>\* «</sup>И Мир говорит с Миром» (нем.).

В иных грехах такая красота, Что человек от них светлей и выше. Но как пройти мне в райские врата, Когда меня одолевают мыши? Проступочков ничтожные штришки: Там я смолчал,

там каркнул, как ворона. И лезут в окна старые грешки, Лихие мыши жадного Гаттона, Не продавал я, не искал рабов, Но мелок был, но надевал личины... И нет уж мне спасенья от зубов, От лапочек,

от мордочек мышиных...

О нет,

не львы меня в пустыне рвут: Я смерть приму с безумием веселым. Мне нестерпим мышиный этот зуд И ласковых гаденышей уколы! Раз я не стою милости твоей, Рази и бей! Не подниму я взора; Но, Боже мой,

казня распятьем вора, Зачем к кресту ты допустил мышей?!

# УБИТ ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГСТВУ

Мой дорогой, с чего ты так сияешь? Путь ложных солнц —

совсем не легкий путь! А мне уже неделю не заснуть: Заснешь—

и вновь по снегу зашагаешь, Опять услышишь ветра сиплый вой, Скрип сапогов по снегу, рев конвоя: «Ложись!» — и над соседней головой Взметнется вдруг

легчайшее сквозное, Мгновенное сиянье снеговое— Неуловимо тонкий острый свет: Шел человек— и человека нет!

Солдату дарят белые часы И отпуск в две недели. Две недели Он человек! О нем забудут псы, Таежный сумрак, хриплые метели. Лети к своей невесте, кавалер! Дави фасон, показывай породу! Ты жил в тайге,

ты спирт глушил без мер, Служил Вождю и бил врагов народа. Тебя целуют девки горячо, Ты первый парень—

что ж тебе еще?

Так две недели протекли, и вот Он шумно возвращается обратно. Стреляет белок, служит, водку пьет! Ни с чем не спорит —

все ему понятно.

Но как-то утром, сонно, не спеша, Не омрачась, не запирая двери, Берет он браунинг.

Милая душа,

Как ты сильна

под рыжей шкурой зверя! В ночной тайге кайлим мы мерзлоту, И часовой растерянно и прямо Глядит на неживую простоту, На пустоту и холод этой ямы. Ему умом еще не все обнять, Но смерть

над ним крыло уже простерла. «Стреляй! Стреляй!»

В кого ж теперь стрелять?

«Из горла кровь!»

Да чье же это горло? А что, когда положат на весы Всех тех, кто не дожили, не допели? В тайге ходили, черный камень ели И с хрипом задыхались, как часы. А что, когда положат на весы Орлиный взор, геройские усы И звезды на фельдмаршальской шинели? Усы, усы, вы что-то проглядели, Вы что-то недопоняли, усы!

И молча на меня глядит солдат, Своей солдатской участи не рад. И в яму он внимательно глядит, Но яма ничего не говорит. Она лишь усмехается и ждет Того, кто обязательно придет.

1949 rog

## СОЛДАТ — ЗАКЛЮЧЕННОЙ

Много ль девочке нужно? Не много! Постоять, погрустить у порога, Посмотреть, как на западе ало Раскрываются ветки коралла. Как под небом холодным и чистым Снег горит золотым аметистом — И довольно моей парижанке, Нумерованной каторжанке. Были яркие стильные туфли, Износились, и краски потухли, На колымских сугробах потухли... Изувечены нежные руки, Но вот брови — как царские луки, А под ними, как будто синицы, Голубые порхают ресницы. Обернется, посмотрит с улыбкой, И покажется лагерь ошибкой, Невозможной фантазией, бредом, Что одним шизофреникам ведом... Миру ль новому, древней Голгофе ль Полюбился ты, девичий профиль? Эти руки в мозолях кровавых, Эти люди на мертвых заставах, Эти быющиеся в беспорядке Потемневшего золота прядки? Но на башне высокой тоскуя, Отрекаясь, любя и губя, Каждый вечер я песню такую Как молитву твержу про себя: «Вечера здесь полны и богаты, Облака, как фазаны, горят. На готических башнях солдаты

Превращаются тоже в закат. Подожди, он остынет от блеска, Станет ближе, доступней, ясней Этот мир молодых перелесков Возле тихого царства теней! Все, чем мир молодой и богатый Окружил человека, любя, По старинному долгу солдата Я обязан хранить от тебя. Ох ты, время, проклятое время,  $\Delta$ еревянный бревенчатый ад! Скоро ль ногу поставлю я в стремя, Я повешу на грудь автомат? Покоряясь иному закону, Засвищу, закачаюсь в строю... Не забыть мне проклятую зону, Эту мертвую память твою; Эти смертью пропахшие годы, Эту башню у белых ворот, Где с улыбкой глядит на разводы Поджидающий вас пулемет. Кровь и снег.

И на сбившемся снеге Труп, согнувшийся в колесо. Это кто-то убит «при побеге», Это просто убили — и всё! Это дали работу лопатам, И лопатой простились с одним. Это я своим долгом проклятым Дотянулся к страданьям твоим. Не с того ли моря беспокойны, Обгорелая бредит земля, Начинаются глупые войны, И ругаются три короля. И столетья уносит в воронку. И величья проходят, как сны, Что обидели люди девчонку, И не будут они прощены! Только я, став слепым и горбатым, Отпущу всем уродством своим — Тех, кто молча стоит с автоматом Над поруганным детством твоим».

# ОЛЬГА АДАМОВА-СЛИОЗБЕРГ

ОЛЬГА ЛЬВОВНА АДАМОВА-СЛИОЗБЕРГ (РОД. 1902). ЭКОНОМИСТ. ВПЕРВЫЕ АРЕСТОВАНА В 1936 ГОДУ. ДО 1944 ГОДА ОТБЫВАЛА СРОК НА СОЛОВКАХ, В КАЗАНСКОЙ И СУЗДАЛЬСКОЙ ТЮРЬМАХ, НА КОЛЫМЕ. С 1949 ПО 1954 ГОД НАХОДИЛАСЬ В ССЫЛКЕ (ВЕЧНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) В КАРАГАНДЕ. КАК ПОЭТ В ПЕЧАТИ НЕ ВЫСТУПАЛА

#### КНИГИ

Когда ночами мучима тоской, Ища напрасно отдых и покой, В пережитом ответа я искала: Что жизнь мою и гибель оправдало? Когда я видела, что целый свет Враждебен мне, что мне опоры нет, Чтоб смертную тоску от сердца отогнать, Я принималася в уме перебирать Стихи любимые. Сквозь тьму веков, сквозь дали,

Сердца родные сердцу вести слали, И отзывалися слова в душе унылой, Как ласка друга, трепетною силой. В реке поэзии омывшися душой, Я снова силу в жизни находила: У Пушкина гармонии училась, У Кюхельбекера — высокой и прямой Гражданской доблести, любви к искусству И чистой дружбы сладостному чувству. Веселой радости в безжалостном бою, Бездонной нежности и мужеству терпенья Училась у насмешливого Гейне, Свободе жизнь отдавшего свою. И Лермонтов, могучий, мрачный гений,

Мне раскрывал весь мир своих мучений. И вас, учителя людей, я вспоминала, Ромен Роллан и Франс, Тургенев и Толстой, В мир ваших мыслей погружась душой, Я горькую печаль свою позабывала. И с человечеством вновь через вас родня, Гнала ночной кошмар и шла навстречу дня.

1936 год. Бутырская тюрьма

# мы идем из бани

Мы шли понуро, медленно, без слов. Серели в сумерках цепочкой силуэты. А на небе малиновым рассветом Окрашивались стайки облаков.

Еще молчали сонные дома, Был воздух тих и сказочно прозрачен... Но безнадежно каменно и мрачно Смотрела Соловецкая тюрьма.

И прежде чем войти в окованную дверь, Мы все взглянули в радостное небо... Да, жизнь — непонятый и нерешенный ребус, Цепь горестных ошибок и потерь.

1937 год. Соловки

# 7 НОЯБРЯ 1937 ГОДА

Седьмое ноября. Чугунная решетка На небе голубом обрисовалась четко... Я в этот день с тобой, моя страна! Я в этот день с тобой; пока душа полна Любовью, нежностью, тревогой за тебя — Я не одна. И в этот день из тьмы, со дна Мысль первая и первое желанье — Тебе цвести в красе и ликованье. Вторая мысль — о вас, любимые мои, Простите мне отравленные дни.

Вам я желаю силы и терпенья И гордого и мудрого смиренья... А для себя — свободы и покоя. Идти бескрайнею дорогой полевою Под небом синим, солнцем золотым, В ночной туман, передрассветный дым... Быть снова дочерью страны родной своей, В труде и радости быть вместе с ней. И может быть, хотя в конце пути Тебя, мой бедный, дальний друг, найти.

Соловки

#### ЗАВИСТЬ

Они летят. Они летят на юг. А я осталась, подстреленная птица, на земле.

Я вижу молодость свою В застывшей мгле. На синем юге, на далеком юге Купаются в живительном огне Мои крылатые подруги.

Какой холодный снег...

1939 год. Колыма

# ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

ЕЛЕНА ЛЬВОВНА ВЛАДИМИРОВА (1902—1962). ЖУРНАЛИСТКА. АРЕСТОВАНА В 1937 ГОДУ. ДО 1955 ГОДА ОТБЫВАЛА СРОК НА КОЛЫМЕ. В 1944 ГОДУ ЗА УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ ИЗ ПАРТИЙЦЕВ И КОМСОМОЛЬЦЕВ, СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАМИНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА, КРИТИКУЮЩЕГО СТАЛИНСКУЮ ПОЛИТИКУ С ПОЗИЦИЙ ЛЕНИНИЗМА, И ПИСАНИЕ СТИХОВ БЫЛА ПРИГОВОРЕНА К РАССТРЕЛУ, ЗАМЕНЕННОМУ ДВАДЦАТЬЮ ПЯТЬЮ ГОДАМИ КАТОРЖНЫХ РАБОТ

Мы шли этапом. И не раз, колонне крикнув: «Стой!», садиться наземь, в снег и в грязь, приказывал конвой. И, равнодушны и немы, как бессловесный скот, на корточках сидели мы до выкрика: «Вперед!» Что пересылок нам пройти пришлось за этот срок! А люди новые в пути вливались в наш поток. И раз случился среди нас, пригнувшихся опять, один, кто выслушал приказ и продолжал стоять. И хоть он тоже знал устав, в пути зачтенный нам, стоял он, будто не слыхав, все так же прост и прям. Спокоен, прям и очень прост, среди склоненных всех, стоял мужчина в полный рост, над нами глядя вверх.

Минуя нижние ряды, конвойный взял прицел. «Садись! — он крикнул.— Слышишь, ты!

Садись!» — Но тот не сел. Так было тихо, что слыхать могли мы сердца ход. И вдруг конвойный крикнул: «Встать! Колонна, марш вперед». И мы опять месили грязь. Не ведая куда, кто с облегчением смеясь, кто бледный от стыда. По лагерям — куда кого нас растолкали врозь, и даже имени его узнать мне не пришлось. Но мне, высокий и прямой, запомнился навек над нашей согнутой спиной стояший человек.

#### КОЛЫМА

Отрывки из поэмы

1

...Матвей работал с жаром, все же Уже брала привычка верх Над прежней страстью. Зная всех И знаем всеми, не тревожим Стремленьем вечным проверять Как будто ясные вопросы, Считая честью доверять Уму и чести руководства. Участком ведая своим, Он стал хозяином отменным, В работе жестким и крутым, Себе отлично знавшим цену И утвердившимся на том, Что всё решилось Октябрем, И всем судимым в те года Не находил он оправданий,

Он верил честности суда И правде личных показаний. Уже работал он в райкоме, Уже известен был в ЦеКа, Уже росли в уральском доме Два белокурых паренька. ...И вдруг его

арестовали...

Как зверь в капкане, разъярен, Метался он в своем подвале, Как ни стучал о двери он, Его наверх не вызывали. Семнадцать дней он волен был Решать по-своему задачу, Зачем в тюрьму он угодил, Что этот подлый арест значит?! На восемнадцатый ему Сказали: он попал в тюрьму За то, что был врагом народа, Что дерзкий заговор открыт И что народ его казнит Лишеньем права и свободы. Еще при аресте с него Сорвали орден, распоясан, Небрит, он страшен был бы глазу, Недавно знавшему его. Но лейтенант, что вел допрос, Такую мелочь перерос, В лицо Матвею он кричал, Что тот предатель и изменник. Матвей сперва захохотал, Потом вспылил. На оскорбленье Он оскорбленьем отвечал... Тогда его для охлажденья Нашли удобным запереть В дыру, где лечь или сидеть Не мог он... было слишком тесно. Стоял он... сколько — неизвестно... Потом был вызван в кабинет, И дальше все пошло, как бред... Его семь суток не спускали В тюрьму, семь суток он не спал... Уже и силы изменяли...

Однако гнев не изменял. В последнем проблеске сознанья Он силу все-таки нашел Порвать позорный протокол. Его избили в наказанье И, чтоб «морально повлиять», Не стали больше вызывать.

...Хотя Матвей был очень занят Своею собственной бедой, Он видел все ж перед глазами Беду еще покруче той. Когда бы был он исключеньем, Воюя из последних сил, Он горе легче бы сносил. Но непонятное крушенье Волною яростной своей Смывало тысячи людей. Вокруг него в подвалах камер Ютилась, с каждым днем тесней, Толпа испуганных людей, Как он, объявленных врагами. Оглушены, потрясены, Не веря чувствам, слуху, зренью, Открыв с глубоким изумленьем Кулисы собственной страны. Познавши опытом тяжелым, Что их не судят, а хотят Их подписей под протоколом, Что больше нет пути назад. Кто под угрозой, кто под пыткой, Кто по привычке — доверять, Отчаясь что-либо понять. Они подписывали свитки Таких чудовищных злодейств, Таких кровавых преступлений. Что у неопытных людей Сжимало грудь от возмущенья. Еще надеясь временами, Что правда скрыта от ЦеКа, Матвей обходными путями Писал в Москву из-под замка. Ответа не было... Ответ Не приходил оттуда — нет.

В стране, чей строй и чей уклад Считал он в мире самым лучшим, И дни и месяцы подряд Сидел он в камере вонючей И видел то, чему бы он Не верил — если бы не видел, — Людей в несчастье и в обиде И в клочья порванный закон.

Тянулось следствие полгода, Потом в теченье трех минут Его к лишению свободы Приговорил военный суд. В скороговорке трибунала Ни слова не успев понять, Матвей был выведен из зала И заперт в камеру опять. То, чем грозило заключенье, Его не мучило совсем, Всё отступало перед тем Необъяснимым сокрушеньем Того, что было для него Важней и надобней всего.

На «пересылке» было людно. «Болезнь», косившая Урал, Как будто буйствовала всюду. Матвей угрюмо наблюдал Ее позорное явленье. Этап был новою ступенью В его открытиях, когда, Овчарок вызвав на подмогу, Людей готовили в дорогу. Немой от гнева и стыда, Он видел, как конвой этапа Людей, раздевши догола, В бесцеремонных грубых лапах Вертел их хилые тела... Как в эшелонах по два дня Людей держали без питья,

Кормя их рыбою соленой. Видал калек на костылях И женщин, запертых в вагонах С детьми грудными на руках. Он помнил жесткие законы Открытых классовых боев, Но этот тайный мир был нов. Враги?! Но разве их мильоны Опасных Родине врагов?! Хорош бы был народный строй, Такой отмеченный любовью, Такой всеобщею враждой Всех поколений и сословий! А если это не враги? Каков же строй, где миллионы Людей, невинно осужденных, Добиться правды не могли?! Кто был тот грозный

провокатор,

Чья провокация могла
Желать подобных результатов,
Творить подобные дела?!
Тюремным опытом богатый,
Он факты строго отбирал
И с каждым днем все больше знал.
Как мало видел он когда-то,
Как всесоюзная печать
Умела правду замолчать.
Короче... он до Магадана
Познал немало новых чувств,
Но впереди был пятый курс —
Таежный рудник

«Безымянный».

2

...Ему не спалось... Почему? Быть может, был он чем-то болен, Быть может, он мечтал о воле, И воля грезилась ему? Быть может, думал он с тоскою О близких, брошенных вдали, Иль видел смерть перед собою

В снегах чужой ему земли? Но не о том, не о себе, Не об утраченной свободе, Он думал о другой судьбе. Он думал о своем народе. Один из тех прямых людей, Кого касалось все на свете, По долгу совести своей Он должен был сейчас ответить, Не уклонясь ни от чего, Приняв недоброе наследье, За все, что было круг его, Что допустил он, не заметив. Он отвечал за ложь, за зло, Искал дорогу в одиночку, Он был один сегодня ночью, И это было тяжело. И это было горем. Да, То было настоящим горем, Страшней, чем приговор суда, Страшней, чем ледяные норы, Страшней лишений и потерь, Страшней запоров и решеток. Он аумал... Мысль была теперь Его подпольною работой. И всё, что знал и что умел, Он отдавал ей. Был далеко От грубых нар, от сонных тел, От занесенных снегом окон. И все ж сознание его Блуждало где-то за оградой, Не упускало ничего Изо всего, что было рядом. В двух вариантах, расщеплен Был мир, который видел он, Они друг друга исключали Существованием своим, И всё же каждый был реален, Вставал из мрака перед ним. И, подчиненное уму, Его раздвоенное зренье Свести старалось к одному Их враждовавшие явленья, Еще не ясные ему.

Найти стараясь нужный фокус, Чтоб наконец увидеть в нем, В житейской сложности глубокой Их синтез — правду целиком. Короче — был он погружен В немое строгое сличенье Того, что знал на воле он И что увидел в заключенье. Он знал: бумага деклараций Агала в истории не раз, Но факты? — то, что видел глаз? Что осязали наши пальцы? Но гибель класса тунеядцев? Он знал: повсюду и везде, В советских городах и селах Теперь у власти были те, Что сами знали труд и голод. Для всех открылись двери школ, Не стало больше безработных, Доходы шли в один котел, В один бюджет международный. Соха — в музее под стеклом Напоминала о былом. И, строясь в темпах небывалых, Кладя кирпич за кирпичом, Страна лицо свое меняла. Уже промышленность России Большой и новой силой стала. И прежний лапотный мужик Ко всякой технике привык. В работу, в план, в постройку, в дело Все средства были включены. Страна спешила, тень войны Над нею медленно вставала. И не была ль причина в том? Страна боялась и спешила, А людям трудно, трудно было Одолевать такой подъем. И к отстающим с каждым днем Все больше применялась сила. Сильнее побуждений всех Страх заползал в сознанье власти, Страх отставанья, несогласья, Страх неожиданных помех,

А наконец и страх народа. Отсюда поиски врагов, И выше всех его валов Волна тридцать седьмого года. Где был один полувиновный В десятке арестов уловлен, А настоящий враг успел Спастись за ширмой дюжих дел. ...А может быть, для поворотов, Каких еще не угадать, Сметал с пути могучий кто-то Тех, кто бы мог ему мешать? Таких, как он... но чем же мог, Чему бы он хотел мешать?! Какую новую дорогу Могло правительство избрать?

Кто был сегодня под замком? Все поколение Матвея, Все, кто бывал за рубежом, Кто на язык был побойчее, Специалисты всех мастей — От инженеров до врачей. Что это значило?! Кому же, И для кого, и для чего?!

Чтоб отвести глаза народу
И объяснить такой разгром,
«Герой» тридцать седьмого года —
Ежов — объявлен был врагом,
Не раньше, впрочем, чем успел он
Свою задачу довершить...
И как же партия посмела
Всё это молча допустить!
Или, чтоб стать непогрешимым,
Кой-кто надумал объявить
Изъяны все — работой мнимых
Врагов, пытавшихся вредить?!
Опять не то... не может быть...
Иль зарубежная разведка

Огромный сделала подкоп И била густо, точно, метко Своих врагов, в их доме, в лоб?! А впрочем, так или иначе, Но заключенные у тачек Народный выполняли план, И никакой не мог туман Отнять у фактов их значенье Для хитроумных объяснений. Матвей всегда был слишком прям И никаким профессорам Не разрешил бы утверждать, Что можно строить коммунизм Ценою рабства потайного И что подобная основа Создаст бесклассовую жизнь. Упрямо, молча пробирался Он меж запутанных дорог, И гнев его не распылялся, А собран был в один комок, Жил рядом с твердым убежденьем, Что все равно его народ К той жизни, что поставил ЛЕНИН, Дорогу верную найдет.

Конец 1940-х --- начало 1950-х годов

Наш круг все слабее и реже, друзья, Прощанья все чаще и чаще... За завтрашний день поручиться нельзя И даже за день настоящий.

И в эти тяжелые, страшные дни, В чреде их неверной и лживой, Так хочется верить, что мы не одни, Услышать из мрака: «Мы живы».

Мы прежним любимым знаменам верны, И даже под небом ненастья

По-прежнему меряем счастьем страны Свое отлетевшее счастье...

И пусть безнадежен мой путь и кровав, Мои не смолкают призывы. Кричу я, последние силы собрав: «Мы живы, товарищ, мы живы».

# МАРИЯ ТЕРЕНТЬЕВА

МАРИЯ КУЗЬМИНИЧНА ТЕРЕНТЬЕВА (РОД. 1906).
ПОЭТЕССА. АРЕСТОВАНА В 1937 ГОДУ
КАК ЧСИР — ЧЛЕН СЕМЬИ ИЗМЕННИКА РОДИНЫ.
ЖЕНА РЕПРЕССИРОВАННОГО ПИСАТЕЛЯ ИВАНА КАТАЕВА.
ПРИ НЕЙ В БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЕ И В ПОТЬМИНСКИХ ЛАГЕРЯХ
ПОЛТОРА ГОДА НАХОДИЛСЯ СЫН, РОДИВШИЙСЯ В 1937 ГОДУ,
КОТОРОГО ЗАТЕМ ОТДАЛИ БАБУШКЕ.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРОБЫЛА
ДО 1945 ГОДА

#### ТЮРЕМНАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Утром рано, на рассвете, Корпусной придет, На поверку встанут дети, Солнышко блеснет.

Проберется лучик тонкий За высокий щит, К заключенному ребенку Лучик добежит.

Но светлее все ж не станет Мрачное жилье... Кто вернет тебе румянец, Солнышко мое?!

За решеткой, за замками Дни словно года. Плачут дети. Даже мамы Плачут иногда,

Но выхаживают смену, Закалив сердца. Мальчик мой, но верь в измену Своего отца. Как он вынес суд неправый, Клевету, разбой? В море горя и отравы Встретится ль с тобой?

Тише, тише... Дремлют дети. Солнца луч угас. День весенний, свежий ветер Прошумят без нас.

1938 год. Часовая башня Бутырской тюрьмы

#### МАЛЕНЬКОМУ СЫНУ

Из моих доверчивых рук Слишком много жизнь отняла, Но с тобою, маленький друг, Как же я расстаться смогла?

Нам навстречу рдела заря В путевых, тревожных бросках, Я тюрьму, этап, лагеря Прошла с тобой на руках.

Темный ветер трудной поры Нас кружил с каждым днем сильней, Я согретые солнцем миры Находила в улыбке твоей.

И как храбро ты, наконец, Зашагал впервые ко мне, Так кидается в воду пловец, Вскинув руки, бежит к волне.

За забором шумы лесов, Дали синие широки, Нам отмеряно двести шагов Для прогулок, надежд, тоски.

За работой и за игрой На примятой, скудной траве, Обрывая ромашковый рой, Мы гадали о милой Москве. Да заладил дождь обложной, И потек барак — наш причал... Безучастный, совсем больной, Ты, как взрослый, только стонал.

Всю бы кровь свою отдала, Чтобы хрупкую жизнь удержать... Свет мигал, срывалась игла, В неумелых пальцах дрожа.

А потом иней пал вокруг. Над двором, над скопленьем бед Уносились птицы на юг, Ты смеялся, махал им вслед.

До сви-дань-я! Вольный полет В детский сон войдет тишиной: И бесправье, и долгий гнет Ты не будешь делить со мной.

До свиданья! Поезд, стучи По мостам и пространства рви, Только ты, заплакав в ночи, Больше маму свою не зови!..

Запуржило пути. Снег кружит Белым вихрем по всей стране... Брату старшему ты скажи, Что не надо скучать обо мне.

Мир молчит. Над мерзлой листвой Дней пустых сочится вода, И не знать о вас ничего, Может, месяцы, может, года...

Тот же тесный, замкнутый круг Снов обманчивых, тяжких дум, И ненужного сердца стук Заглушает машины шум.

Обступила, сдавила стена. Но настанет же день иной— Не покинет нас наша страна Даже здесь, за этой стеной. Не сдавайся, малыш, держись, Я к свободе, к счастью приду И за ручку тебя поведу В длинный путь, что зовется — Жизнь!

1939 год

## РАЗГОВОР СО ЗВЕЗДАМИ

Мир не так просторен и прост, как казалось еще вчера, но спокойствию учусь у звезд в одинокие вечера.

За барачным низким окном тени синие пролились. Я весь двор прошагаю кругом и смотрю в огромную высь.

Чуть морозит, и звезды смелей начинают со мной разговор. Жизнь моя... Что сказать о ней? Подымать ли старинный спор?

Вот в колодце с водой ледяной отразилась внезапно звезда. Так бывает теперь со мной, так надежда мелькнет иногда.

Приглушен здесь голос и взгляд. И в самой тишине— непокой, часовые на вышках стоят над бессильной нашей тоской.

И огромный серый паук ткет узор обреченных лет... Или жизнь — заколдованный круг, из которого выхода нет?

Даже зверь в неволе суров, о квадраты решетки стальной раздирает раны — и кровь отмечает след круговой.

Даже пес — он к цепи привык — часто воет ночь напролет... Как сдержать беспрестанный крик, мне изрезавший сжатый рот?

Как поверить, что надо так, чтобы честных, простых людей угоняли в холод и мрак казематов и лагерей?

Как уйти хоть на миг, на час, если мы остаемся людьми, от бездомных загнанных глаз матерей, разлученных с детьми?

Нам дается жизнь только раз, вспышка краткая считанных лет. Разве можно из жизни украсть честь и правду, тепло и свет?

Кто решит неотступный вопрос, кто ответит: зачем? За что? Что же сделалось, что стряслось с нашей Родиной, с нашей мечтой?

Угасает созвездий игра, звонче шаг по мерзлой земле. Одинокие вечера, вечера в затерянной мгле.

1939 год

### РОСЛЫЙ ПАРЕНЬ

Рослый парень, добрый парень, Ты с ружьем наперевес Тихих женщин строишь в пары На корчевку в дальний лес.

Истомленных и одетых Неприглядно, кое-как, В неуклюжих жар-жакетах, В деревянных башмаках.

По бокам, как ассистенты, Две овчарки начеку, Тропок траурные ленты На нетронутом снегу.

Вязнут ноги, наст некрепок, И в глазах от снега боль, Но кричит стрелок свирепо: «Поворачивайся, что ль!»

Снег и ветер в поле чистом, И идут, ровняя строй, Жены русских коммунистов, Как, бывало, шли на бой.

Парень русый, парень рослый! Лица женщин, окрик свой Ты, наверно, вспомнишь после, Покачаешь головой.

Но ведь служба, долг солдата, Все втолковано ему: Если взяты —

виноваты, Сталин знает, что к чему.

Кто ж из них, зачем ночами, Мирным снам наперекор, Материнскими очами Смотрит на тебя в упор?

# НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ (1903—1958). ПОЭТ. АРЕСТОВАН В 1938 ГОДУ. ДО 1944 ГОДА НАХОДИЛСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ В БАМЛАГЕ, АЛТАЙЛАГЕ, ЗАТЕМ ДО 1946 ГОДА БЫЛ В ССЫЛКЕ В КАРАГАНДЕ

### **ЛЕСНОЕ ОЗЕРО**

Опять мне блеснула, окована сном, Хрустальная чаша во мраке лесном.

Сквозь битвы деревьев и волчьи сраженья, Где пьют насекомые сок из растенья, Где буйствуют стебли и стонут цветы, Где хищная тварями правит природа, Пробрался к тебе я и замер у входа, Раздвинув руками сухие кусты.

В венце из кувшинок, в уборе осок, В сухом ожерелье растительных дудок Лежал целомудренной влаги кусок, Убежище рыб и пристанище уток. Но странно, как тихо и важно кругом! Откуда в трущобах такое величье? Зачем не беснуется полчище птичье, Но спит, убаюкано сладостным сном? Один лишь кулик на судьбу негодует И в дудку растенья бессмысленно дует.

И озеро в тихом вечернем огне Лежит в глубине, неподвижно сияя, И сосны, как свечи, стоят в вышине, Смыкаясь рядами от края до края. Бездонная чаша прозрачной воды Сияла и мыслила мыслью отдельной. Так око больного в тоске беспредельной При первом сиянье вечерней звезды, Уже не сочувствуя телу больному, Горит, устремленное к небу ночному. И толпы животных и диких зверей, Просунув сквозь елки рогатые лица, К источнику правды, к купели своей Склонялись воды животворной напиться.

1938 rog

### СОЛОВЕЙ

Уже умолкала лесная капелла, Едва открывал свое горлышко чижик. В коронке листов соловьиное тело Одно, не смолкая, над миром звенело.

Чем больше я гнал вас, коварные страсти, Тем меньше я мог насмехаться над вами. В твоей ли, пичужка ничтожная, власти Безмолвствовать в этом сияющем храме?

Косые лучи, ударяя в поверхность Прохладных листов, улетали в пространство, Чем больше тебя я испытывал, верность, Тем меньше я верил в твое постоянство.

А ты, соловей, пригвожденный к искусству, В свою Клеопатру влюбленный Антоний, Как мог ты довериться, бешеный, чувству, Как мог ты увлечься любовной погоней?

Зачем, покидая вечерние рощи, Ты сердце мое разрываешь на части? Я болен тобою, а было бы проще Расстаться с тобою, уйти от напасти.

Уж так, видно, мир этот создан, чтоб звери, Родители первых пустынных симфоний, Твои восклицанья услышав в пещере, Мычали и выли: «Антоний! Антоний!»

### ΓΔΕ-ΤΟ Β ΠΟΛΕ ΒΟЗΛΕ ΜΑΓΑΔΑΗΑ

Гле-то в поле возле Магадана, Посреди опасностей и бед, В испареньях мерзлого тумана Шли они за розвальнями вслед. От солдат, от их луженых глоток, От бандитов шайки воровской Здесь спасали только околодок Да наряды в город за мукой. Вот они и шли в своих бушлатах — Два несчастных русских старика, Вспоминая о родимых хатах И томясь о них издалека. Вся душа у них перегорела Вдалеке от близких и родных, И усталость, сгорбившая тело, В эту ночь снедала души их. Жизнь над ними в образах природы Чередою двигалась своей. Только звезды, символы свободы, Не смотрели больше на людей. Дивная мистерия вселенной Шла в театре северных светил, Но огонь ее проникновенный До людей уже не доходил. Вкруг людей посвистывала вьюга, Заметая мерзлые пеньки. И на них, не глядя друг на друга, Замерзая, сели старики. Стали кони, кончилась работа, Смертные доделались дела... Обняла их сладкая дремота, В дальний край, рыдая, повела. Не нагонит больше их охрана, Не настигнет лагерный конвой, Лишь одни созвездья Магадана Засверкают, став над головой.

# АРСЕНИЙ СТЕМПКОВСКИЙ

АРСЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ СТЕМПКОВСКИЙ (1900—1987).

ХУДОЖНИК, ПОЭТ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ. НАХОДИЛСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ
С 1940 ПО 1946 ГОД И С 1950 ПО 1954 ГОД. СРОК ОТБЫВАЛ
В СЕВДВИНЛАГЕ, АЛТАЙЛАГЕ, КАРЛАГЕ,
АДЖАРЛАГЕ, ГРУЗЛАГЕ, АНГАРСКЛАГЕ. ОСВОБОЖДЕН
КАК ПОЛНЫЙ ИНВАЛИД (САКТИРОВАН)
РЕАБИЛИТИРОВАН В 1960 ГОДУ

### Я СИЖУ

Я сижу в Таганке, Как в консервной банке, Передо мною ходит «вертухай» И кричит: «Не вертухайся».

1940 rog

### ФИЛОСОФ

В клоаке жизни погибая, Святую правду познавая, Во тьме, мученьях и дерьме Созрел, как плод, в тюрьме И выжил, мудростью сверкая, Как золото Алтая.

1940 год

#### ГНЕВ

Власть проклял я и родину свою В порыве гнева, Судьбу несчастную свою— Меня, что сотворило небо.

#### ФОН

Только с мухи и клопа Не берут налога. Тюрьмы, ссылки, лагеря— Всем у нас дорога...

1940 rog

### В ТЮРЬМЕ

Прошел я школу жизни В обездоленной отчизне, Цветет где буйный произвол, А вместе с ним и сотня зол...

1944 год

### В СЕВДВИНЛАГЕ

Строил я железный путь, Не смея ахнуть и вздохнуть, Едва, едва я на ногах держался И в доходяги затесался.

### В АЛТАЙЛАГЕ

В каком бы ни был «лаге», Везде висел на ваге. Чуть не простился с этим светом, Побыв с годочек в лазарете.

### Β ΚΑΡΛΑΓΕ

Я город строил спозарани Каменщиком в Сарани, И плотником, и штукатуром, И маляром в молчанье хмуром.

#### ПОСТРОЕН...

Построен 1-й комбинат, И черт ему не рад: Он вечно курит, ядовит, Взрывает и дымит.

1954 rog

#### ИГРУШЕЧНИК

Расцвел, как малое дитя, Игрушками в Алтае и Сарани, С детями мысленно летя На поле мирной брани.

1940 год

#### ПАМЯТЬ

Буду помнить, умирая, Про тебя, товарищ Рая, Как к искусству ты стремилась, Рисовать училась.

1940 rog

### ΑΊRΔΟΧΟΔ

С трудом работал, Тянул свой срок, Кощей и доходяга... Но все не в прок.

1940 год

### ПЕЛЛАГРОЗНИК

Заели вши его кругом, И с голодухи пухнет. Живой скелет, зовут Петром, Дотронешься— и рухнет.

### В САНГОРОДКЕ

Сменить белье
Здесь мудрено.
Парикмахера добиться —
Легче удавиться.
Ежемесячная баня —
Предел мечтанья,
А в тиши
Разводи спокойно вши.

1954 год. Ангарск

#### МЕЧТЫ

Я голоден душой и телом, Но жив еще и в общем целом Мечтаю не напрасно О жизни распрекрасной.

1944 rog

### ЭПИГРАММА

В этой эпиграмме Яду килограммы... В утешенье меда — Целая колода.

1954 год

#### О СЕБЕ

Пришел я в мир С девизом — «мир!», И творчеством я вновь дерзаю, В труде чахотку получаю, И вот за жизнь свою В смертельной схватке Положен я судьбой На две лопатки...

Лежу, прижат, но не сдаюсь, Я жить хочу! Кричу, смеюсь...

### МОЙ МАНИФЕСТ

Мой манифест Чрезвычайно прост: На земле чудесной Я случайный гость.

1944 rog

### **ЛЮБЛЮ**

Люблю я ночь со снами, Фантазий чудных замок И жизнь, построенную нами, Что вышла из обычных рамок.

# «ВРАГ НАРОДА»

«Дитя народа, где свобода? Посажен я во цвете лет... За правду я гнию со сбродом На долгих 20 лет».

1954 rog

# «ДРУГ НАРОДА»

Растратил только два мильона — И вот в когтях сурового закона... Здесь мне придется пострадать За что? За что? Что не умел я взять.

Но есть еще надежда, Что не сгниет моя одежда, Я буду дома Среди своих родных, знакомых.

1954 год. Ангарск

#### BOP

Больной или не больной, Он злостный вор, И рыщет взор его шальной. Какой позор!

#### BOP

Нигде я не теряюсь, Везде я попадаюсь, Ворую я на воле, Ворую и в неволе.

И где бы мне ни ботать, Лишь бы не работать.

### КАРТЕЖНИК

Теряет время по-пустому, Года своей бесценной жизни И вместо дела золотого Укором служит для отчизны.

### ШЕПТАЛО

Шепчет все шептало Голосом усталым: Золота немало У Ивана Сало, Тот неблагонадежен, У того потрава, Весь пустырь исхожен,

Отпуск Иванову не положен, Этот возмутителен, Этот заразителен, Этот омерзителен — Быть ведь надо бдительным.

1954 год. Ангарск

#### ОЧКОВТИРАТЕЛЬ

Басня

Ему житье, ему «лафа»,
И на душе отрадно,
И жизнь, как в сказке, хороша,
Восторженна и ладна.
Чернее черного дела
И жесткие морозы,
Но в розовых очках ему
Цветут лишь розы...

Что боль, страдания других? Чужды и непонятны. И он твердит: «Все хорошо! Все ясно и понятно!»

Кругом разлад, кругом позор... «Терпи, терпи, приятель... Воздастся в будущем вдвойне»,— Твердит очковтиратель.

Но стоит сбить ему очки, И вот других не хуже Заплачет он и заскулит В своей проклятой луже...

5 декабря 1943 года

#### ΑΠΟΦΕΟ3

Горит огонь в душе моей, Хотя на улице мороз. Пускай хоть на закате дней Придет апофеоз.

1946 rog

#### МЕЧТЫ

Хочу прожить полвека, Хоть это мало человеку, Но если проживу я дольше, То натворю— побольше!

1946 rog

### СПАСИБО СУДЬБЕ

Я человек — не рыба, За то судьбе спасибо. И чудеса на воле Творил я и в неволе.

# ЖАДНОСТЬ

Объять все необъятное И жить, куда там век, Понять все непонятное — Ведь я на то и человек.

1946 rog

### ОСВОБОЖДЕНИЕ

Увидел в августе шестом Я луч освобожденья. Зовет надежда в сумраке густом К эпохе Возрожденья.

### к рождению

Живу почти полвека, А счастья нет. Что нужно человеку, Того как раз и нет.

24 декабря 1946 года

### БАЛХАШ

Здравствуй, здравствуй, наш Необъятный Балхаш!

1946 rog

### НОЧЬ В БАТУМСКОЙ ТЮРЬМЕ

Палачи в тюрьме пытают, И стоит истошный крик. Там наручники сверкают, Искажая лик...

Это ночь в тюрьме настала, Жутью отдается...
Сумасшедшего октава Громко раздается.
Кто-то плачет, кто-то стонет, Дико засмеется,
Кто скрежещет, кто-то тонет,
Матом вдруг ругнется.

1949 rog

#### В ГРУЗИИ

Я в Грузии бывал, Прекрасное видал, Купался в Черном море, Но в сердце — горы горя.

### Я В АДУ РОДИЛСЯ

Я в аду родился, Я в аду издох... За культуру бился И занемог...

Для чего родился? Для чего я жил? Толку не добился И навек остыл...

Жизнь кругом загадка, Жизнь кругом вопрос, В чем ее отгадка, В чем ее запрос?

Я в аду родился, Я в аду издох, Кровью обагрился Мой последний вздох.

1953 rog

### **ИРОНИЯ**

Вот судьбы ирония: В стране Лимонии Нет благовония И хаос у закония.

1954 rog

### вождю

Народными устами, Что звонче всякой стали, Тебя мы величаем: Живи, живи, наш Сталин!

# К 70-ЛЕТИЮ И. В. СТАЛИНА

Наше горе Родилось в Гори.

1949 rog

### СТАЛИН

Залез неправедно на трон Кровавейший Нерон И тем прославился, Что с народом как мясник Расправился.

\* \* \*

1954 год

Времена теперь меняются, Времена теперь не те, Зэки выпускаются— Конец темноте.

# АЛЕКСАНДР ЧИЖЕВСКИЙ

АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ ЧИЖЕВСКИЙ (1897—1964). УЧЕНЫЙ-ЭНЦИКЛОПЕДИСТ, ПОЭТ, ХУДОЖНИК. АРЕСТОВАН В 1942 ГОДУ, НАХОДИЛСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ В 1942—1950 ГОДАХ — ЧЕЛЯБИНСКАЯ ТЮРЬМА ИВДЕЛЬ, ШАРАШКА В КУЧИНЕ, КАРЛАГЕ,

ЗАТЕМ ДО 1958 ГОДА В ССЫЛКЕ В КАРАГАНДЕ.
АВТОР ДВУХ СБОРНИКОВ, ИЗДАННЫХ В 1910-е ГОДЫ,
ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ «СТИХОТВОРЕНИЙ» —
МОСКВА, СОВРЕМЕННИК, 1987 ГОД.
В НАСТОЯЩЕЙ ПОДБОРКЕ ЧАСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

В НАСТОЯЩЕЙ ПОДБОРКЕ ЧАСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ А. Л. ЧИЖЕВСКОГО ПЕЧАТАЕТСЯ ВПЕРВЫЕ ПО МАТЕРИАЛАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В 1970-е ГОДЫ ОТ ВДОВЫ ПОЭТА Н. В. ЧИЖЕВСКОЙ

Что человеку гибель мирозданья— Пусть меркнет неба звездная порфира: Страшитесь же иного угасанья: Мрак разума ужасней мрака мира!

1942 год. Челябинск

В смятенье мы, а истина — ясна, Проста, прекрасна, как лазури неба: Что нужно человеку? — Тишина, Любовь, сочувствие и корка клеба.

1942 год. Челябинск

# СЕНТЯБРЬСКИЙ ДЕНЬ

Поет под дугой колокольчик, Поет он о доле людской, Поет — и за сердце хватает Осеннею терпкой тоской.

На небе всё тучи да тучи, В безлюдье буреют поля, И дремлет покорно и молча Усталая матерь-земля.

И пыль — только пыль вековая Подолгу висит над глухой Исхоженной, древней дорогой Своей пеленою седой.

Холодные синие дали, Унылая голь деревень, И плачет... О чем же он плачет, Озябший сентябрьский день?

Близка мне твоя обреченность, И сладок мне горький твой хлеб... О Русь, мы разделим по-братски Превратности темных судеб.

1914, 1943 годы. Челябинск

### ПРИМИРЕНИЕ

Катись, катись, родимая телега, По древней, по проселочной дороге. С небес следит мерцающая Вега, А мысли тонут в бесконечном Боге.

И вдруг душа, озлобясь, негодует На этот мир... Но, исходя в томленье, Вновь остывает... Свежий ветер дует Навстречу мне! О, сладко примиренье!

1917, 1943 годы

### ГЕМОНИИ

Один лишь Рим создать мог эту мерзость — Упадка Рим, Рим — цезарей, Рим — зверств. Уже тогда над темной его славой Сгущалась ночи стынущая мгла,

И день своей истории продлить Ему уже никак не удавалось. Ни Тацит, ни Виргилий, ни Гораций, Ни Юлий Цезарь, ни Октавиан — Ничем бесславное паденье Рима Предотвратить, увы, уж не могли: Величие оканчивалось там, Где черствость сердца начиналась... Где безрассудство попрекало ум, Где разум уступал невеждам власть, Где беззаконие вошло в закон. Где ж были вы, великие умы? Гемонии! Широкие колодцы Со стенами отвесными, прямыми, Вверх выбраться нельзя: уж таковы Песчаником обложенные стены! За городом, в пустующих местах, Как злое преисподней проявленье, Они зияют нестерпимым смрадом, И этот смрад удушливым потоком Пустынную окрестность заливает. Взгляните вниз — печальные останки: Скелеты, черепа, грудные клетки, Берцовые и бедренные кости, Тазы, наполненные черной слизью, Иссохшие чернеющие трупы, И трупы в рваных, выцветших одеждах, С лохмотьями и лоскутами мяса, И мертвецы, распухшие, как бочки. Вот — черный саван; золото волос Горит на нем в луче звенящем Солнца, Проникшем в полдень в сумрачную яму: Льняные волосы так золотятся, Как бы живущему принадлежат. А вот и труп собаки желтой масти: Полакомиться прыгнула сюда, А выбраться никак уж не могла И сдохла, разделив судьбу людскую,— Бок о бок с человеком — его друг. Но что-то шевельнулось в глубине... Рука приподнялась и опустилась... Он жив, он жив — преступник молодой: За оскорбление сюда заброшен Его величества — тирана Рима.

Десятый день без пищи и воды Средь страшных мертвецов сосуществует, В парах невыносимо сладких тлена, Порою смотрит в голубое небо И явь свою, как сон, воспоминает. А ночью звезды тонкими лучами Глядят не наглядятся на могилы Живых существ, и падает порой Горючая слеза из глубины Сочувствующей немощной вселенной... Но ни одна горючая слеза Еще с небес на землю не упала, И ни одна небесная звезда Не покарала палача-владыку И не сожгла мучителя-тирана. А много, много уж тысячелетий, Как люди все о чуде помышляют И в небо смотрят с радостной надеждой. Но тщетны все надежды человека!..

1943 год. Челябинск

### ПАРФЕНОН

Нетленный образец предельной красоты, Твой камень порыжел; местами — сер и черен, Твой мрамор выщерблен... О, как он был упорен Напору времени, тоски и темноты.

О, пусть на твой карниз теперь садятся птицы И гнезда сотворят меж трещин вековых, Пусть козы ищут трав средь плит — камней твоих, И ветер у колонн в томлении кружится.

Лишь морю, что вблизи в лазурной зыби спит, Всё в солнечных огнях, как то бывало ране, Еще сродни твой дух — великое дыханье, Сверкающий твой свет, твой мрамор и гранит.

14 января 1943 года. Челябинск

### живопись

Я с детства полюбил искусство живописца, Но не того, кто трудится над человеком, Стремясь изобразить гармонию ума В челе высоком, в ясном, светлом взоре, В морщине меж бровей, глубокой и прямой; Иль ум мятущийся, взрываемый страстями, То постановкой глаз, то дрожью крыльев носа, То складками у губ, порочных или злых; Или презрительное око властолюбца — Холодностью зрачков, надменных и слепых, Иль горделивой постановкой торса... Нет, не влекут меня ни люди, ни толпа, Ни техники высокой проявленье В картинах битв, походов, разрушений! Природу без людей люблю на полотне, Природу чистую, не попранную нами, Без человека даже, Бог с ним, с человеком! Как хороши весной родимые поля: По небу синему гуляют облака То в ясном серебре, то в розовой одежде, В межах и бороздах веселая вода Небесную прогулку отражает; Кой-где синеет снег — весенний рыхлый снег, Укрывшийся тайком в тени амбаров, риг. В канавах, рытвинах. А черная земля — в лиловой кисее, Вся в комьях, влажная, и изредка уже Видны на ней зеленые побеги. Как радостно увидеть где-нибудь поодаль Ярко-зеленую полоску — То всходят озими, — иль натолкнуться вдруг Средь буро-фиолетовых полей На первые весенние цветы: На синюю прорезку, на подснежник, На бледно-синий гиацинт, фиалку Иль группу разноцветных анемонов, Лиловых, белых, желтых... Люблю полей широких вереницы С хлебами зрелыми: пшеница, рожь, ячмень — Всё в яркой желтизне, как в новой позолоте, Когда гуляет по просторам теплый ветер, Колеблются, колышутся хлеба,

Нестройными рядами растекаясь По безграничному пространству земли русской. В полях и на лугах, среди зеленых трав, Как хороши цветы в своем беспечном хоре С великолепной разновидностью окрасок: Ромашка, колокольчик, василек, Собранье ирисов, там — разноцветка, мальва, Столетник, львиный зев, чертополох — Синеют, розовеют, золотятся. Сюда, художник, — вот твоя палитра... А осенью поля совсем преобразятся — В темно-коричневый оденутся наряд. В межах и бороздах иная уж вода, Осенняя вода, -- на вялом солнце блещет Иль отражает серые, безжизненные тучи, Бегущие по бледному, болезненному небу. Но милы мне в погожий день осенние поля! Я цвет люблю увядшего жнивья И скошенной травы на заливных лугах: Осенние и редкие цветы еще сияют Уже поблекшими, но нежными тонами: Ромашка желтая, бессмертник, астры, вереск, Полынь, козлобородка, горечавка, Белеет здесь дурман, там розовеет мята — Сиреневые, красные и желтые оттенки — И по сырым местам синеют незабудки. Посмотришь вдаль — и дали так прекрасны — Влекущие загадочные дали, С тончайшей дымкой светлого тумана. Приблизишься — и видишь, как туман Колышется, плывет меж золота берез, Багряных листьев клена иль калины, Осины трепетной иль дуба С еще темно-зелеными листами Иль сизой жимолости. Осенняя пора — ярчайшая палитра! Здесь сурик иль кармин, краплак, осенний цвет, Зеленая земля и охра золотая, А горизонт — в живом поль-веронезе, жидком тоне.

А выше там — ультрамарин, индиго, тон глубокий. Прозрачно небо, ясно, далеко от человека. Когда же свежий снег ковром пушистым, белым Покроет все вокруг — и дали, и поля,

И с неба спустится свинцово-синий полог, Волнующие краски пропадут И мертвое наступит безразличье,— Я в лес иду природу наблюдать. Здесь даже в серый день торжественно звучат Усыпанные звездами алмазов Серебряные ризы елей, сосен, С темно-зеленой бархатной подкладкой. Сквозит еще последняя листва --Коричневое золото и медь, Зелено-желтая яшма, Лиловый аметист, Рубиновые отблески осин Иль ярко-алые кусты кровавой свидены, На белоснежном поле, с синевой в тенях. Спокойствие и благодать вокруг! Но, если солнце вдруг, сквозь тучи и метели, Свой завоюет день и на лазурном небе, Как в собственном дворце, по-царски водворится, Лес превратится в сказочный чертог, Святилище снегов, льда, инея, мороза, И с этой ослепительной картиной Уж кисть художника не может совладать. Все блещет, все сверкает, все горит — Искусство здесь бессильно! Тут краски самых лучших фабрик И драгоценнейшее полотно Художнику помочь не могут! Но кисть свою, художник, не бросай! Пусть трудности тебя не остановят И школою хорошею послужат Для всех других твоих преодолений.

12 февраля 1943 года. Челябинск

Мастабы, пирамиды и гробницы К нам донесли от сгинувших эпох Египетских поэтов небылицы — Любовных радостей блаженный вздох.

При мумиях — древнейшие границы Поэзии, и из заветных крох Мы бережно слагаем вереницы Сердечных человеческих тревог.

Так в мир иной стремились египтяне Унесть любви неповторимый дар И запасались в смертный путь заране Стихом любви — врачом всех бед и кар.

Осирис рек: придет жених к невесте! Любовь и смерть отныне слиты вместе.

17—20 февраля 1943 года. Челябинск

### БЕСКОНЕЧНОСТИ

Даны нам бесконечности на небе: Пространство внеземное бесконечно, И звезд числа вовек не перечесть. А на земном пределе беспредельны: Пучиной вод — моря и океаны, Песком зыбучим — жгучие пустыни И жгучей скорбью — сердце человека.

18 февраля 1943 года. Челябинск

# ПИРАМИДЫ

Хеопс, Хефрен и Микерин — Три величайших пирамиды, В надземном строе, как один, Стоят Осирисы — Исиды.

О, славься двойственный союз, Поднявший властными руками На высь невероятный груз И мысли воплотивший в камень.

Безвестный, черный труд рабов, Тиски безжалостных законов, Не средоточие гробов Великолепных фараонов,—

И не позором в мир глядят Неимоверные махины, И не цари в камнях царят, О, каменные властелины!

А в форме мысль оснащена, Чтоб вышли наконец из нор мы: Здесь тайна светится до дна — Геометрические формы!

Ориентируя к звезде Математические сваи, Как много понимали те, Кого мы мало понимаем!

Еще столетия пройдут, Пока Осирисы — Исиды Нам в руки мудрость отдадут Всех элементов пирамиды.

24 февраля 1943 года. Челябинск

### БЕОТИЙСКИЕ КЛЮЧИ

В Беотии бьют два ключа священных. Один — ключ памяти. Глотка́ довольно, Чтоб вспомнить все — и доброе, и злое — И к прошлому вернуться в тот же миг. Другой — забвенья ключ. Единой капли Достаточно, чтоб мир забыть безмерный, И, просветлев, душой переродиться. Священные ключи! О, если б можно Струей воспоминанья и забвенья На жизнь свою с избытком запастись, И новый день по-новому построить, И жить добром, не памятуя зла.

4—5 марта 1943 года

### ГИМН СОЛНЦУ

Египетский памятник XV века до н. э.

Tive again page a mark a Amark persuan paran

| чудесен восход твои, о жтон, владыка веков               |
|--|
| вечносущий!  |
| Ты — светел, могуч, лучезарен, в любви бесконечно        |
| велик,   |
| Ты — бог, сам себя пожелавший; ты — бог, сам себя        |
| создающий,   |
| Ты — бог, все собой породивший; ты — все оживил,         |
| все проник.  |
| Ты создал прекрасную Землю для жизни по собственной воле |
| И всю населил существами: на крыльях, ногах,             |
| плавниках;   |
| Из праха поднял ты деревья; хлеба ты размножил           |
| на поле  |
| И каждому дал свое место — дал пищу, покой, свет         |
| и мрак.  |

Ты создал над всем Человека и им заселил свои страны; В числе их Египет великий; границы провел ты всему; Все славит тебя, все ликует, и в храмах твоих музыканты Высокие гимны слагают — живому творцу своему.

Приносят державному жертвы — угодные жертвы земные, Ликуя и славя, о Атон, твой чистый и ясный восход; Лучей золотых, живоносных не знают светила иные: Лик Солнца единобессмертный все движет вперед и вперед.

Я — сын твой родимый, о Атон, взносящий священное имя До крайних высот мирозданья, где в песнях ты вечно воспет; Даруй же мне силы, о Атон, с твоими сынами благими Дорогой единой стремиться в твой вечноликующий свет.

11 марта 1943 года. Челябинск

### ПИРР

Тебя влекли великие мечтанья О несравненной родине своей, Заложником, скитальцем ли изгнанья, Царем эпирским — ты был верен ей.

И при дворе роскошном Птоломея, В Александрии, средь наук и муз, Одну мечту растил ты, и лелеял, И нес ее, как вожделенный груз.

В родных горах, под дубами Додоны, У Ахеронта тайномудрых вод Ты видел сны: победные знамена И гесперийский эллинский народ.

И охватил ты Греции пределы — От Падуса по синеводый Нил,— И италийские водоразделы В своих мечтах в одно соединил.

Ты мнил закончить Александра планы И взять над целым миром перевес, В единое слить варварские страны И влить туда всеэллинский прогресс.

Действительность убила не жалея Твои прекрасносозданные сны — С трудом тебе досталась Гераклея, Не помогли при Аскуле слоны.

И, сломленный в бою при Беневенте, Как Одиссей, ты Левкофеи ждал, Что вынесет в счастливейшем моменте Из моря бед — тебе покорный вал.

Еще огнем щиты твои сверкали, И вымпел бдил на царском корабле, Судьба разбила помыслов скрижали, Векам их сдав в язвительной хуле.

Но предвосхитил ты непостижимо Незыблемый истории закон:

Не эллины легли в подножье Рима, А Рим был эллинизмом покорен.

3 апреля 1943 года. Челябинск

#### ГЕТЕ

История, не думая, тебе простит: Пороки, слабости, ошибки, заблужденья За сверхвеличие бессмертных дел твоих. Но лишь двух слов простить не сможет—

не простит:

Кровавых слов, начертанных, как осужденье, Тобой на смертном приговоре: «Auch ich» \*.

11 апреля 1943 года. Челябинск

Все приму от этой жизни страшной — Все насилья, муки, скорби, зло, День сегодняшний, как день вчерашний,— Скоротечной жизни помело.

Одного лишь принимать не стану: За решеткою темницы— тьму, И пока дышать не перестану Не приму неволи— не приму.

12 апреля 1943 года

### СТИХИЯ ТЬМЫ

Течет таинственно живущего вода Из вечной темноты в Земли ночное устье. Свет — мимолетный миг, а вечность — темнота, И в этой темноте томящее предчувствье.

<sup>\*</sup> Я согласен (нем.).

Там Солнце черное на черных небесах Свой испускает свет, невидимый и черный, И в черной пустоте на черных же лучах Летит в пространство весть о мощи необорной.

Там реки черные медлительно текут, Меж черных берегов волнуются и плещут, И зыби черные по лону вод бегут И блики черные в невидимое мещут.

И мы все бродим там — мы те же и не те, Как бродят призраки, видения, фантомы; О, двойственная жизнь — очами в светлоте, А умозрением — во мраке незнакомом.

Тьма, тьма везде! Эреб! Зияющая тьма! Круженье черных звезд и черных электронов. В фантасмагории — безумие ума, Но в том безумии — неистовство законов.

26 апреля 1943 года. Челябинск

# ПЛИНИЙ СТАРШИЙ

Г. Н. Перлатову

Ты скипетр нес природы изученья И созерцал торжественно один, Как погибали в лаве изверженья Помпея, Геркуланум и Стабин.

Ты наблюдал за свистопляской фурий И не закрыл внимательнейших глаз, Когда в тебя ниспровергал Везувий Кипящий дождь и ядовитый газ.

Ты устоял пред бредом бездны черной, Глядел в нее, не отвратив лица: Познанья Гений — истинный ученый Был на посту до смертного конца.

16 мая 1943 года. Челябинск

Он был открыт из недр земли великой — Близ тихих вод священного Илисса — Осколок величайшего искусства, Обломок торса: две прекрасных груди; Одна прикрыта тканью легковейной, Нагая же, как яблоко, округла, Налита материнством первородным, Насыщена безмерностью любви... От времени, от солнца и дождей Обломок мрамора стал бледно-желтым, Точь-в-точь похожим на живую плоть, С чистейшим благородством линий. Как воплощенье вечной красоты. И кажется, что каменная грудь Живет живой, до краю полной жизнью: Вот-вот она поднимется сейчас, Вберет в себя благоуханный воздух, Торс дивный оживет, зашевелится, В афинянку чудесно превратясь.

18 мая 1943 roga. Челябинск

### две буквы

Над старым, позабытым уж стихом Стоят две буквы — милой девы имя, И сердцу говорят они тайком; Ее уста сливалися с моими. Давно в могиле превратились в прах И тела шелк, и синих глаз сиянье, И только лишь в одних моих стихах — В моих стихах — ее существованье Еще продлиться может краткий срок: Всему предел положен справедливый! О, этих букв я вычеркнуть не мог, Окаменев в кощунственном порыве!

19 мая 1943 года. Челябинск

\* \* \*

Как сладостно не быть — распасться в вещество, Во прах, в материю, все помыслы утратить, Все чувства потерять, и духа естество Изъять из злобных и кромсающих объятий!..

Уйти в бездумный тлен! Сокрыться от лучей Черносжигающего, черствого светила И стать ничем, в безлунной тьме ничьей, Дабы небытие всецело поглотило.

Ты был иль не был там, а сумма всё одна: Чередование восторгов и забвений На древнем кладбище, куда схоронена Всеразъедающая горечь вожделений.

25 мая 1943 года. Челябинск

#### МЕРА ЖИЗНИ

Часами я сижу за препаратом И наблюдаю жизни зарожденье: Тревожно бъется под живым субстратом Комочек мышц — о, вечное движенье.

Движенье — жизнь. Сложнейший из вопросов. Но все догадки — всуе, бесполезны. Возникло где? Во глубине хаосов? Пришло откуда? Из предвечной бездны?

Бессилен мозг перед деяньем скрытым: Завеса пала до ее предела: Здесь времена космические слиты В единый фокус — клеточное тело.

Я тон усилил до органной мощи Катодной схемой,— слышу ритмы струек: Несуществующее, а уж ропщет! Неявленное, а уж протестует!

Должно быть, жизнь — заведомая пытка — В зародыше предвидит истязанье:

В равертыванье жизненного свитка Звучит по миру жгучее страданье.

Но страшны тоны сердца, и тревога За бытие земное не случайна. Да, мера жизни — это мера Бога И вечно недоступная нам тайна.

30 мая 1943 года

### ПО ФЕОГНИДУ

### 1. Раб

Гордо главы не носить порожденному в черной неволе: Согнута шея раба, гнется затылок его. Нет, гиацинту и розе не цвесть на колючем бурьяне — Так и свободным не быть жалкому сыну рабы.

# 2. Смерть

Право, для смертного лучшая доля— совсем не рождаться, Солнца палящих лучей лучше не видеть совсем, А коль родился, скорее к блаженным Аида воротам: Сладко во гробе лежать, черной закрывшись землей.

Май 1943 года. Челябинск

# COKPAT

Загадочны судьбы закрученные путы, Темно грядущее, и правда далека: Постичь тщету, перешагнуть века И, славословя, выпить яд цикуты!

3 июня 1943 года. Челябинск

Немного любит тот, кто любит меру, Рассчитывает каждый поцелуй, Кто страсти пыл готов принять на веру, Но не коснись, не требуй, не тоскуй.

Как осторожен тот, кто мало любит, Соизмеряет ласки и слова. Пародия любви — его осудит: Он лжет любви и любит ли едва?

Любовь — вне меры: пламень вдохновенный Охватит душу и сожжет дотла. Но как измерить глубину вселенной? Но как зажечь потухшие тела?

6 июня 1943 года

Орлиный ветер веет мне навстречу, Плыву я к северу на утлом челноке. Я на пути своем спасения не встречу И не найду себе я друга вдалеке.

Там — одиночество. Там — тундры и туманы, Болота зыбкие и Солнца круглый ход, И непосильный труд, и новые курганы, И жизни неминуемый исход.

15 июня 1943 года

# **СОЗЕРЦАНИЕ**

Мне ничего не надо в мире: Я— созерцатель, я— один. Я наблюдаю, как в эфире Клубится еле зримый дым.

Будь то игра воображенья Или оптический обман Без смысла, веса, без значенья: Он мне — единственному — дан!

Пускай проходят люди мимо — Он недоступен никому: Элладе, Вавилону, Риму, Лишь — созерцанью моему.

Пускай незрящие смеются — Им этот знак непостижим: В эфире горнем дымки вьются, Богам понятные одним.

1943 год. Челябинск

Темно вокруг тебя, и страшно бытие. Благодари судьбу, а не пытай ее. Неверен солнца свет: все — бред, все — тлен: пойми! И даже черный день как дивный дар прими.

31 октября 1943 года. Ивдель

Спокойствие души — ценнейший дар Земли, Ненарушимое, возвышенно-благое,— И размышления плывут, как корабли, Из пристани ума в приволье мировое.

Там остров, среди бездн, умудренно — один Парит в неведомом для смертного цветенье. Там Истина живет, как некий властелин, В недосягаемом своем уединенье.

12 ноября 1943 года. Ивдель

### ФИВЫ НОЧЬЮ

Золотознойный день над Африкой погас. На небе засверкал Луны латунный глаз И медленно повел — осмысленно-печален — По древним письменам торжественных развалин.

Зеленотканный свет над мраком раздробив, Внедрился верткий луч во прах стовратных Фив, Расшевелил его потоками мерцаний И воссоздал ряды полупрозрачных зданий.

И лишь Атона храм на площади возник, Как жертвенник поднял свой огненный язык На недоступные, священные ступени И лижет Сириус — владыку наводнений.

12 ноября 1943 года

# ТЩЕТА

В необозримой урне мирозданья Покоится таинственное море Горючих слез, пролитых на Земле... Но тщетны все стенанья человека: Они вспорхнут, как призраки, над бездной В дымящихся, пылающих одеждах, Над морем слез взовьются высоко И, растворясь, исчезнут во вселенной. И море слез, чистейших слез людских, Бескрылый их полет не отразит.

15 ноября 1943 roga

## НЕФЕРТИТИ ТУТМОСА

Увековечен лик прекраснейшей царицы: Любовно-алчных губ пленительный изгиб, Глаза как миндали, как копий строй — ресницы... Художник обречен: взглянул он — и погиб.

Эмблема женщины! Он нес тебе искусство За красоты печаль средь рева вечных труб. Тысячелетия. Пески. Нил. Тишь. Все — пусто, Но сладострастие трепещет в бездне губ.

15 декабря 1943 года. Ивдель

## ВДОХНОВЕНИЕ

Аполлинийский ветер веет, Смятеньем страстным обдает — Душа трепещет и немеет И устремляется в полет, Неудержимый, безымянный, С невероятной быстротой,— Полет в неведомые страны, Где не бывал еще никто.

22 февраля 1944 года. Ивдель.

### **B CHAX**

#### Набросок

Меня томили сны — предвестники несчастья, Навязчивые, сумрачные сны... То опускался я по тесному проходу Во глубину какой-то преисподней, И тяжкая земля дыханье мне давила, Катилась тьма за мной, И дипли ноги к плитам, Как бы налитые свинцом, А из кромешной тьмы Мильоны жадных рук Меня ловили, удержать пытаясь. И я бежал все ниже, спотыкаясь, По плоскости покатой и неровной В глухую черноту... То подымался вверх внутри огромной башни, Залитой сплошь зелено-желтым светом, По лестнице шатающейся, скользкой. Земля проваливалась в безызмерность, С испугом я смотрел на это удаленье Сквозь узкие непрочные ступени, И больно сердце трепетало, И дух захватывало мой При взгляде в пропасть. И чудилося мне, что сверху пасть — Дракона пасть разверзнута была, И зубы лязгали, и тлел язык Багровым, но холодным светом.

Но шел я выше, выше, Неведомою силою влекомый, И страшно было обернуться, Как будто бы за мной неподалеку Неслышными шагами По той же лестнице Ступало нечто — существо Всесильное, но не земного мира — И страшное, как сгусток теней ада... Зелено-желтый свет мерцал, Фосфоресцировал, струился, От трупов исходя, от трупов тлеющих, Лежащих в нишах этой башни. Гробница? Склеп? Безмолвные тела Свой отвратительнейший смрад распространяли,

И грудь мою томило тошнотой... Одолевая головокруженье, я шел все выше, выше

И наконец вступил на крышу этой башни И замер там в остолбенении. Передо мною пропасть обнажилась, В которой тучи темные клубились, Как бы тела живые, но без формы. А сверху, в небе, стройными рядами Неслись чудовища С безумной быстротою, Друг друга обгоняя... Но тут я пробудился И был избавлен от кошмара.

10 марта 1945 года

## ЧЕЛОВЕКУ

Подобно Прометею Огонь — иной огонь — Похитил я у неба! Иной огонь — страшнее всех огней И всех пожаров мира: Я молнию у неба взял, Взял громовые тучи И ввел их в дом, Насытил ими воздух Людских жилищ, И этот воздух, Наполненный живым Перуном, Сверкающий и огнеметный, Вдыхать заставил человека.

Сквозь легкие, через дыханье Провел его я в кровь, А кровь огонь небес По органам и тканям Разнесла, и человек Преображенный ожил!

Один лишь раз в тысячелетье, А то и реже Равновеликое благодеянье У природы Дано нам вырвать.

Вдыхай же мощь небес, Крепи жилище духа, Рази свои болезни, Продли свое существованье, Человек.

1918 год. 23 марта 1945 года. Кучино

# ГОЛОС РИМСКОГО РАБА

Где Тессейон, где Эвменидов храм? Афинский раб прибегнуть мог к богам, Нам нет прибежища, и нет защиты нам: Простерты мы в бессилии и злобе.

Смотрите же, что свершено кругом: Законов честь гниет, как мертвый ком, Свобода попрана кровавым сапогом, В гробах они— и тлеют мирно обе.

15 апреля 1945 года. Кучино

\* \* \*

Ра́кушку принес я с берега морского, Вычистил ее и положил на стол, И поет она средь шума городского Песню мне о том, как волны лижут мол, Как дымится моря пена золотая, С ветром вперегонки движется волна, И смеется Солнце, в бездны залетая, Чтоб вселить веселье в мрак морского дна.

9 мая 1945 года. Кучино

## НАСТУПЛЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ НОЧИ

Sal equis iter rep ressit ungulis volantibus

Квинт Энний

Лишь только знак подаст Юпитер, Как будет тьма и тишина В пространствах неба необъятных Немедленно учреждена.

Так Солнце— жгучий повелитель Золотолитых наших дней, Удержит звонкоогненогих И проницающих коней.

И пригвоздит морские бури Трезубцем к лону вод Нептун; Утихнет мировое море, Погаснут плески звезд и лун.

Всё остановится в природе: Прервется трав и листьев речь, И ветер сложит свои крылья, И реки перестанут течь.

1945 год. Кучино

Когда я уходил в безбрежность По сжигающим пескам пустыни, Ты принесла мне сердца нежность И чистые духа святыни.

Вокруг неистовствовала геенна, Огонь опалил ресницы и веки, Ты одна — благословенна В душе моей — отныне — навеки.

Изуродованный, ничего не вижу, Не слышу и не понимаю; Только чувствую: ты ближе и ближе, Ты — весь мир мой до самого края.

Июль 1946 года, с. Долинское

# 22 ФЕВРАЛЯ 1950 ГОДА

Рок тяготеет над всем, Мною свершенном в труде: Мысли, картины, стихи, Трезвой науки плоды — Все исчезает как дым, Все превращается в прах, Будто трудился не я, Будто созданья мои Снятся кому-то во сне, Вместе со мной — их творцом.

# СЕРГЕЙ БОНДАРИН

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОНДАРИН (1903—1978). ПИСАТЕЛЬ, ПОЭТ, УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

АРЕСТОВАН В 1944 ГОДУ.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ НАХОДИЛСЯ ДО 1952 ГОДА
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МАРИИНСК), В ТАЙШЕТЕ,
ЗАТЕМ ДО 1953 ГОДА В ССЫЛКЕ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ.
СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ И ССЫЛКЕ,
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВДОВОЙ ПИСАТЕЛЯ Г. С. АДЛЕР.
РАНЕЕ ОНИ НЕ ПУБЛИКОВАЛИСЬ

### КАРТЫ

С колоды карт При сдаче И мне туза не снять. И мне уже не знать, Как Германну, Удачи.

В колоде карт игральных Нет для меня тузов, А — символы лесов, Или морей полярных.

Но что ж сниму с колоды, К тем картам приучась? Мне б Вдохновенья час, Чтобы осилить годы.

## КАМЕНЬ

Заброшен недоброй рукою, Несусь и несусь по кривой... О, как от тебя далеко я! — Без слов, без тепла, но живой. Вот так же в пространстве несется Отторгнутый камень-болид: При встрече с другим распадется, Не вспыхнет и не прошумит.

## БОЛЕЗНЬ

Сергий — львенок. «Значение имен»

Что не бывало с этим бедным телом? — с морской волной играло в ноябре и, насладясь, опять борьбы хотело и радости в игре.

Под знойным солнцем бронзой наливалось, морозом пахло — только что с крыльца, и никогда не ослабляла вялость скуластого лица.

Навстречу всем богам и всем ударам вокзальных толп, вращению Земли шла молодость — и, надо быть, недаром: с ней силы чувств росли!

Зверенок добрый именем Сергея овладевал — и с именем — душой все радостней, разумней и светлее, как лаской брат меньшой.

И как узнать? Не узнаю́. Оно ли — вот это тело? Сломлен? Болен? Стар? Чужие голоса — источник боли, не только что удар....

Где гордость имени? Одно прозванье. Но ты не верь, по-прежнему зови! Ты слышишь ли меня?

Боль. Даль. Существованье без имени, без жизни, без любви.

Под Троицу с базара принесли Камыш и пряник с леденцом. Травою Пол выстлали — и в комнате моей Запахло яблоками и весною. А я лежу под белым образком, И надо мной лампадка догорает. Читают мне, как в Угличе царевич Зарезан был по воле Годунова,-И сыростью от скошенной травы Повеяло, и зайчик вдруг запрыгал... Потрескивает лишняя лампадка. А я слежу, как солнце золотится На волосах склоненной, грустной мамы, И думаю: у Дмитрия, наверно, Такая чистая и нежная была — Разрезанная золотилась шейка. Бедняжка Митенька!

### ВРАЧУ

Приблизься, человек: перед тобой страданье. Прислушайся ко мне — шум жизни приглушен. Не спрашивай моих богатств, исповеданья, А сам себе скажи: «Во человецех он».

И человек приник к другому человеку, К его дыханию, журчанию крови — Во имя человечности и той любви, Что нам светлит чело от веку и до веку.

Ты брат, сестра ли мне — не спрашиваю тоже. «Во человецех ты», — сын или дочь земли... Коснись своей рукой до воспаленной кожи, Не только плоть мою — и душу исцели.

## СОВЕСТЬ

Всё к мужеству, к твоей любви взываю, А жертв уже так много, Невольная заступница перед жестоким богом, Душа моя живая!

Шел март... На третье в ночь... Да! С этой даты И начат счет — начало тех начал, В которых голос совести звучал, Как первой битвы дальние раскаты.

И это всё, чем мог ответить: совесть. И с нею мать ее — сама душа. Всё, чем я жив, что трудно, не спеша, Когда-нибудь свою откроет повесть.

Но подвиг свой, как вервие суровое свивая, Ты и сама узнала много... Не правда ли? О, добрая ответчица перед жестоким богом, Заступница, подвижница живая! Прости меня! Обдай дыханием

у милого порога:

### МОЛИТВА

О прекращении огня,

О трубках мира во всем мире,

О том, чтоб, лютого, меня

С ладони

дома

накормили.

# мечта в ожидании

Уже не скрипят ворота, А день до конца не прожит. Такая томит забота, Что сердце терпеть не может.

Как трудно к тоске привыкнуть! Мне имя дано под осень...

- Куда же погромче крикнуть?
- Куда, как не в эту просинь...

И в небе гадать, гадая, Долго ли мне томиться? Придет ли? А вдруг другая, Не та, что под праздник снится.

Ведь думал всегда иначе: «Быть чуду на этом месте: Пред ней без стыда заплачу И слезы отдам невесте».

## **POMAHC**

Г. С. Адлер

Скажи, мой вечный друг, Зачем поклон неверью? Я знаю молодость Достойную твою И веру в свежий дождь — К лучу и соловью. Зачем же глушь и мрак? Ты слышишь: дождь за дверью.

Травинка дрогнула
Под каплею дождя,
Гляди — еще, еще —
По всей поляне, дале...
Да! С юных лет глядим,
Чего мы ни видали,
А вот такой пустяк —
Полвека перейдя...

Так что ж! На то и жизнь И узнаванья годы, И верь по-прежнему, Мой верный, вечный друг: Всё дождь, всё дождь... А сердце дрогнет вдруг От легкого толчка Любви или природы.

## НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСЫЛКИ

Уже с утра в остатках сновидений, И в первом щебетанье воробья, И в блещущей струистой светотени,— Во всем, что жизнь,— предчувствовал тебя.

И в полудни — в сверканье, щебетанье — У ящичка из быстрых рук твоих, Как бы взаправдашнее шло свиданье, Шел разговор меж нас двоих.

И так весь день: под чуждым небом Чукши, Во всем, что жизнь, ты, милая, была, И с длительной зарею непотужшей Ты в новый день с дарами перешла.

## СЛОВО

Оно рождается в самой крови — Неотвратимое веленье — слово, — Прими его, убереги от злого, Убей соблазны, правду оживи!

# У ДВЕРЕЙ АДА

«Оставь надежду всяк сюда входящий...» Но посмотри на спелой почки чудо, на ход ростка в коре таежной чащи, и скажешь ты:

«Есть выход и отсюда».

# РУКИ И ДУША

Вот руки... тут вопрос пустячный: Держи, неси, руби, паши... Что делать с силами души, Когда ей не отводят пашни? И вот докатился до самого Черного моря. Лермонтов

От самого Черного моря, От самых мальчишеских лет До самого старого горя— В Сибири теряется след...

И где здесь найдешь молодое!.. С утра и до поздней поры — Без песен, а в дружбе с бедою — Стучат и стучат топоры.

И в самой тайге, поределой От тех топоров и от пил, Для самого грустного дела Я тоже осинку срубил.

И самый притихший меж нами, И самый ненужный сейчас, Казалось, вздыхал временами О самом понятном для нас.

И в жутком, бесплотном укоре, Казалось, был важный завет От самого теплого моря, От самых безоблачных лет.

## КАПЛЯ

В могучих и грозных чащобах, Где времени мера не в счет, Для раннего, жалкого гроба Роскошное древо растет.

Но сам я его не увижу И птиц не услышу на нем: Тайга предо мною — не ближе, Чем ветвь за тюремным окном.

И пусть его! Зверь или птица, И жук, и змея, и пчела — Плодится, плодится, плодится У древа познания зла.

А сам я — и знать перестану... И дерево дрогнет — и вдруг В паденье овеет поляну, И «бойся» прикрикнут вокруг.

И срубят скворечню такую, Чтоб дерево сок сберегло б, И ляжет взамен поцелуя Смолистая капля на лоб.

## ГРОЗА

Ходят громы вокруг тайги, Словно ищут дорог в поселок. Ты пробраться им помоги К месту жительства невеселых.

И просекой уже сквозит...
— Нет, Перуне, для нас прощенья!..
Пусть же громом нас поразит:
Хоть предсмертное — восхищенье!

# ТЕБЕ ДАЕТСЯ ДЕНЬ

Тебе дается день:
Земля, моря и небо.
Омой себя, одень
и подкрепись от хлеба.
Тебе дается день —
еще один — и полный:
в лесах, полях — цветень,
в морях, озерах — волны.
Тебе дается день,
как рыбам, птицам, зверю:
проснулись волк, олень,
твой пес стучит за дверью.
Открой ее, открой! —
крылечко недалечко,—
и озарись зарей,

как лес,

изба.

крылечко. Минутам — не часам у чуда быть на страже, успеешь — станешь сам умней, богаче, краше. Чем море чистоты нет мира баснословней, умей же видеть ты, увидевши — запомни: и чистоту румян, их нежность, отдаленность, и огненность времян, не канувших во онность... А с моря — день... Светло... Его не дай те Боже употребить во зло ни в этот миг, ни позже... Тебе дается день: добро от дебрей леса, хлеба от деревень, от городов — железо... А что с зарей сошло, с небес —

не дай те Боже употребить во зло ни в этот день, ни позже.

## НА ВЗДЫМКЕ

Делянки, времянки, Травинки, цветинки, Да только под вечер В лице ни кровинки. И мертвый дивится, К тайге привыкая: «Живица, живица, Да что ж ты такая!» А может, не сгложет Чащоба-утроба: И так (без могилы) Ты с нею до гроба.

### КАРЫ

Суждено — к столу миров Без даров явиться,— Не с ведром же Капкаров, Мутною живицей...

Режем кары на стволах, Да сочит живица... А у Бога на столах Разве так сочится? И одна утеха мне: Вижу сны Макара. А проснешься — На сосне Кара, кара, кара... Давят дальние миры, Подвиги и слава, В этом смысле Капкары Выражены слабо. А и дальше на восток Тянется, живется, Кем-то серых крыш гурток Родиной зовется. В тесных тучах блеск и рев, А вокруг — на мили — Зной, жужжанье,— комаров Больше, чем просили. А у Бога...

А у Бога... Лес да лес, Да в часы иные Бесноватые небес Дьяволы земные... Нет, в тайге я не один — Мошка в самой силе. Кара... кара... карантин Строже, чем просили. Не один я средь миров, Лишь со славой туго... Перебить всех комаров — Это ль не заслуга!

## COHET

В несложной жизни Капкаров Достоинств больше, чем в Лондо́не: Здесь видишь все как на ладони — И быт людей, и быт коров.

И весел кто, и кто суров, И кто в каком сейчас уклоне, Что замышляется на лоне Среди коров и комаров,—

Открыто все... Сады познанья... Исход харчей, любви стенанья — И меж людей, и меж зверей.

Наука и литература, К истокам! В Капкары! Скорей! — В тайгу?.. С вершин?.. Губа́ — не дура.

## ПРО ЖУЖЖАНЬЕ

Жужжанье комара противно. А вникни — почему? Оно воинственно, активно. Вот у шмеля, жука, ну просто диво, Слегка с ленцой, Но до чего ж

Но до чего ж Миролюбиво!

### ПРО БЛОХУ

Одна блоха была плоха.

— Безжалостно кусала?

— Наоборот: кусала мало.

Вот вся вам повесть: где у блохи

у этой

совесть?

## ПРО БОРОВИК

Ехал, ехал паровик, наскочил на боровик. Не привык боровик попадать под паровик.

### НЕ ВСЯКОЙ ПЛЕСЕНИ ВЕРЬ

Покрылась плесенью краюха хлеба. Я в сторону ее, она — из-под руки:

 Да, видно, брат, что ты давненько в свете не был, от просвещения отстал-таки...

> И то твердит, и се: и разум, и наука... Пришлось остановить:

— А ну-ка!

Ты, плесень, помолчи, а разум мой один: не всякой плесени сродни пенициллин.

### НОЧЬ

Луна скатилась за кусты. Прикрылась веткой— ожидает. О, как настойчиво рождает Ночь

ощущенье красоты.

#### **YTPO**

О, золото! О, пенье петушка, столь тонкое, что паутина эта, опутывающая бабье лето,— и та — в движеньи кажется тяжка.

## МОЩЬ

Гляди: созрело, налилось, отяжелело. И успокоилось.

И сладко ждет косца... Преображениям твоим, природа, нет конца, Как разуму, красе и мощи нет предела.

#### CHEC

Всю ночь буран шумел, несло оледененьем. Но шумам и виденьям я верить не посмел. Лишь поутру

шестое мне чувство дал снежок: не холодом ожег, а душу чистотою.

## РАДОСТЬ

На весь денек порадовал снежок,

снежок,

снежок, ложась в садах палатами, снежинками — у щек...

И вход туда с парадного — в хоромы лесосек!.. Но почему ж порадовал снежок —

не человек?

### ΓΟΛΟС

О, тайна голоса... Вот! Вот! Опять поет он где-то в чаще, прекрасный, от души звучащий, не душу — кровь мою зовет.

Что ж это? — Музыка? Любовь? Кто это? — Сборщица грибов?

Любая песнь в любой глуши — Любовь и музыка души.

### В ИВАН-КУПАЛА

Ой, рано, рано Куры запели...  $\Lambda$ уна багряна, Думна тайга.  $\Lambda$ уна багряна... С прошлой недели Водит Ивана Баба-яга. Братец Ивашка, Сестра Аленка, Нам — каталажка, Детям — тайга. Нам каталажка, Чужа сторонка... Ухает тяжко Баба-яга. Что-то большое В пути упало... Как же с душою? — Душна тайга. Как быть с душою? В Иван-Купала Прячет меньшого Баба-яга. В Иван-Купала Братца Ивашку

Луной купала Баба-яга. Луной купала, Эхала тяжко: Эх, перепала Старой тайга. Слушает ухо, Душа дивится, Хитра старуха Баба-яга! Хитрит старуха, Нейдет живица — Сухо и глухо Дышит тайга. Дудка Ивана Дудела звонко — Да отобрана Бабой-ягой, Да отобрана... Плачет Аленка... Ой, деткам рано Знаться с тайгой.

# БЕДНЫЙ РЫБАК

Картина Пювис де Шавана

Причаливала печально Нищенская лодчонка, Рыбак выходил на берег, Сматывая лесу. Над камышами звонко Повизгивала ветреница, В стеблях пушисто-серых Видел рыбак красу.

# ВЗЫСКУЮЩИЙ ГРАДА

Так вот оно, небо в алмазах!.. И страшно в амбарах щедрот. Ну, кто из двуногих, двуглазых, Двуруких хоть горсть наберет! Не дар — искушение неба. Не трогай. Гляди, трепещи — И только! А больше не требуй. Любуйся, как чудом в пещи.

Входи в мироздание чистый, Без яда от древа анчар, И в тех надземелиях выстой Отважно И в холод, и в жар.

В тебе ведь душа человечья — Двуногий, двуглазый, простой... Хотя б и владел тем наречьем, О чем говорить со звездой? В бриллиантовом великолепье О чем говорить со звездой? О дальней вдове иль о хлебе, Опрысканном ближней водой?

О страхах? О странах?.. Не надо! Ты только... пока промолчи... Ты только — взыскующий града, В тайге, как в гудящей пещи.

Иного ищи снисхожденья, Не звезд — человечьих огней, Огней городов приближенья, Что звезд веселей и родней.

Туда и просись:
К речи,
К рекам,
И к пене морей,
И к садам,
Просись к лошадям,
К человекам!..
К земному — как первый Адам.
Не отрок уже — возмужалый,
Двуумный, от думы седой,
Иди и вздымай, что лежало,
Лежит и сейчас под звездой.

Не надо алмазов от рая, Проси лишь окраин огни.

Но, пращур! Раи отпирая, С земли изгоняют... Верни!

Прорастает зерно в земле, как ни жестка земная твердь. Жизнь победна и тем милей, тем победней, чем ближе смерть.

Пусто в небе, куда огонь кочет тело мое унесть: положи на меня ладонь, сообщи о бессмертье весть!

Среди миров, в мерцании светил... И. Анненский

Среди миров, в мерцании светил, Лицом к лицу с огромным темным Богом Не дрогнул я: «Да, Бог, скажу о многом! Ценю. Спасибо, что к себе пустил».

И может быть, архангел Гавриил, Дух огненный, простерся над порогом: Не приступить к небесным недотрогам. Но подан знак, чтоб грешник говорил.

И я сказал, я слышал только сердце, Искал одно: у Бога-разноверца Ствол истины, не разветвленье лжи.

И голос мой звучал как прорицанье Среди миров — их мрака и мерцанья, Но Бог прервал: «Вернись — и там скажи!»

## РОЖДЕСТВО

Пахнет дымом и морозцем, И под полною луной Тропка к хвоям-снегоносцам Поражает белизной.

Что-то будет чрез минуту? — В эту полночь — Рождество... Обогреют ли малютку И накормят ли его?

Чтобы сердцу легче стало, Чтобы знать в глуши лесной: Не напрасно ночь блистала Сказочною белизной.

## ЗВЕЗДА

Звезда играет над тайгою, Над снежно-искристой землей,— Воспоминанье дорогое— О чем? И точно ли— зимой?

Да! Драгоценное, живое Очарованье навсегда: Пахучая— с мороза— хвоя, Снег, Вифлеемская звезда...

Волхвы... Прости кощунство, Боже,— Каким волхвам, кому повем?— Скажи: Ты на Голгофе тоже Сквозь слезы видел Вифлеем?

...Звезда Халдеи над тайгою, И над снегами, в звездах,— Ты... Ты, Боже, Ты!..

Кто б мог такое Излить сиянье красоты!

# **ЛАЗАРЬ ШЕРЕШЕВСКИЙ**

ААЗАРЬ ВЕНИАМИНОВИЧ ШЕРЕШЕВСКИЙ (РОД. 1926). ПОЭТ. УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. АРЕСТОВАН В 1944 ГОДУ.

В ЗАКЛЮЧЕНИИ НАХОДИЛСЯ ДО 1949 ГОДА. СРОК ОТБЫВАЛ В ЛАГЕРЕ «БЕСКУДНИКОВО», НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ — ИНТА, АБЕЗЬ, ИГАРКА, «СТРОЙКА № 501 («МЕРТВАЯ ДОРОГА»)», ЗАТЕМ ДО 1953 ГОДА ЖИЛ НА ПОСЕЛЕНИИ В САЛЕХАРДЕ. АВТОР МНОГИХ КНИГ. ЧАСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

Да, с дороги сбился я большой И пошел извилистою тропкой С детской искалеченной душой, Чуткой, неустойчивой и робкой...

Рухнул вниз в стремительном пике, Как машина, потеряв пилота, И стою сегодня в тупике, Погружаясь в мутное болото.

Не понять им истины такой: Черт не страшен так, как намалеван. Машет тонкопалою рукой Мне кровавый призрак Гумилева.

Стукнет в капсюль спущенный боек, И за все, что душу пропитало, Я последний получу паек — Девять грамм горячего металла.

1944 год. Подвал контрразведки

Я, приговоренный к высшей мере С конфискацией всех личных чувств, Замурованный в тюремной камере, В двери неизвестности стучусь.

Обо мне не вспоминают дома, Ибо я бездомен, как луна, И тебе, любимая, неведомо, Что за все заплачено сполна.

Рано или поздно буду выведен Для свободы или смерти я... Выход есть, но мне пока не виден он В путаных распутьях бытия.

1944 год. Бутырская тюрьма

Я скажу тебе напрямик, Все пути свои оценя: Мать моя, прокляни тот миг, Когда ты родила мёня!

Так бесцельно и так легко Я растратил свой юный пыл... Значит, даром я молоко Из груди твоей жадно пил.

Даром сына растила ты — Он бесплоден, как пустоцвет, И, как мыльный пузырь, пусты Восемнадцать прожитых лет.

Буду жить я или умру — Это дело решает суд. Пред лицом его, на миру, Оправдания не спасут.

Что осталось мне: цепи дней Или пули-пчелы укус?

Только чувствую все сильней Неиспробованного вкус. Значит, выпало мне сломать Все, что было мечтой твоей... Да, ошиблась ты, моя мать, Не родив еще сыновей!

1944 год. Бутырская тюрьма

Когда б великий Ленин мог сейчас Из гроба встать, как тень отца Гамле́та,— Нашелся ли бы хоть один средь нас, Который бы сказал, увидев это: «Неладно что-то в Датском государстве»? Посмей, скажи — спознаешься с тюрьмой! Судьба уж приготовила удар свой, И для тебя прописано лекарство В десятом пункте пятьдесят восьмой...

1944 год. Москва. Пересыльная тюрьма

От всех моих бесчисленных желаний Осталось два: наесться и поспать. Прах пережеванных переживаний Не нужно растревоживать опять.

Когда всех яств судьбы отведал вкус ты, Сказать легко: жизнь кончена, уйди. Страшней, когда и позади все пусто, И ничего не видно впереди.

1944 год. ОЛП № 1 НКВД. Бескудниково

Ты растоптан, цветок нерасцветший, Превращен в обессоченный жмых, И столбы с фонарями, как свечи, Оградили твой гроб от живых.

Должен быть ты пронырлив и юрок, Чтобы жить в этом мире калек: Кто за о́корок, кто за окурок — Продал душу свою человек...

1944 год. ОЛП № 1, Бескудниково

Христос прощал, прощал свои мученья Толпе и судьям, доскам и гвоздям... Но я— не Божий сын: мне отмщенье—И аз воздам!

Будь ты, меня терзающий, осклабясь, Лоснясь словами, как лакейский фрак, Благословен и проклят, гомо сапьенс,— Мой лучших друг — и злейший враг!

Пусть нет предела для твоих дерзаний, Пусть разум твой стихии покорил,— Но ты, утратив облик обезьяний, Душою — безобразнее горилл!

1944 год. ОЛП № 1 КНВД. Бескудниково

> Знаю: выйдет поэт из меня, Если выйду на волю отсюда. Но и здесь, облик свой изменя, Все равно тем же самым я буду.

Вдохновенье приходит ко мне, Как несчастье,— нежданно, незванно. Встав с потребностями наравне, Мстит настойчиво, как партизаны.

Мстит за то, что, тоску размолов, От него я скрываюсь в толпе с ней... Как из песни не выбросить слов, Так из сердца не выбросить песни.

От себя самого не удрать И нутро не сменить, словно кожу: Понапрасну усилий не трать — Будь и впредь на других непохожий.

Так написано мне на роду, Бесполезно искать облегченья, И в одних лишь стихах я найду Всех бесчисленных ран излеченье...

1944 год. ОЛП № 1 НКВД. Бескудниково

## МАТЕРИ

Для тебя мои письма— вдвойне доплатные: Плачем платишь ты за недомолвки мои. Жизнь— поток, где по дну волочу свои дни я, Где покорна ты воле всесильной струи.

У тебя нет гнезда — у меня нет приюта: Я живу неизменно лишь в сердце твоем. В нем хранишь незапятнанной душу мою ты, И, пока оно бъется,— незыблем мой дом.

И сквозь строй испытаний надеждой ведомый, Я прошу: дотяни, дотерпи, доживи, Чтобы я не остался без мамы — без дома, Без уюта и ласки, тепла и любви...

1945 год. ОЛП № 1 НКВД. Бескудниково

> Я тоскую по женщине. Женщина снится мне. Как прекрасна она, снится мне по ночам. Я не знаю, какая, с какими ресницами, Как волос ее волны текут по плечам.

Я тоскую по женщине. Днями горячими Ее образ непознанный передо мной. Дышит женщина силой любви нерастраченной, Ширью неба и сочностью плоти земной.

Я тоскую по женщине. Сколько ни плакал им, Для меня ее люди найти не смогли. Лишь намек ее облика — статуя с факелом, Что взметнулась на грани воды и земли.

1945 год. ОЛП № 1 НКВД. Бескудниково

> Самая длинная ночь в году. Зимнее солнцестояние. В эту ночь я к тебе приду, Преодолев расстояние.

Если ты будешь еще ничьей, Вспомни, тоской волнуема, Ту из июньских куцых ночей С клятвами и поцелуями.

Дню сокращаться больше невмочь, Он изнемог от сжатия. Будем с тобою пригубливать ночь И, как бокал, осущать ее.

В час, когда станет бокал пустым, Выпитый лаской жадною,— Может, июньской ночи простим Краткость ее досадную?

1945 год. ОЛП № 1 НКВД. Бескудниково

Мне даже негде встретиться с тобой, И нам уединиться невозможно. Одна зима неслышною стопой Проходит по-кошачьи осторожно.

Мы под мечом взметнувшимся живем, Преследуемы, точно иноверцы... Но место есть, где мы с тобой вдвоем: На самом дне невылитого сердца.

1945 год. ОЛП № 1, Бескудниково

> В моем ненаписанном томе Нечаянной искрой мелькнет Походная песенка «томми», Как беглая запись в блокнот.

Пыль дорог, пустынь и прерий Ты в созвучия облек: Путь далек до Типерери, Путь далек.

Пускай облетают страницы, Сухим листопадом шурша,— Не надо судьбы сторониться — И будет она хороша.

Все познаешь в полной мере, Для всего настанет срок. А пока — до милой Мери Путь далек.

Судьбина в дорожной истоме Трясет, как возок без рессор. Пою твою песенку, «томми»,—Солдат, весельчак и боксер:

Чтоб лететь, по-детски веря, Как на лампу мотылек... Путь далек от Типерери, Путь далек...

1946 год. ОЛП № 1, Бескудниково

## ΒCΛΕΔ ЭΤΑΠУ

Нине Веселитской

Дорожный снег лежит корой березовой, Перед рассветом площадь как пустырь. С зарей тебя, боярыню Морозову, Увозят в дальний монастырь.

Стрельцы гуськом шагают вслед за старшими, А под санями колеи скулят, Как будто под ногами патриаршими — Полы скрипучие палат.

Рогатка перед крайнею заставою — Твоей Москвы последняя верста. Привстав, ты осеняешь златоглавую Крестом крамольным в два перста.

А колокольцев буйство — словно вольницу На мятежи скликающий набат... Тебя пою я, гордую раскольницу, Тебе твержу я невпопад:

Ты повтори руки своей движение, На подвиги меня благослови: Хочу принять души самосожжение, Как очищение в любви!

1946 год. ОЛП № 1 НКВД. Бескудниково

### ОТРЫВОК

За нестерпимо дерзкий слог И смех, нередко едкий, Меня в столицу приволок Сотрудник контрразведки. Сперва я брошен был в подвал: Он выглядел прескверно И мне надежд не подавал, Как надпись на Инферно. Мне все мерещился расстрел: Он жуток был, без шуток. Я года на три постарел

За первых трое суток. Но внес, у предка взяв взаймы Отваги богатырской, Балладу Редингской тюрьмы Я в быль тюрьмы Бутырской. И, как таинственный Сезам, Душа раскрылась перед Москвой, которая слезам Ни капельки не верит. Был суд — и вот я в ОЛП При маленьком заводе, Где мой двойник исчез в толпе, Шумящей на разводе. А сам поэт, все помня По, Сонаты и соборы, Витал в своих виденьях по Ту сторону забора...

. . . Он повторился, этот год, Такой же, троекратно, И вот четвертый свой приход Справляет аккуратно Зеленоглазая весна, Сосульки с крыш срывая, Как свист срывает висуна С гремящего трамвая. И мечет, страсти распаля, В изменчивости марта В игру в проталинах поля, Как меченые карты... Бродячих слухов племена, Что шли с надеждой доброй, Попав в глухие времена, Погибли, аки обры... Зародыш тут поэмы есть, Рожден пока отрывок,— Но сколько может перенесть Мой авторский загривок? Друг, мне желающий добра! Ты дал совет поэту Умолкнуть... Вижу, что пора Последовать совету! 1945—1947 годы. ОЛП № 1 НКВД.

Бескудниково

\* \* \*

Воркута, Воркута, Воркута! Ни ствола, ни пенька, ни куста. Бесприютных пространств пустота, Тундры тягостная немота... Воркута, Воркута, Воркута! Многомесячная темнота. Десен яростная краснота. Зубы сами бегут изо рта, Где Полярного круга черта Отчеркнула тебя, Воркута!

1948 год. Этапный вагон Москва — Печора

Кто соберет когда-нибудь стихи мои, Где, как по строгим правилам науки, По всем законам стихотворной химии Соединились помыслы и звуки?

Найдется ль тот, кто, ими растревоженный, Опутан будет слов тончайшей сетью,—Иль в заполярной почве заморожены, Они, как мамонт, пролежат столетья?

И юноша, к экзамену готовящий Работу о забвеньем запыленных, Найдет их, как словесные чудовища Времен непоправимо отдаленных?

1948 год. Штабная колонна. Абезь

Ты знаешь край? Гете

Ты знаешь край? Был краем света он. Ты знаешь край — бескрайний, беспросветный,

Что даже от окраин отделен И верст и страхов цифрой несусветной?

Приди туда с котомкой на спине, Сто дней живи в нетопленной палатке, Огнем печи любуйся лишь во сне И с голодом играй полгода в прятки. Пей витамин из шаровидных колб — Темно-зеленое подобье морса. Поставь своей рукою первый столб — И пот утри, чтоб влажный лоб не смерзся. Насквозь пропитан запахом смолы, Ты вроешь брусья первого порога И. навалив столетние стволы. Вчерне прочертишь первую дорогу. И, на ходу приобретая стаж, Учись на новостройке неучебной, Ты в топях насыпь первую создашь — Из воли к жизни, гравия и щебня. Скажи, укладчик рельсовых полос, Да есть ли радость средь пустынь другая, Чем та, что вносит первый паровоз, Гудками мхи бесшумные шугая? Ты не искал ни милостей, ни льгот, Ни скидок на широты и погоды,---И чем тебе зачтется этот год, Где каждый день длиной был равен году?

1948 год. Стройка № 501

# КРАСНЫЙ КАМЕНЬ

Сумрачна, шершава и стара, На утюг заржавленный похожа, Красный Камень — странная гора, На Урал попавший краснокожий. А вокруг нее, окаймлены Лиственниц темно-зеленой ратью, Не теряя зимней белизны, Бледнолицые толпятся братья. Из Большой Медведицы ковша Свет ей льется прямо на макушку, Змеями гремучими шурша, Вниз сбегают горные речушки. По утрам взбираются туда Облака на зависть верхолазам,

Облака на зависть верхолазам, И глядит Полярная звезда На нее зеленоватым глазом.

Красный Камень — рыжая руда, Что и гор, и леса драгоценней, Что, своею ценностью горда, Отказалась от любых растений: Это только камень и вода, Впадины, и выступы, и тени, Это — ожидание труда, Это — сны о домне и мартене... Где ручей тропинку протоптал, Извиваясь, как блестящий угорь, Над горою вдруг затрепетал Языкастый и вертлявый флюгер. С каждым ветром коротко знаком, Веселясь, как клоун балаганный, Дразнит флюгер острым языком Набегающие ураганы. Люди с картами идут сюда, Повинуясь радиоприказам, И глядит Полярная звезда На идущих удивленным глазом.

А потом,— нет, это не потом,— Сразу же рождается поселок, И кирпичный вырастает дом, Точно Камня Красного осколок. Под горой проходят поезда, И земля гудит под их напором, Щурит глаз Полярная звезда — И подмигивает семафорам...

1948 год. Стройка № 501

Кто сюда дотянется? Черту на рога Зашвырнуло станцию, Станцию Пурга.

Здесь ни трав, ни елочек, И сюда бы встарь

Заказ 260 321

Никаких бы телочек Не погнал Макар.

Но не мшистой плесенью — Сердцу дорога Девичьею песнею Станция Пурга.

Девушки с лопатами С виду не стройны— Валенки с бушлатами, Ватные штаны.

Сбив назад треухие Шапки с темных лбов, Тянут: «Чую... Слухаю...» В песне про любовь.

Песня не старинная, Но и не нова, Веют Украиною Плавные слова.

Даже тундра, вязкая, Словно рыжий вар, Стала яркой сказкою, Как полтавский яр.

Перед снежной кучею Плещут и журчат Думкою певучею Голоса девчат:

Как на белом вышили Здесь на рушнике Розовое вишенье В зеленом садке...

Не тоской провьюженной Сердцу дорога,— Ой ты, песня южная, Станция Пурга!

1948 год

\* \* \*

Светлую нашу любовь мы скрываем по темным углам, Губы с губами на миг сходятся тайно, как воры. Горе неволи твоей мне с тобой не делить пополам, Счастье свободы моей ты со мною разделишь не скоро.

Мечется наша любовь, точно псами затравленный зверь, Ходят за ней по пятам сплетни, угрозы и бредни... Видно, друг друга нашли мы для горечи новых потерь, Каждая встреча с тобой стать может встречей

последней...

1949 год. Салехард

Глубок и плавен мудрый Енисей, Над ним леса угрюмые нависли, И, локтем к локтю чувствуя друзей, Волна волне нашептывает мысли.

Чеканный ход его студеных струй Нетороплив, как повесть старожила, Где села Покукуй да Погорюй Бывальщина легендой окружила.

Молчит мохнатобровая тайга, Обрывы тускло блещут валунами, И небо, упираясь в берега, Полгода солнце носит над волнами...

А дальше — солнце до весны во мрак, А воды — в упаковку ледяную, И умолчит бывалый сибиряк О том, что в пору было здесь иную.

Лишь проволока с кольями да пни, Как о свечах — оплывшие огарки, Поведают про скованные дни Дудинки, и Норильска, и Игарки...

1949 год. Игарка. Стройка № 503

\* \* \*

Может, внуки когда-нибудь сложат сказания О страданьях и подвигах наших трудов, Как мы шли, на ходу сочиняя названия Для построенных в недрах пустынь городов.

Как на север весною извечно влекомые Птичьи стаи сбивались с путей вековых, Не могли опознать эту землю знакомую, Не могли долететь до гнездовий своих.

Кто расскажет о том, как, морозами мечены, На пропащих местах, на бесплодных полях Мы сбивали укосины и поперечины, По колено в воде и по горло в делах?

Кто расскажет о тех, что лишений не вынесли, И о тех, что все тяготы перенесли? Что вы встретите в самом отчаянном вымысле Фантастичней сегодняшей правды земли?

Наше время иных богатырских былиннее,— Разве землю поднять нет у нас рычагов? Отставали картографов легкие линии От упорства тяжелого наших шагов.

Может быть, говорить еще это не вправе я, Но упрямятся строчки, в душе шевелясь: До сих пор здесь была лишь одна география, Нынче ж — в лицах история здесь началась...

1949 год. Стройка № 501

Застлало Заполярье снежной мутью, Метет пурга, как новая метла, Сдувая пешеходов с первопутья, Как смахивают крошки со стола. Здесь от мороза трескаются горы, И птицы застывают на лету. Оленю,— будь он даже самый скорый,— С пургою совладать невмоготу.

А мы — пришельцы с Запада и Юга,— На Севере не покладаем рук. Чертою заколдованного круга Не может стать для нас Полярный круг. Нас как бы нет, — и все же мы повсюду: И в насыпях, и в шпалах, и в мостах. Возводится строительное чудо На поглощенных тундрою костях. Конвой сжимает ложа трехлинеек, Доеден хлеб и допита вода, И стеганые латы телогреек Напяливают рыцари труда. Поднявшись не с подушек и матрасов, А с голых нар, где жерди егозят... Такого не описывал Некрасов В своих стихах почти сто лет назад... Текут людей сосчитанных потоки, Ворота запирают на засов... О век двадцатый! О мой век жестокий! Где милость к падшим? Где свободы зов?

1949 год. Стройка № 501

# ЮРИЙ ГРУНИН

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГРУНИН (род. 1922). АРХИТЕКТОР, ХУДОЖНИК. УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. В 1942—1945 ГОДАХ НАХОДИЛСЯ В ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЯХ КАК ВОЕННОПЛЕННЫЙ. АРЕСТОВАН В 1945 ГОДУ. НАХОДИЛСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДО 1955 ГОДА. СРОК ОТБЫВАЛ В УСОЛЬЛАГЕ (СЕВЕРНЫЙ УРАЛ), СТЕПЛАГЕ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН). ПУБЛИКОВАЛ СТИХИ В СБОРНИКАХ И ПЕРИОДИКЕ

## ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Мягкий вечер скрадывает звуки. Наступает время для пера. О любви, о тягости разлуки мне с тобой поговорить пора.

Я тебе не клялся верной клятвой, золотого не дарил кольца— просто помню голос, помню взгляд твой и черты любимого лица.

Ждешь ли ты, коли прошли все сроки? Не померк ли блеск веселых глаз? За четыре года эти строки я пишу сегодня в первый раз.

Позади — война, загоны плена, прозябание по лагерям. Впереди — не видно перемены: снова двор, где вышки по углам.

А седые дни проходят мимо. А в судьбе опять немая мгла. Только ты, как свет, незаменима, ты, как песня, мне всегда мила. Я к тебе протягиваю руки. Ты мне и невеста, и сестра. Вязкий вечер скрадывает звуки мертвого тюремного двора.

Сентябрь 1945 года. Бютцов, Германия, репатриационный лагерь № 211

### впотьмах

Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Сергей Есенин

Жизнь моя! Как быть, чтоб я не мучился? Ты такая мне невмоготу. Я не знаю тягостнее участи, чем идти в пустую темноту.

Жизнь моя, нелепая и долгая, мне ль забыть о родине мечту — ту, что злыми силами оболгана, ту, что загоняют в темноту?

Освети мне дни, чтоб я не мучился, чтоб не полз на ощупь в пустоту! Я не знаю горше этой участи. Мне такая жизнь невмоготу.

Декабрь 1945 года. Бютцов

## ПЕРЕСЫЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

Соликамск. Ни соли, ни Камы. Суп без соли, судьба без прикрас. И воды не дают покамест. Соликамск.

Ты знаком мне из географии: солнце раннее, школьный класс. Ты — замком в моей биографии, солью в раны мои — Соликамск.

Тут, понятно, не хлебосолье— не до отдыха и услад. На засолку нас всех— в Усолье, в зашифрованный Усольлаг.

Мы идем под конвоем парами. Скользкий наст. Как ты кос и черен хибарами, Соликамск!

Сотни сказок в сердцах оборваны, сотни ласк. Мы — безликие, мы — покорные, Соликамск.

Соликамск. Ни соли, ни Камы. Сколько нас тут прошло по векам? Сколько нас, таких неприкаянных, Соликамск?

1947 rog

# ОДНОНАРНИКУ

Попраны и совесть, и свобода. Нас загнали в беспредельный мрак. Ты сегодня «сын врага народа». Я из плена, то есть тоже враг.

Я не знал того, что нас так много и что здесь хоронят без гробов. Я не знал, как широка дорога в этот мир голодных и рабов.

Много нас, усталых, но упрямых. Много нас, растоптанных в пыли. Жизнь есть жизнь, мой друг Камил Икрамов. Лагеря Сибири — соль земли.

1947 rog

### НӸРОБ

Во рту пересохло. В ногах заныло. Третьи сутки пешком. Ерунда. Наверно, на Ныроб, а может, за Ныроб. А впрочем, не все ли погано, куда?

Ведут нас по синему снегу на Ныроб. Осатанеешь в снегах от ходьбы. На Ныроб, на рынок! Вот рифмою было б! Невольничий рынок! На Ныроб, рабы!

Кровавыми каплями — зимняя клюква. Наверное, летом бывают грибы. Мы в школе читали когда-то по буквам: «рабы — не мы, мы — не рабы».

Ныроб — старая царская ссылка: здесь содержали большевиков. Хотелось бы знать нам, какая сила крутит вспять колесо веков?

А может, пролезло фашистское рыло, ему мы обязаны ролью врагов? Ныроб. Ныроб. Ныроб. Норов. Порох. Шорох шагов.

1948 rog

## КТО ИЗ НАС ФАШИСТ?

На нижних нарах дремлю, голодный.
На верхних нарах — в хмелю уголовник.
Лагерный барин — сыт, форсист.
Лает мне: — Фраер, не спишь, фашист?..
Ему — амнистия, свобода выдана.
А мне — комиссия: на инвалидную!
Нашли дистрофию,
признали пеллагру.
Тут все мы такие — пожалуй, пол-лагеря.

А он — он вор, лагерный бог. Кто я ему? Вол. Кто он мне? Волк. Я шел на войну и падал в плену: платил за него за хлеб, за вино.

Я был на счету у конвоя эсэс. Он был на счету у милиции. И вот я здесь. И вот он здесь. Подводим черту. Умилительно!

Черта? Ни черта! Ну что здесь к чему? Он мне не чета. Не чета я ему!

— A нам доверие! — хрипит он гордо. Эх, нары верхние, палата лордов!

Он, сильный, повыше. Я, хилый, пониже. Он, видно, не слышал о Фридрихе Ницше.

А то б, удивлен, он узнал бы, ершист, что именно он, а не я,— фашист.

1948 rog

## СВЕЧА

Красивый карандаш — свеча из парафина — рисует тени на стене в ночи. Пусть за ночь от свечи осталась половина — ловлю ее лучи.

Вот так бы мне гореть, немым огнем крича. А коли умереть — достойно, как свеча.

1948 год

# ВОЛЬНОНАЕМНОЙ ЖЕНЩИНЕ

Здесь, где царствует гневная вьюга, где на всем ледяная печать, так приятно и больно встречать хризантему далекого юга.

В этой серой таежной глуши, где вся жизнь, как туман, пронесется, не напрасно ль отыскивать солнце лепестками расцветшей души?

Уезжайте, хорошая! Вам не к лицу ледяная оправа. Извините, без всякого права я сегодня дал волю словам.

Мне так трудно бесстрастно молчать: я теряю последнего друга — здесь, где воет постылая вьюга, где на всем отчужденья печать.

1949 rog

### СТЕПЛАГ

Ты хотел от земли долгожданных всех благ? А тебя привезли к каторжанам в спецлаг.

А тебя привезли к каторжанам в Степлаг. И внушают: умри, бездыханным здесь ляг!

В сорок первом присягу дал я красной звезде: я без флага не лягу никогда и нигде!

1949 roq

#### небо и земля

Здесь небо с золотыми облаками такое, что в стихах не повторить. А степь под ним — как раскаленный камень. И о земле не нужно говорить.

По вечерам — закат багряно-розовый. Земля ж издолблена, разбита по кускам, ископана — как заклеймена оспой — и названа за это Джезказган \*.

Степь каменная, дикая, бескрайняя. Тоскливой пылью скован горизонт. Здесь юность тусклая, но чаще старость ранняя.

И небо не обманет бирюзой.

Здесь ночью тьма на сотни километров. Но, как мираж, рассеяв вечный мрак, в сиянье электрического света стоит барак, барак, еще барак.

Нелепая зловещая площадка, как там, в тайге, стеной обнесена. Из камня вся — вечна и беспощадна, и вся в огнях. Китайская стена.

Не встретите постылее пейзажа вы. Здесь горечь медная, полынная тоска! И ляжешь замертво, коль похоронен заживо ты в руднике с названьем Джезказган.

И все-таки здесь звезды с неба светят, как искры меди в зелени руды, да медною заплатой выплыл месяц, да медный привкус найденной воды —

здесь все твердит о меди в Казахстане. Пусть предстоит не мед добыть, а медь мы впрямь из-под земли ее достанем,

<sup>\*</sup> Джезказган — медная копь (каз.).

и в дело пустим, и еще заставим литаврами и трубами греметь.

1950 rog

Ни о чем, о Боже, не молю я, не прошу — пристрой меня в раю. Только дай мне радость поцелуя, возврати мне волюшку мою!

Я живу, коть есть седьмое небо, под семью замками взаперти. О, коть раз еще на воле мне бы все родные тропки обойти!

У меня, смотри, виски седые. Мне морщин и шрамов не стереть. Дай же мне хоть где-нибудь в Сибири на свободу-волю посмотреть!

Чтоб потом, в дороге умирая (только не от петли бы своей), отойти не к млечным высям рая, а к знакомым запахам полей.

1950 rog

# ГОРДОЕ ТЕРПЕНЬЕ

Такие строки не умрут. Их вещий смысл постиг теперь я: Во глубине сибирских руд Храните гордое терпенье.

В углу, во глубине, в себе. В Сибири. В сером серебре своих висков. Во льдах, в граните — к своей земле, к своей судьбе терпенье долгое храните!

Не зло, не горечь, не печаль — они пройдут угрюмой тенью. Пред нами — дней грядущих даль. Храните трудное терпенье!

Пусть ночью — нары, днем — кирка. И пусть сердца легко ранимы, пусть наша правда далека — терпенье твердое храним мы.

Оно нам силой станет тут, спасет от мрака отупенья. Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье.

1952 rog

## ДЕНЬ ПОХОРОН СТАЛИНА

Над городом воют сирены. Над городом стелется дым. Устав от работы, смиренно под стражей без шапок стоим.

Застыла в молчании вечность. Молчит напряженно конвой. И холодно, в общем, конечно, с остриженною головой.

Всё, кроме сирен, замолчало. Молчит в автоматах свинец. А завтра — всё снова сначала? А где же какой-то конец?

Над городом — в трауре флаги. В душе — ни слезы, ни огня. Молчит затаившийся лагерь в преддверии нового дня.

1953 rog

## ПРОФЕССОР ЛЮДВИГ

Правда — одна, нет нескольких правд — так говорят люди. Я не забуду — был горько прав Генрих Маврикиевич Людвиг.

Словно загадывал он наперед, когда говорил себе в бороду белую:
— Страшно не то, что Сталин умрет, а то, что при этом возвысится Берия!

Я друга такого едва ли найду. Профессор не дрогнул в годах этих лютых. Он вышел на волю в прошлом году старый лагерник Людвиг.

Друг мой ушел, словно дверь приоткрыл: мне следом на волю охота! Людвиг ушел, а мне подарил свое уцелевшее фото.

С надписью. Может, ее недостоин я, но ей, как признанию, радуюсь я: «Писатель не только свидетель истории, но и ее судья».

Что делать, профессор, мы все здесь свидетели.

Свидетелей тоже легко посадить! И все же мы встанем — мы, наши дети ли — и станем историю миром судить.

На том стою на стыке дорог, веря, что это будет. История наломала дров. Но мы ж не дрова, мы люди!

1953 rog

# ЮРИЙ СТРИЖЕВСКИЙ

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СТРИЖЕВСКИЙ (род. 1908). РАДИОИНЖЕНЕР, ЛИТЕРАТОР. УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. БЫЛ В ОПОЛЧЕНИИ, ПОПАЛ В ФАШИСТСКИЙ ПЛЕН, БЕЖАЛ, ПОТОМ ВОЕВАЛ В РЯДАХ СОВЕТСКОЙ АРМИИ. В 1945 ГОДУ ВЕРНУЛСЯ В МОСКВУ И В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ БЫЛ АРЕСТОВАН. В ЗАКЛЮЧЕНИИ НАХОДИЛСЯ ДО 1955 ГОДА НА КОЛЫМЕ. КАК ПОЭТ В ПЕЧАТИ НЕ ВЫСТУПАЛ

Забор, запретка, вахта, вышка, Оскал собачий, автомат. Попал сюда, считай, что крышка, Отсюда труден путь назад.

А выжил, об заклад я биться Готов, что с этих самых пор Тебе до гроба будут сниться Запретка, вахта и забор.

1950 rog

#### КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, малютка, не надо плакать, Моя девочка, крошка моя! Ничего не случилось с папой. Видишь, больше не плачу я.

Месяц ходит по синему небу, Ветер плачет в холодной трубе. Спи спокойно, никто здесь не был. Спи, все это приснилось тебе... Котик вон умывается лапкой; Скоро будет, наверно, светать. Ничего не случилось с папкой, Папка просто пошел погулять.

Спи спокойно, любимая крошка, Моя девочка, моя дочь! Подрастешь, поумнеешь немножко И поймешь эту страшную ночь.

1950 rog

#### МОЯ СЕРОГЛАЗАЯ

Жди меня, моя сероглазая, Я вернуся цветущей весной. Много есть мне о чем порассказывать, Не соскучишься ты со мной.

Не соскучишься, не зевнешь с тоской, A, услышав мой горький рассказ, На плечо мое припадешь, друг мой, И уронишь слезу из глаз.

Я походкой войду несмелою. Ты меня не узнаешь сейчас — Голова моя стала белою, И морщины легли у глаз.

То не старость грозит могилою, Это горе всю выпило кровь. Только в сердце моем с прежней силою Молодая живет любовь.

Это чувство, во мне живущее, Называю бессмертным я, Потому что ты самая лучшая, Золотая мечта моя.

1950 rog

К нам сюда, в глухое заточенье, Радость не приходит никогда. Как холодные стальные звенья,

 $\Delta$ ни пустые нижутся в года.

День на день мучительно похожи, Бесконечна злая цепь минут: Каждый день, всегда одно и то же — Те же мысли, тот же рабский труд.

Редки, редки светлые мгновенья: То о прошлом грезы иль мечты,— И тогда в стальные эти звенья Яркие вплетаются цветы.

Вот сегодня, третьего июня, В час свободный грезя наяву, Вспомнил я утраченную юность, Вспомнил я далекую Москву.

Но не ту, что на проспектах гулких Горделиво к небу вознеслась, А кривых арбатских переулков Кружевную сказочную вязь.

И не башни, те, что над Москвою Сторожами вечными стоят, А дворы, поросшие травою, И узор бесхитростных оград.

Вспомнил я, какие молодые Были мы в тот лучезарный день, Когда в нашу комнату впервые Я принес цветущую сирень.

Вспомнил вечер тихий над Москвою: Был морозец, падал крупный снег. Как мы были счастливы с тобою! Как был весел легких санок бег.

И еще припомнил я с тоскою, Как далекий и прекрасный сон, Старый парк, пригорок над рекою И курантов дальний перезвон.

К нам сюда, в далекое изгнанье, Радости дорогу не найти. Нам остались лишь воспоминанья О далеком пройденном пути.

1951 год. Прииск Днепровский

### золотая осень

Был октябрь не по-московски жаркий, Отцветали поздние цветы. Нас в Петровско-Разумовском парке Было двое, только я и ты.

Не спеша роняли листья клены, Пламенея, догорал закат; И казался золотом червонным В тонких рюмках розовый мускат.

С той поры я встретил много весен, Но отдал бы все их, не скупясь, За еще одну такую осень, Что тогда мне в жизни привелась.

6 октября 1952 год. Прииск Днепровский

# ГЛАДИОЛУСЫ

Помню, я в этот день целовал твои волосы И тебе поверял дорогие мечты. Помню, в парке осеннем цвели гладиолусы, Золотые, как солнечный полдень, цветы.

Как теперь далеки подмосковные рощи! Как в тумане я вижу бульваров кольцо, И знакомую с детства Арбатскую площадь, И знакомое мне дорогое лицо. Пусть давно не слыхал я любимого голоса, Пусть не видел давно дорогие черты, Пусть в пустыне заснеженной нет гладиолусов, Верю, всюду незримо присутствуешь ты.

Ты в далекой столице живешь, одинокая, И, я знаю, мечтаешь о встрече со мной. Обещаю тебе, дорогая, далекая, Принести гладиолусы ранней порой.

А пока попрошу, когда яркие полосы Нарисует на небе багряный рассвет, Принеси в нашу комнату горсть гладиолусов И укрась ими стол, где стоит мой портрет.

1952 rog

## НОВОГОДНЕЕ

Наша старая злая планета Описала еще один круг. Чифирку, что ли, выпьем в честь этого, Мой товарищ, мой лагерный друг!

Мы сегодня с тобою товарищи, Ну, а завтра ты будешь далек — Говорят, что в году наступающем Ты закончишь свой лагерный срок.

За ворота тюремные выйдешь, Но и счастья тебе не видать: Все равно никогда не увидишь Ни детей ты, ни старую мать.

Не тащить же тебе, в самом деле, Мать-старуху и малых детей В это царство суровых метелей, В это царство бесправных людей.

Для тебя точно так же потянутся Беспросветные серые дни, Сторожить тебя так же останутся Бесконечных запреток огни.

Счастье нам никогда не достанется, Все равно ты не смоешь клейма; Нашей общей тюрьмою останется До конца наших дней Колыма.

31 декабря 1952 года

Горькой платой за глупую ложь Наши лучшие годы уходят. Где-то жизнь стороною проходит, Как весенний живительный дождь:

Где-то плачут, а где-то поют; Кто-то счастлив, а кто-то несчастен. Я теперь ко всему безучастен, Мой удел лишь терпенье и труд.

Искалеченный многими болями, Распрощусь я с проклятой тюрьмой И, быть может, вернуся домой, Постаревший и обездоленный.

Ты меня у ворот повстречаешь В тихом свете весеннего дня И, конечно, не сразу узнаешь В этом старом бродяге меня.

Я забуду про боль, про невзгоды И навстречу тебе поспешу, Ведь недаром я все эти годы Образ твой в своем сердце ношу.

Знаю я, что суровою складкой Меж бровей твоих грусть залегла, И морозной серебряной прядкой Стала прядка, что русой была.

Пусть мы стали с тобою седыми, Пусть румянец на лицах угас, В этот светлый и радостный час Снова станем мы молодыми.

1953 rog

\* \* \*

Пой-играй, гармоника, плачь-рыдай, метелица, Пусть снега колючие по дорогам стелются. По дорогам стелются пусть снега колючие! Расскажи, гармоника, про обиды жгучие. В лагеря далекие паренька отправили, Девушку хорошую горевать оставили. Ни за что у молодца жизнь под корень срублена, Сколько недосказано, сколько недолюблено! Сколько росных тропочек с милою не пройдено, С милой, сероглазою, как березка, стройною. И у милой девушки юность искалечена, Сколько зорек утренних с миленьким не встречено! Знают ночи темные, сколько слез ей пролито, Как слезами горькими вся подушка полита. Замолчи, гармоника, не шуми, метелица. Пусть снега колючие саваном не стелются! Не печаль, гармоника, перестань рассказывать О мечте, что канула сказкой недосказанной.

1953 rog

Я вас видел во сне— вы сидели с гитарою В вашей маленькой комнате у Ильинских ворот. Все там было по-прежнему, все там было по старому.

Вы играли какой-то старинный гавот.

Приоткрыв своих глаз изумрудные щелочки, На ковре у дивана котенок дремал, И китаец фарфоровый с вычурной полочки Мне, как прежде, приветливо головою кивал.

Абажур терракотовый с кружевными подборами Создавал в вашей комнате фантастический свет. И из рамки ореховой с вырезными узорами Улыбался по-прежнему мой старинный портрет.

Но растаяли вдруг эти прошлого тени, Я проснулся и понял, что все было сном. Я увидел холодные голые стены И решетки узор за промерзшим окном.

Тут, укрывшись тряпьем, спали люди усталые. Кто-то бредил во сне, кто-то плакал навзрыд — Видно, горе их всех посетило немалое, Видно, в жизни немало пережито обид.

Вновь забывшись, я вновь увидал вашу комнату, Все там было по-прежнему, все, как в лучших мечтах:

И гитара старинная, и китаец фарфоровый, И ажурные тени... только вы уж не та.

Только вы уж не та, не певунья веселая. На ресницах, я видел, блестела слеза, Да из рамки ореховой с вырезными узорами Равнодушно глядели чужие глаза.

1953 rog

### ПЕСНЯ

Моему бедному другу А. Беломестному

Мне кажется, вам интересней, Чем выслушать длинный рассказ, Послушать правдивую песню О наших делах и о нас.

Когда мы ту песню слагали, То нам подпевала пурга, И саваном белым лежали Холодные злые снега.

Далеко от вашего края, В стране, где метели метут, Река протекает большая. Ее Колымою зовут.

Впадает в холодное море, Теряется в вечных снегах. И много страданья и горя На мрачных ее берегах. Там хлеб на полях не родится, Там злые туманы плывут, Живут безголосые птицы, Бесправные люди живут.

Мы лес называем тайгою, Мы сопками горы зовем, Метель называем пургою И грустные песни поем.

Поем про любимые очи, Про мрачный холодный забой, Что летом не знаем мы ночи, Что солнца не видим зимой.

Как мы, выполняя заданье, Из мрачных разбуженных скал Ценою большого страданья В горах добываем металл.

Как хлеба засохшую корку Мы здесь научились ценить, Как скрутку вонючей махорки Мы другу даем закурить.

Какие цинготные раны Мы рваным прикрыли тряпьем, Какие далекие страны Нам снятся в бараке сыром.

Поем, как от дома далеко Один за другим уж не раз, Не кончив проклятого срока, Друзья умирали у нас.

Я вижу, вы, голову свесив, Слезу уронили из глаз, Услышав правдивую песню О наших делах и о нас.

1954 rog

#### ΑΦΟΊΛΟΊ ΡΟΜ

Все близится желанный жданный час, Кладущий грани между тьмой и светом. Что ждет меня и каждого из нас, Перешагнувшего через черту запреток?...

Я к вам пришел с открытою душой Из логова затравленного зверя; Такой, как был — веселый и простой, Лжи лицемерной, как ребенок, веря.

За эту простоту, за этот чистый пыл Ждала меня тяжелая расплата: Ваш приговор так беспощаден был, Как правосудье Понтия Пилата.

Теперь окончен путь, и на Голгофе крест. Так по какому же не данному вам праву Казнить и миловать, забывши стыд и честь, Казните вы меня, а не Варраву?

Я перед вами и распятый не смолчу. Мне ни пощада не нужна, ни жалость. Свое перо я отточить хочу, Как лезвие холодного кинжала.

Я не могу понять, ужели и теперь Боитесь вы кровавой злобной тени Того, кто некогда как беспощадный зверь Взошел на тронные кремлевские ступени.

Иль, может быть, вы сами таковы, И вам милы стальные наши цепи, И это по приказу из Москвы Здесь снятся сны, час от часу нелепей?...

Вы помните, как мне хотелось жить? Вы видите — опустошен теперь я. Какой же счет за это предъявить Я должен вам, Лаврентий Палыч Берия?

Ни вам, ни мне друг друга не простить! Я и сейчас в глаза сказать не струшу: Христос и тот не смог бы полюбить Того, кто плюнул в человечью душу.

1954 rog

Года идут, безжалостное время На все кладет свой беспощадный след. С тех пор, как нас с тобою разлучили, Прошло тринадцать долгих страшных лет.

Идя дорогой тяжких испытаний, Пройдя полсвета, выбившись из сил, Свою любовь — крупинку мирозданья Я для тебя нетронутой хранил.

И вот теперь, когда мы снова рядом, Когда для чувства больше нет преград, Ты смотришь на меня таким же теплым взглядом, Как и тогда, тринадцать лет назад.

И я хочу сегодня, дорогая, Сказать тебе такие же слова, Как в том далеком и счастливом мае, Когда нам вместе было сорок два.

Я и теперь мальчишески несносен, Ты у меня по-прежнему одна, Как будто в нашу золотую осень Вернулась вновь цветущая весна.

20 августа 1954 года. Пос. Первомайский

# ЭТЮД

Празднично нарядна золотая осень, Клены обгоняют в яркости закат, Только лишь у елей и лохматых сосен Строг и непригляден будничный наряд. Но зато у елей и лохматых сосен Ветви не боятся зимних непогод — Листья умирают в золотую осень, Хвоя ж и под снегом, и в мороз живет. А когда на небе заиграет просинь И упругий ветер налетит вразбег, Раскачает ветер лапы старых сосен И с верхушек елей сгонит стылый снег. Я отлично знаю то, что я не вечен, Что седое время — груз не по плечам, Но живые руки протянуть навстречу Я хотел бы первым солнечным лучам.

1955 rog

Говорите со мной, говорите, березы, Мне так дорог ваш милый, ваш вечный язык! То роса у меня на ресницах, не слезы. Я за годы скитания плакать отвык.

Снова здесь я, на родине, снова я с вами. И теперь, вероятно, уже навсегда. Пусть не манят меня заливными гудками За рекой уходящие вдаль поезда.

Пусть не манят меня в чужедальные страны — Нету края милей, чем тот край, где я рос. И не знаю я в жизни болезненней раны, Чем неволя вдали от родимых берез.

Говорите ж со мной, говорите, сестренки, Буду слушать ваш лепет, уткнувшись в траву, Буду слушать, как ветер родимой сторонки Нежно, нежно шевелит резную листву.

-1956 год

# КАЛУЖСКОМУ ТРОИЦКОМУ СОБОРУ

Здравствуй, товарищ бывший храм, Безголосая колокольня. Мы теперь оба с тобою — хлам, Оба судьбой недовольны.

С верхушки твоей поснимали кресты, Твою золотую святыню; А у меня растоптали мечты, Мой сад превратили в пустыню.

Фундаментом крепко ты в землю врос, И в этом твое преимущество. Ты и сейчас стоишь как утес, Как призрак былого могущества.

Я же шлепок судьбы ощутил Своей недубленой кожею. Злой ветер понес меня и прибил Сюда, к твоему подножью.

Ну что ж, подождем, быть может, придут Когда-нибудь штукатуры, Подправят нас и доску прибьют: Памятник архитектуры.

1956 год. Калуга

# ТАТЬЯНА СУХОМЛИНА-ЛЕЩЕНКО

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА СУХОМЛИНА-ЛЕЩЕНКО (РОД. 1903). АКТРИСА, ПЕРЕВОДЧИЦА. АРЕСТОВАНА В 1947 ГОДУ. В ЗАКЛЮЧЕНИИ НАХОДИЛАСЬ ДО 1954 ГОДА В ВОРКУТЕ, ЛАГЕРЕ «СИВАЯ МАСКА». СТИХИ ПУБЛИКУЮТСЯ ВПЕРВЫЕ

> Воркуют голуби белые. Завтра поздняя пасха. Есть страданью предел, и День сегодня так ласков. Сегодня и он тихий. Тихо лежат его руки. Как все здесь мне дико. Господи, прерви мои муки! Или пошли гроб мне, Только тогда скорее. Сделай, чтоб он стал добрым! Чтоб все стали добрее. Чтоб страшные люди злые Зря меня не сгубили. Чтоб дети мои золотые Снова со мною были. Ни в чем я не повинна. Зла я не причиняла. О, если б поверить наивно, Что жизнь начнется сначала!

1 мая 1948 года. Лубянка

Золотые часы в углу стояли. Бил по сердцу минут молот. За огромным окном ночные дали. Кругом тишина. Холод. Он мне сказал: «Это ваш экзамен». А я поняла, что нечем Свалить мне горя огромный камень, Что обрушился мне на плечи. Жизнь моя стала передо мною Вся целиком. Без возврата... Я поняла с смертной тоскою, Что я сама виновата. Не потому, что меня обвиняли В том, чего не бывало, А потому, что я всем играла, Играла всем, чем попало. Это плата за то, что праздник длился,— Ни в чем не была я бедной,— За то, что утехам земным молилась, Видела только небо. Я сама захотела упасть на землю И выдержать иль разбиться. За это теперь я всё приемлю. Не петь мне больше, как птице. Какая пурга за стенами свищет! Снегами тундра покрыта. Никакое счастье меня тут не сыщет. Я всеми давно забыта. Дороги. Духи. Утехи. Фейерверк. Рай Майорики. Цыгане. Гренада. За это теперь мне — Крайний Север, Страницы Дантова ада. Знаю, что подвига я недостойна, Что сердце мое не камень. Но когда-нибудь я скажу спокойно: «Я выдержала экзамен».

Лето 1949 года. Воркута

Тундра... нелюбимая троюродная сестра, Желтая, как лихорадка. Трава ее высока и остра, Ягода зреет несладко.

Ты несогретая, мне тебя жаль, Твоя мерзлота не растает. Над тундрой стоит такая печаль, Какой на земле не бывает.

1950 rog

#### ЭТАП

Вагон. Свечи огарок душный. Погаснет — и каюк! Сигнала поезд ждет послушно. Нас заперли на крюк.

Разгул звериный у шалмана. Побоище. Грабеж. Мелькают лица из тумана. Кого-то ищет нож.

Пощады нет в кровавой драке! И стон, и вой, и рык, И хряк удара в полумраке, И жалкий женский крик...

Вцепилась я за веру в Чудо. Не смею отпустить. Всем существом держать я буду Ту тоненькую нить.

Она дрожит, а я застыла... О, только б сил достать Среди жестокости постылой Ту нить мне удержать.

Пока не начат путь багровый, Не отданы концы! Успеют ли сорвать засовы Вокзальные гонцы...

Лицо недвижное не выдаст Мольбы моей немой. Пощады! Гнев смени на милость, Теплушки дверь открой!

Верни с этапа нас, о Боже! Не дай погибнуть нам. И если человек не может — Открой нам двери сам!

И вдруг в ответ свистки конвоя, Поспешный топот ног! Разгул затих, как гул прибоя, Заскрежетал замок!

О, Чудо! Распахнулись двери На жизнь! На лунный снег. Пусть те, кто в чудеса не верит,— Поверит им навек...

Навстречу воздух плыл, как счастье, Из чистоты ночной... Все принимало в нас участье, Дышало тишиной...

Мы шли обратно, и дорога Казалась нам легка. А ночь была огромной, строгой И долгой, как века...

Она жалела нас, старуха,— Полярный конвоир... Роняла снег, как слезы, глухо Оплакивая мир.

Зима 1952 года. «Сивая маска»

Опять весна! Какая прелесть! Дрожит напева нить. Когда хороший день в апреле --Какое счастье жить! И снег, и воздух вместе тают, На общий лад. Смешные птицы целой стаей Мне о весне кричат. А сердце снова верит в Чудо, Тихонечко поет. Как будто всем, для всех, повсюду Растает вечный лед. И снова будут на балконах Ночные фонари В московских ласковых затонах Встречать восход зари. И снова будут пахнуть липы, И сумерки синеть, И я забуду — ветра всхлипы И ледяную клеть.

1952 roa

Когда говорят: «Какая вы были! Вы даже сами не знаете!» Когда говорят: «Как вас любили! А вы их вспоминаете?»

Плечи мои в ответ сутулятся. Я молчу равнодушно. Только детей да московские улицы Память хранит послушно.

1953 rog.

# СЕМЕН ВИЛЕНСКИЙ

СЕМЕН САМУИЛОВИЧ ВИЛЕНСКИЙ (РОД. 1928).
ЛИТЕРАТОР. АРЕСТОВАН В 1948 ГОДУ.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ НАХОДИЛСЯ ДО 1955 ГОДА
В ОСОБЛАГЕ НА КОЛЫМЕ.
ПУБЛИКОВАЛ СТИХИ В СБОРНИКАХ И ПЕРИОДИКЕ.
СТИХИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПОДБОРКЕ,
ПУБЛИКУЮТСЯ ВПЕРВЫЕ

### БАСНЯ

Куда ни глянь — везде портрет верблюда. Его правление — восьмое в мире чудо: Всяк голоден, а жалобщиков нет, И сыт верблюд и весь шакалитет. Для безопасности страны Ловить врагов наряжены Медведь, Гадюка и Бобер \*,— Пошла потеха с этих пор! Непротивленцев злу громят: Козлят там всяких и ягнят, И схвачен соловей-артист, Космополит и террорист! За хитроумный анекдот В тюрьму попал старик енот И вместе с ним гуляка кот — Обоих взяли в оборот. Упрям подследственный осел: — Не подпишу я протокол. И-а! И-а! Зверям я нужен, К тому же... родственник верблюжий. Но всё упрямился зазря: Теперь он едет в лагеря.

Медведь, Гадюка и Бобер — по первым буквам МГБ (Министерство государственной безопасности).

 Признайся честно, заяц белый, Зачем к зайчихе ночью бегал, Что по снегу ты напетлял И что мышонку рассказал? — И заяц начал признаваться: «У нас была организацья, Где заводила-воробей Преступно совращал зверей: — Чирик-чирик, ребята, Верблюд-то наш — злодей треклятый! Чирик-чирик, он всех орлов Намерен превратить в ослов; Уже под пыткой соловей Отрекся от жены своей, И для общественных работ Переселен на Север крот. Чирик-чирик, где демократья? Мы все дрожим от страха, братья». Чистосердечное признанье Всегда смягчает наказанье.— Промолвил следователь волк И, чтоб зайчишка не умолк, Его слегка зубами щелк... Откуда только что берется! С верблюдом я решил бороться! Несчастный заяц завизжал. — Так отчего же ты молчал? Ты завербован был мышонком, Ты жил с зайчихою-шпионкой. Известно даже и воронам, Что ты матерым был шпионом...-«Мышей и зайцев проучу! — Решил верблюд. — Всех затопчу!» За попустительство врагу Велел согнуть бобра в дугу. Медведя вызвал на бюро — Копытом хрясть ему в ребро: Хватай ежовой рукавицей, А там узнаем, что за птица \*

1948 год. Сухановская тюрьма

<sup>\*</sup> Басня не окончена, так как автора взяли на этап.— Авт.

Звон колокольный дальний — В камеру, вместе с рассветом. Колокол слышу печальный: «Где ты? — доносится. — Где ты?» «Здесь я!..» — И слезы привета, Слезы неволи скупые... Не перед Богом это, Перед тобой, Россия.

1948 год. Сухановская тюрьма

Четыре стены и потолок.
И был человек
И не был.
Но из сердца пробьется росток —
Пробьется,
Увидит небо.
Он камня сильней,
Он железа сильней,
Он пробьется сквозь темные своды.
Смотри!
В тумане грядущих дней
Багровеет цветок свободы.

1948 год. Лубянка

Куда ни пойдешь наудачу, Под радугой мир голубой, И всюду на тысячу зрячих Один бедолага слепой. А впрочем, бывает иначе: Под радугой — черная ширь, Где мечутся тысячи зрячих И с ними слепой поводырь.

1949 год. Лубянка

Как похожи луна с Колымою, Когда ночью в метельную муть Проплывают одна над другою, Друг на друга не смея взглянуть. Словно вдовы, сойдясь на свиданье, За туманами прячут лицо. Только светится перстень-страданье, Ледяное земное кольцо.

1949 rog

### В БУРе \*

Десятые сутки с утра разменяв, Хожу по бетонному полу. Теперь уж ничто не волнует меня: Ни жажда, ни холод, ни голод. Увижу невольничье небо опять Й дни до поры я не буду считать.

1949 rog

В промерзшем теле жизни мало, И ты, душа моя, устала И разлучаешься со мной, Оцепеневшая в молчанье На этой ярмарке страданий, На карусели ледяной.

1950 rog

<sup>\*</sup> Барак усиленного режима.— Авт.

## КАРЕТНЫЙ РЯД

Там нет карет — Каретный ряд. Там Эрмитаж — Московский сад, И шахматы, И та скамья, Где довоенным летним днем Среди мужчин Мальчишка, Я Впервые сделал ход конем — И от Садового кольца До северной земли конца --Во мрак Каретный ряд пролег, Чтоб я бежать из мрака мог. Кто говорит, что нет коней В каретах лет, В каретах дней? Кто говорит — пусть говорит, Но пыль летит из-под копыт. Каретный ряд, Широкий ряд, Всю ширь твою объемлет взгляд И — восполнение утрат — Всех обнимает наугад, Во всех влюбляется подряд. И вдаль летит Каретный ряд.

1951 rog

Тороплив был век, непочтителен, Рушил-строил с утра до утра, Но остался маленький домик В глубине большого двора.

С палисадником домик тихий. В нем, от шумных дел далеки, Осторожно и неприметно Жили скромные старики.

Выходили они на улицу, Семенили они в гастроном, Огибая тяжелый, сумрачный, Над двором их нависший дом.

Знал он твердо, в каких чинах, Где служили его хозяева, И в квадратных его глазах Багровело холодное зарево.

И горбатились тихие, смирные Переживчики-старики, И цвели в палисаднике синие Удивленные васильки

И глядели, как век непочтительный Рушил-строил с утра до утра, Не касаясь старого домика В глубине большого двора.

1951 rog

Наш дом и школа были Почти крыльцо в крыльцо, Спешат автомобили, Садовое кольцо.

Над нами громоздилась Рассветная Москва И в прутьях-клетках билась Лиловая листва.

Мы по двору бежали, Чтоб обогнать звонок, И кляксу-ночь стирали С камней десятки ног...

Ах, что б ни говорили, Та школа хороша. Меня зовут Четыре Высоких этажа. Зовут не дозовутся, Звонок звенит, Бегу! А годы остаются На мертвенном снегу.

1951 rog

Ослепительны сопок верха. И опять на весенней проталинке Голубика средь бурого мха, И кусты смолянистого стланика, И листок иван-чая тугой В снежном блюдце, На солнце сверкающем... Да и сам я сегодня — Такой Островок, снова жизнь начинающий.

1951 rog

Господи, раньше тебя не знал И себя не знал я среди тревоги. Я от жизни средь многих людей устал, Дай мне жизни среди немногих.

1952 roq

Пусть зло во все века сильней, Но доброта неистребима, Идет безвестным пилигримом Она дорогою своей. Давно уж слуха нет о ней... И вдруг...

Вдруг, как с икон Рублева, Она глядит — сама основа И оправданье жизни всей.

1950-е годы <sub>эс</sub>

От Эльгена на нартах оленьих До Сеймчана... Алеют снега, И лиловые лиственниц тени Разметала по сопкам тайга. И каюры колдуют шестами, И олени по насту летят, Хлещут красное солнце рогами И копытами топчут закат.

1954 rog

### КОЛЫМСКИЙ ЭТАП

Юрию Осиповичу Домбровскому

Неделю их качало в трюме. Неделю задыхались в трюме В отсеках темных.

И плыл корабль к далекой Колыме. И неотступный, Вперясь в него, Как глаз дремучей бездны, Бежал за ним по следу перископ \*.

Идут, От ветра встречного пьянея, И строятся безмолвными рядами. Потом выносят трупы. Считают. И холодно глядят немые сопки. ...Стоят живые мертвыми рядами.

<sup>\*</sup> Корабли, перевозившие на Колыму заключенных, шли в сопровождении подводной лодки.— Авт.

Их принимает некто из ГУЛАГА
И шарит наторенными глазами
По синегубым, по землистым лицам
И повторяет, словно заклинанье:
— Вопросы есть?
Вопросы есть? —
Штыки блестят на солнце.
— Вопросы есть? —
Клыки овчарки скалят.

А высоко, Незримы и неслышны, Торжественно поют людские души.

1955 rog.

Средь мокрых трав шагаю вдоль ручья И узнаю расцветшими глазами Овраг с набухшим лесом на плечах, Дорогу, поле, пруд под тополями. В ненастный день сюда явился вдруг, Все бросив, как влюбленный на свиданье. И хоть одна из множества разлук Окончила свое существованье.

1955 год. Москва

Вам,

зарытым

в распадках,-

память. Память.

Вам,

зарытым

рядами,---

Память. Память.

Пусть

революции

горло

Звенит

над тусклыми

льдами.

362

Не разделяют годы. Вы с нами.

С нами.

И, перешедшие

Лету

сомкнутыми рядами, вы

поднимаетесь

к свету

с нами.

С нами.

1955 год.

## наталья аничкова

НАТАЛЬЯ МИЛИЕВНА АНИЧКОВА (1896—1975). ФИЛОЛОГ. РАБОТАЛА В ИЗДАТЕЛЬСТВАХ, БИБЛИОТЕКАХ, УЧАСТВОВАЛА В НАУЧНЫХ ЭКСПЕДИЦИЯХ. В ЗАКЛЮЧЕНИИ НАХОДИЛАСЬ С 1949 ПО 1955 ГОД. СРОК ОТБЫВАЛА В УНЖЛЪГЕ. КАК ПОЭТ В ПЕЧАТИ НЕ ВЫСТУПАЛА

После смерти хочу я, о Боже, Быть густою травой придорожной, Чтоб на мне отдыхали прохожие, А особенно те — острожные...

Чтоб весною под сенью зеленой Крепкий ландыш стоял горделиво, И, ко мне наклонив свою крону, Шелестела б веселая ива.

Чтобы перепел, тот, что не знает Ни усталость, ни свист перелета И опасностью словно играет, Мог бежать по ковру без заботы.

А в июне, в разгаре цветенья, В ароматах и росах купаясь, Слушать птиц щебетанье и пенье, В легком ветре неспешно качаясь.

1953 год. Чибирь

### ПУШИНКА

#### Воспоминание

Упоена полдневным зноем, Пушинка в воздухе плывет, Вдоль берега, над водопоем, Всё выше под небесный свод.

Она была чертополоха Частицей нежной и живой, Но с налетевшим ветра вздохом Умчалась к дали голубой.

Ассоциацией встревожен, Я вижу: юноша Икар, Мечтою пьян, неосторожен, Возносит небу дерзкий дар.

Трепещут восковые крылья, Их вероломно топит луч... И вдруг, сознав свое бессилье, Он падает на зубья круч.

Прошли века, и в дни Иоанна Другой безумец взмыл и пал, Но стал навечно осиянным Его трудов печальный шквал.

Звенят шмели, струятся дали, Пушинка больше не видна. В реке коровы задремали. Жара. Истома. Тишина.

1953 rog

### ЗИМНИЙ ЗАКАТ

Дыхание мороза рьяно, И на поверхности стекла Сквозная филигрань Ирана Узором редкостным легла.

А между линий серебристых Лег иней, выткав белый фон, Меж линий резких и волнистых И перепутанных, как сон.

Брюссельских кружевниц глазами Я очарованно смотрю, Но неумелыми руками Искусных кружев не творю.

Гавайских пальм и попугаев Взрастила русская зима, И море без конца и края, И в сеть попавшего сома...

Пейзажу не хватает солнца, Но вот, алмазами горя, Закат сверкнул в стекло оконца Своим лучом из янтаря,

И заиграли позолотой Вода и рыбья чешуя, Как медом залитые соты, Как пунша пенная струя.

И на хвосте у попугая Зажегся радостью корунд, А пальма, веером махая, Рубины уронила в грунт.

Сменив печаль на восхищенье, Игрой узора пленена, Ловлю чудесное мгновенье, В котором явь сильнее сна.

Январь 1953 года

# 25/12 ЯНВАРЯ 1953 ГОДА В БОЛЬНИЦЕ

Татьяне Владимировой

В Татьянин день тебя целую, И обнимаю, и люблю, И об отсутствии подарка, Поверь, несказанно скорблю.

Разбитый нос тому порука, Но, видит Бог, такая скука Лежать в постели в Танин день, Как старый, несуразный пень.

А Таня носится, как птица, В халате облака белей, Блатных нисколько не боится — Она мудра, как Галилей.

В руке со шприцем, как с бокалом, Вливает в жилы нам «коньяк». И кажется палата залом, Где заиграли краковяк.

И здоровея в честь Татьяны, Мы ей желаем поскорей Спать на пуху и пить допьяна Подалее от лагерей.

### ГОНОЛУЛУ

(Экваториальный пейзаж)

На Гонолулу вечная весна, Цветут лимоны, зреют ананасы, И нежно плещется волна О берега песчаного атласа.

На горизонте Тихий океан Оберегает сон лазурного залива, Чтоб весело росли и кактус, и банан, И серебристо-смуглая олива.

Малайка с медно-бронзовым лицом Бежит стремглав в бамбуковую рощу, Где ждет ее, блестя в носу кольцом, Любовник-негр — смешной и тощий.

Как на палитре — ярко и свежо,— Лежат на рынке фрукты, зелень, рыба. Метис-мальчишка пляшет под банжо, А голый нищий спит, как каменная глыба.

У финиковой пальмы опахало Глядится в синеву глубоких вод: Там крючья рифа алого коралла, Там рыба-дьявол жертву ждет.

А ночью в бархат неба вколоты Сапфиры необъятных звезд, И по воде струится золото, Напоминая лисий хвост.

Всё это иногда мне снится, Когда в февральскую метель Ворвется перелетной птицей Весны хрустальная капель.

Февраль 1953 года

Ал. Аким. Беспалову

Не сидеть мне больше на опушке В скалах над водой, Не спускаться к ласковой избушке По тропе крутой.

С другом-лайкой не бродить вдоль просек В лиственной пурге, Без меня развешивает осень Флаги по тайге.

Не сбивать кедровых спелых шишек, Не палить костер. Был любви и радости излишек, А остался сор...

Желтый пух от лиственниц метется, Запах пихты прян, Неужели в памяти сотрется Тот лесной дурман?

Опрокинуты и лес, и скалы
В ясной глубине,—
В мире нет прозрачней вод Байкала,
Разве что во сне?

Синевою неба осиянный, Но суров и дик, На вершине у Хамар-Дабана Снежный воротник.

Красных лилий стройные бокалы Видят этот снег... В смертный час просторами Байкала Улечу навек.

18 октября 1953 года

### **CECTPE**

В синем сумраке зимнего вечера Я бродила по стежкам аллей, Но любимую я не встретила, Только вздохнула о ней.

За осиновым тыном пленница, Как могу я тебя найти? И однако, порою мне верится, Что судьба нам проложит пути,

Что наступит желанная встреча, И под липой в медвяной тени Положу тебе руки на плечи И услышу про тяжкие дни.

И счастливые, рука о́б руку, Мы пойдем в неизвестную даль, Где сквозное лиловое облако Растянуло над пашней вуаль. Будет радостно, будет горестно,— Снова вместе, но короток путь, И нисколько не станет совестно И поплакать, и тяжко вздохнуть.

А пока меж сугробов глубоких Терпеливо хожу взад-вперед, И солдат с темной вышки высокой Зорким глазом меня стережет.

Ноябрь 1953 года

#### БЫТЬ МОЖЕТ

Оделась колючая проволока Ватными хлопьями инея; Меж нею и тыном, как облаком, Покрылась запретная линия.

Пушистое, легкое, снежное, Быть может, опять улетит? Небесная синь безбрежная Сияет, зовет, манит...

А может, ковром-самолетом для нас Оно распласталось по бровке, И тот наступил благодетельный час, Что узла перерубит веревки?

Миллионы сердец устремятся в простор, А по линии брошенной бровки Именами ушедших распишут узор Грачи да сороки-воровки.

Декабрь 1953 года

## ЛЕБЕДА

В тюремном дворике, сквозь трещину асфальта, Упорно пробивается трава. Гуськом идут по кругу арестанты, Роняя шепотом слова.

Одним гуляющим спускаются на смену Другие партии — и так до темноты, И все глядят, как рвется ввысь из плена Упрямый куст столичной лебеды.

Никто из них не ошибется И не сомнет ногой ростка, Ничьей рукой не оборвется Замена лучшего цветка.

Удел один. И вот, свой круг ломая, Они всегда обходят лебеду И, у нее упрямства занимая, Клянутся развести свою беду.

1954 год. Больница

# ОЛЕЧКЕ СТЕРЛИНГ К ЕЕ ОТЪЕЗДУ ИЗ УНЖЛАГА И ПРОЩАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ «ДЕВУШКИ С КУВШИНОМ»

В Ленинграде в кафе «Норд» Вспомни этот скромный торт. Он любовью начинен Твоего драмколлектива. Наш худрук и наша дива! Смело снова в жизнь плыви, Будь ловка, как Труфальдино, Милая Мирандолина, Капитан, Антон, Мизгирь, Пред тобою жизни ширь! Пусть рекой не льются вина — Помни наши проводины, Олимпиаду, наш успех, На пути возвратном смех... А о горестях забудь! Оленька, счастливый путь!

7 ноября 1954 г. (Во время ужина после спектакля.)

# СОВЕТ З/К З/К, ИЛИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ РТУТНОГО СТОЛБА В 250/150

#### Фантазия

На далеком, далеком экваторе, На немыслимо жарком песке, Разлеглись, расползлись аллигаторы В непонятной их сердцу тоске.

Им приснились снега в лунном мареве И скользящий по тундре олень, А за ним, неотступным пажом его, Голубая рогатая тень.

Им приснились алмазные россыпи На бескрайних просторах снегов, И цепочка следов волчьей поступи, Что петляет за тенью рогов.

И скульптурные белые наледи — Мастерство океанской волны, Как в балете, пуховые лебеди, Вдруг возникшие из глубины.

А на льдине, плавучей, ныряющей,— Воплощенные нега и лень,— В позе барственно-отдыхающей Господин океана — тюлень.

Потеряли покой аллигаторы, Несказанной красой пленены, Всё немило теперь на экваторе: И бананы, и зной, и слоны,

И оливковые негритята, Что так вкусно хрустят на зубах, Когда ужинаешь на закате На реке Лимпопо в камышах,

И весенние игры любовные, Когда палевый лотос цветет,

А любимая пастью огромною Улыбается томно и ждет...

Вот как вредно мечтой уноситься За пределы запретной черты — Трудно после на землю спуститься... Друг зэка, помни это и ты!

17 января 1955 год. Больница, 3 корпус, Чибирь

> Осталось совсем немного, Каких-нибудь десять дней, И откроется путь-дорога В мятежную жизнь людей.

В последний раз мое имя Проверит дежурный надзор — Им всем невесомо бремя Охранять проклятый забор.

Неверным, отвыкнувшим шагом Побреду. Где теперь мой дом? Алеет закат за оврагом. Он как символ. К нему и пойдем...

1955 год, Чибирь

# АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН

АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЖИГУЛИН (РОД. 1930).
ПОЭТ. АРЕСТОВАН В 1949 ГОДУ, БУДУЧИ СТУДЕНТОМ.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ НАХОДИЛСЯ ДО 1954 ГОДА.
СРОК ОТБЫВАЛ НА КОЛЫМЕ.
ПУБЛИКУЕМЫЕ СТИХИ ВЗЯТЫ
ИЗ ЕГО АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ
«ЧЕРНЫЕ КАМНИ»

## СЕРДЦЕ ДРУГА

Николаю Стародубцеву

Душу зловещая тишь проела — Глухая стена не проводит звук, Но вдруг, тишину нарушая смело, Раздается: тук-тук, тук-тук...

Не сон ли? Быть может, почудилось это? Нет, твердая чья-то рука Стучит, и удары за стенкой где-то Сливаются в букву... К.

Точка за точкой следуют снова. Я слушаю (в камере воздух нем!), И буква за буквой сливаются в слово — Тук-тук, тук-тук ...К...П...М

Ты рядом за стенкой, мой верный друг, Ложкой в сырые стучишь кирпичи! Неправда! Это не просто стук! Это сердце твое стучит!

И в бешеном страхе дрожат палачи — Ужасен для них этот стук. Они его душат: молчи! молчи! Но сердце упрямо стучит и стучит: Тук-тук, тук-тук, тук-тук!

Январь 1950 roga. ВТ УМГБ, 5-я камера

Б. Батуеву

Ты помнишь, мой друг? — На окне занавеска. За черными стеклами — город во мгле. Тень лампы на стенке очерчена резко, И браунинг тускло блестит на столе.

Ты помнишь, мой друг, как в ту ночь до рассвета В табачном угаре хрипел патефон, И голос печально вытягивал: «Где ты?..» И таял в дыму, словно сказочный сон.

Ты помнишь, мой друг, наши споры горячие?.. Мы счастье народу найти поклялись! И кто б мог подумать, что нам предназначено За это в неволе заканчивать жизнь?!

Конечно, ты помнишь все это, Борис, Теперь все разбито, исхлестано, смято — В тридцатом году мы с тобой родились, Жизнь кончили в сорок девятом...

Ты слышишь меня? Я сейчас на допросе. Я знаю: ты рядом, хоть, правда, незрим. И даже в ответах на все их вопросы, Я знаю, мы вместе с тобой говорим!

Мы рядом с тобою шагаем сквозь бурю, В которую брошены дикой судьбой. Тебя называют здесь «маленьким фюрером», Меня — твоей правой рукой!

Здесь стены глухие, не слышно ни звука. Быть может, не встретившись, сдохнуть придется. Так дай же мне, Боря, хоть мысленно руку, Давай же хоть мысленно рядом бороться!

Борьба и победа! — наш славный девиз! Борьба и победа! — слова эти святы! В тридцатом году мы с тобой родились, Жизнь начали в сорок девятом!

Январь 1950 года. ВТ УМГБ, камера 2-я левая

> Трехсотые сутки уже на исходе, Как я заключенный тюрьмы МГБ. Солдат с автоматом за окнами ходит, А я, как и прежде, грущу о тебе.

14 июля 1950 roga. ВТ УМГБ, 5-я камера

Н. Стародубцеву

Между нами стена,

бесконечно сырая, глухая.

Я не вижу тебя,

но я знаю: ты рядом со мной.

Оттого-то сейчас,

эти строки скупые роняя,

Я как будто бы слышу

дыханье твое за стеной...

Не грусти, Николай,—

в жизни всякое может случиться,

Но настанет тот день,

что мы сможем друг друга обнять!

Мы отыщем тогда

пожелтевшие эти страницы

И припомним все то,

что нельзя никогда забывать!

Мы припомним тогда

тишину и стальные «браслеты»,

Одиночные камеры,

мрачные стены вокруг...

Сколько будет цветов!

Сколько будет веселья и света!

Сколько выпьем вина мы

с тобою, мой друг!..

Июль 1950 года. ВТ УМГБ ВО, 5-я камера

# ВЛАДИМИР МУРАВЬЕВ

ВЛАДИМИР БРОНИСЛАВОВИЧ МУРАВЬЕВ (РОД. 1928). ПИСАТЕЛЬ. АРЕСТОВАН В 1949 ГОДУ, БУДУЧИ СТУДЕНТОМ. В ЗАКЛЮЧЕНИИ НАХОДИЛСЯ ДО 1953 ГОДА. СРОК ОТБЫВАЛ В ВЯТЛАГЕ. СТИХИ ПУБЛИКУЮТСЯ ВПЕРВЫЕ

Осыпаются звезды сверху В голубую земную муть. Не последний я и не первый Водворен среди ночи в тюрьму.

Начиналась весна над страной. Золотой синевой ослеплен, Над зеленою волжской водой Шел на Север тюремный вагон.

День и ночь. И, как песня, прост Новой жизни старинный лад: Булка хлеба, селедочный хвост И в кисете злой самосад.

Темной ночью ни проблеска нет; Половодья льдистый оскал. Но чернее, чем ночь, решетка в окне, Холоднее, чем лед, грани штыка.

Эх, товарищ, дуришь в натуре. Суждено — так будем в живых. Не журись. Давай перекурим, Есть цигарка — одна на троих.

1950 rog

Все пройдет и забудется — Горе и радость. Только б жить, Ощущая жару и мороз, Слушать шорох дождя, Шум весеннего града И на солнце глядеть, Расчихавшись до слез.

Засыпать с темнотой, Просыпаться наутро, Каждым часом и вздохом, Как счастьем своим, дорожить. И в конце написать, Что Священно и мудро На земле лишь одно — Это жить.

1950 rog

Если станет тоскливо и больно, И почувствуешь, что одинок; Если губы зашепчут невольно Справедливый и грустный упрек,—

Не помогут ни просьбы, ни слезы, Но спасительней в тысячу крат Есть целебное свойство у прозы, Переплавленной в яростный мат.

Чтоб на свете жилось и пелось, Просто, голову очертя, Всё, за что душа изболелась,— Да иди ты ко всем чертям.

1950 rog

## ДЕКАБРИСТЫ

Стихи о начале

Начинался рассказ: Это было давно...

Пели гитары, вздыхая; Рекою лилось золотое вино, Чередуясь с хмельными стихами.

Занесенный метелью, Как небо, синий, У застав окончился день. За окном На тысячи верст Россия.

За окном

Над Россией Черная тень.

Гусары поют, Словно д

Словно думают вслух, О любови девицы-красы... Но зачем

Неустанно Куранты В углу

Гневным ямбом Считают часы?

Догорают

В подсвечниках жаркие свечи.

На басах

Захлебнулся и замер аккорд.

Слаще музыки

Стали

Высокие речи,

Ярче пламени

Юный задор.

Сыпя пепел

В бокал с пахитоски, Улыбается Пущин, Порывисто встал Муравьев, Напряженно молчит

Смущенный Каховский,

**Увлекаясь** 

Неслыханной Дерзостью Слов.

Если

Смелая речь о свободе — Как хмель;

Если споры,

Не смолкнув, Кипят до утра.

Если сердце стремится В слепую метель —

Значит —

Вместе навеки, И значит «Пора!»

Распахнулось окно — И повеяло Морозной Невой, Далекой дорогой... И ночь

Отзывалась Стихами Рылеева И щемящей сердце Тревогой.

Из тесной гостиной
В бескрайнюю ширь,
На Сенатскую площадь,
В декабрьскую рань,

Начинается время Со слова

«Пора» —

И

С поющей душою Шагает в Сибирь.

Ни солдатских штыков, Ни этапные версты Не вымерять.
Но завидна
Такая судьба,
Если звон кандалов
По Владимирке,
Тишину расколов,
Ударил
В набат.

1951 rog

### ВЕСЕННИЕ СТИХИ

Живу я теперь на севере Моей необъятной страны, Где елки в кубы измерены И на смерть обречены.

На юге в цветах панели, И только здесь по весне На робкую майскую зелень Ложится пушистый снег.

Дома совсем недавно Пламенем на ветру Шальная любовь прожгла мне Пиджак, рубашку и грудь.

Но, видя, что дело скверно, Добрые люди затем Меня привезли на север, Чтоб я не сгорел совсем.

И вот сижу и мечтаю Под елкой на мокром пне, И думы мои охлаждает Врачующий майский снег.

1951 rog

#### COHET

Бродит в небе закат до рассвета, Все никак не погаснет в седой полутьме. И звучит как четырнадцать строчек сонета Облаков и зарниц уходящая медь.

Без цветов и стихов наступившее лето. Тишина и покой. Равнодушье и смерть. Перед сном, закурив, я читаю Хикмета: «Наставленье сидящим в тюрьме».

День за днем, за неделей неделя Светит солнце, бушуют метели; На восток и на запад бегут поезда.

И уходят за море нависшие тучи, И в бессонную ночь над зеленою кручей Загорается в небе звезда.

1951 год

### ОСЕННИЕ СТАНСЫ

Когда, закончив полный круг, Природа клонится к закату — Как птицы, взмывшие на юг, Тогда мечты мои крылаты.

В душе печальней и темней Любви неясное томленье, Предчувствие грядущих дней И прошлых плавное теченье.

Вокруг багрец и позолота. Шумит березок тихий ряд, Роняя в черное болото Золотолиственный наряд.

Как листья, летние волненья, Горячка сердца, блеск и шум Летят, и с мерным их паденьем В свои права вступает ум. Тогда в раздумье ежечасном Бледнеет дерзкая мечта... И так пленительно прекрасна Печальных истин нагота.

1951 rog

### MAMA

Елки мерзнут в лесу по колено в снегу, Дует ветер сильнее и злее. Я иду. И цигарка прилипла у губ, Потихоньку дымится и тлеет.

Вот окончился день; и ударил отбой, Но заснуть все равно не сумею, Потому что я ранен смертельной тоской, И не сладить сегодня мне с нею.

Получил я сегодня из дому письмо, А в письме том недобрые вести. Пишет мама: «Мужайся, сыночек родной, И не спрашивай ты о невесте.

Твоя Катя не видится больше со мной, Даже писем твоих не читает, А неделю назад она стала женой И с другим свою жизнь продолжает».

Мама, мама! Старушка родная моя, Не горюй, не печалься — я знаю, Ведь моею обидой сильнее, чем я, Ты страдаешь, меня утешая.

Все пройдет-пролетит, и окончится срок. И тогда заживем мы, как раньше. Ты сама испечешь мне на свадьбу пирог И крикливых внучат будешь нянчить.

Ветер дует сильней, завывая в трубе. На крыльцо с папироской я выйду. Мне не спится сейчас, потому что тебе Сердце ранила злая обида.

1952 rog

#### ФЕВРАЛЬ

Февраль, февраль — разгул ветров. Леса топорщат черный гребень, И дым негаснущих костров Клоками бродит в сером небе.

Дороги снова замело. И снова крутит на рассвете Слепящий, колкий, резкий, злой Февральский беспощадный ветер.

Закурим, друг. Под этот вой Не спится что-то, не поется. Сейчас февраль. А нам с тобой И март ничем не улыбнется.

1952 rog

### МУЗЫКА

Сергею Пищальникову

Нет!
Я не спал —
И это не сон,
Когда,
Поднятый с постели,
Я слышал,
Как глухо охнул тромбон
И звучные скрипки запели.

Я слышал, Как слышал десятки раз С балкона Большого зала, Как первая нота Кверху взвилась, Как замерли грозно Аккорды финала.

Друг! Помоги! — Сердце поет. Звуками

Мысль наполненную Возьмись Отыщи в россыпи нот Эту Мою Симфонию.

Пусть зазвучит Над родными полями Оркестровою медью И вздохами струн Мелодия, Сыгранная проводами В зимнюю ночь На холодном ветру.

1952 год

# ВАДИМ ПОПОВ

ВАДИМ ГАВРИЛОВИЧ ПОПОВ (РОД. 1925). ВРАЧ. УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. АРЕСТОВАН В 1949 ГОДУ, БУДУЧИ СТУДЕНТОМ. В ЗАКЛЮЧЕНИИ НАХОДИЛСЯ ДО 1956 ГОДА В ДЖЕЗКАЗГАНЕ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН). СТИХИ ПУБЛИКОВАЛ В СБОРНИКАХ И ПЕРИОДИКЕ

### РАЗЛУКИ

Оставьте! Бросьте! Для чего разлуки? Зачем на крыльях бешеной судьбы должны мы мчать, заламывая руки, цепляя телеграфные столбы?

Зачем звонки под крышами перронов и перестук летящих вдаль колес, зеленое мелькание вагонов в дожде, и снеге, и в капели слез?

Зачем же слезы? Нужно ли им литься? Зачем ножом по сердцу режет плач? О, этот плач! Он искажает лица, он — красоты и мужества палач.

И все же нам лететь в далекий пояс, считать часы и размышлять о том, что счастье наше переехал поезд и что оно уж не вернется в дом...

### В ПУСТЫНЕ

Как что-то живое, к безумству близки, здесь носятся, воя, с ветрами пески.

Здесь песням не петься, не литься стихам. Здесь некуда деться зыбучим пескам.

Здесь место для прозы, не бывшей нигде. Гудят паровозы, моля о воде.

Я знаю: нет в тебе души, а есть одни грехи, но ты мне все же разреши я шлю тебе стихи.

Все было для тебя игрой, и мне понять пора: когда молилась ты порой, так то была игра!

Хотя истерзан я тоской, не умер, не молчу. Напрасно ты за упокой поставила свечу!

Я знаю: слабость не изжить, забвеньем не залить. Как сладко нам порой грешить, а грех тот замолить.

И вот заветная тетрадь, Я знаю, что цела. Напрасно доводы не трать: ее ты сберегла! Ее ты знаешь наизусть я в этом вижу толк: стихи живут, горят, и пусть я для тебя умолк.

Но ими связан я с тобой. Сквозь ветер и пургу с тобою я в момент любой беседовать могу.

Зачем стоишь перед крестом, все мысли прочь гоня? — Я знаю точно: ты при том припомнила меня.

Молиться? Но зачем? О ком? И кто тебя простит, когда летит все кувырком, ко всем чертям летит?

И что — молитвы? С той поры, как врозь пошли пути, тебе совсем не до игры — покой бы обрести!

### COH

Не буди ты меня, не буди — мое сердце уснуло в груди, и не в силах я сон превозмочь в эту длинную темную ночь.

И не трать ты ни слов, ни любви, понапрасну меня не зови — сон тяжелый сковал мою грудь. Ты меня навсегда позабудь.

Да и полно, я знаю, что мне ты пригрезилась только во сне и стоишь предо мной в темноте только в мыслях моих и мечте...

Так зачем пробуждаться от сна, если ночь и темна и грустна? Пробудись я случайно — и ты улетишь, словно сон и мечты...

Огрубел я без неги и ласки, и тому не климат виной. Где-то бродишь безликой маской ты, не ставшая мне женой.

Встречи нашей так не хотели, чтобы шли мы — рука в руке! О твоем незнакомом теле весь мой бред, как бред в сыпняке.

Этот бред все сильней с годами. Я такой перешел порог, что готов о Прекрасной Даме даже Блоку давать урок!

## ВЕЛОСИПЕДИСТКА

Помню этот день я память не молчит словно сновиденье мне навстречу мчит.

Зайчиками дисков то виденье сна — велосипедистка, может быть, весна...

Я лицом светлею, счастья не тая: катит по аллее молодость моя!

Зазвенела звонко, мчится с ветерком.

Я за ней вдогонку ринулся рывком.

Промелькнули спицы, отразив лучи. Почему мне снится это все в ночи?

### ГОЛОВАСТИК

Солнце лужу нежно пригревало. Глупый головастик в луже жил, и ничуть о том не горевал он, что луч солнца лужицу сушил.

А когда она совсем засохла, головастик скорчился в тоске, и лежит он, маленький и дохлый, на сухом обветренном песке.

Так и я, как глупый головастик, жизнь свою едва прожив на треть, жду последней роковой напасти: на песке беззвучно умереть.

## ВЕСНА В ПУСТЫНЕ

Ни к чему я теперь не зову. На душе тишина и покой. Неужель в самом деле такой я спокойный и есть наяву?

Ни к чему не зову я теперь. Наступила в душе тишина. Распахнул я в природу дверь, а в природе кругом весна.

Да, в природе весна кругом. И я знаю, что скоро мне вдруг захочется мчаться бегом по зеленой веселой весне.

О любви зазвенит напев, безответным уйдет, и пусть. Кровь остынет, не закипев, И останется только грусть.

#### ЗОРИ

Ах, какие в Джезказгане зори! Здесь, подобна неземным дарам, неба плоскость в огненном узоре медью отливает по утрам.

В грандиозных отсветах пожара новый день над городом встает. Что Земля имеет форму шара — в это он поверить не дает.

Как мазки гигантского этюда, это чудо не постичь умом. Силуэт двугорбого верблюда над горбатым высится холмом.

Выходишь из клети — минуту постой с шахтерской уставшей оравой, прочувствуй, в какой ароматный настой степные сливаются травы.

Ты целую смену ворочал руду, а это, увы, не игрушки. Но ради тебя зажигают звезду на самом копре, на макушке.

А в шахте руды — целый край непочат, и хватит ее на два срока. И с болью глядишь ты на вольных девчат — еще тебе эта морока!

Лишен ты всего: и желаний, и прав, но вечно пребудет с тобою вот этот подарок — дыхание трав, когда ты идешь из забоя.

## ДЖОРДАНО БРУНО

Я познанью годы посвятил, проникал я во вселенский разум, в суть вещей, в движение светил, вопреки евангельским рассказам.

Все своею щупал я рукой, сказки с малолетства презирая, и отверг я мелочный покой и блаженство в тихой сени рая.

Смехом саркастическим я стер ложь и торжество вероучений. Я готов за это на костер — от меня не ждите отречений!

И когда костер мой будет в ночь разожжен рукою изувера — это значит: извергам невмочь! Это значит: зашаталась вера!

#### **УРАГАН**

На зубах, как в жерновах, песок. Он без спроса лезет в нос и в уши, хлещет по щекам и бьет в висок. Глохнет крик: «Спасите наши души!»

За три метра не видать ни зги, словно смерть пришла с доставкой на дом. В сто извилин корчатся мозги оттого, что зло смешалось с адом.

Ветер здесь не по-земному лют — мертвенный, космический, иссохший. Помня нас, в России слезы льют, словно по безвременно усопшим...

Ни небес, ни суши, ни морей. Наступает злое отупенье и срывает жизни с якорей, рвет канаты адского терпенья. Так бушует злобный ураган, все круша, корежа и мешая. Но хранит нас вечно Джезказган, над любой невзгодой возвышая.

Стало нынче в цене раздвоение мнений: побывал на войне — обвинили в измене.

От родных отлучен, зэком стал я матерым. Мне б работать врачом заставляют шахтером.

Брошен в шахту я тут под надзор вертухая. Подневолен мой труд, перспектива — плохая.

Приобщился к труду, работягой стал истым, добываю руду — обзывают фашистом.

Вместо плана — туфта, мало хлебова в миске, суета-маета, бригадира приписки.

Не по славным делам шахта наша в почете—выполняется план регулярно в отчете.

Не болит голова устранять неполадки. Вам ведь всё — трын-трава, с нас и взятки-то гладки. \* \* \*

Под ногами — трава душистая, а вокруг — необъятный мир. Что с того, что зовет фашистами нас нахмуренный конвоир?

Отгорожены мы от родины, от родимой своей земли, нас изменниками и отродьями прокураторы нарекли.

Конвоирами опекаемы, мы не скидываем ярма, и работаем тут за пайку мы, а по совести — задарма.

Времена над нами недужные — хуже мора или войны, нам внушают, что мы — ненужные, только так ли мы не нужны?

Строим тут хорошо ли, плохо ли — кто осмелится нас воспеть? Мы такой комбинат отгрохали, мы стране подарили медь.

В газетах о нас не писали, молчали о нас неспроста, и тайно в прорывы бросали, в нелегкие эти места.

Но все же не духами строится индустрии важный редут — в газете статья: комсомольцы ударную стройку ведут.

Но разум кипит возмущенный! И в этой пустынной дыре воздвиг монумент заключенный, слова наварив на копре: «Мы, зэки, вступили на вахту и мыкали эту беду. Мы, зэки, построили шахту в таком-то треклятом году».

В то, что радуга есть, не верую. Мне — проклятьем подземный клад. Всё вокруг меня серое-серое: серый камень и серый бушлат.

Тишина под землей тоже серая, жизнь пуглива, как серая мышь, и в добро я теперь не верую — зло, что царствует, разве затмишь?

Мне упорно твердят, что, мол, болен я, потому и судим не судом, потому недостоин, мол, воли я, и лечить меня надо трудом.

На сегодня полжизни пройдено, а свобода моя не видна... Ах ты, родина, родина, родина, чем, родимая, ты-то больна?

# БАЛЛАДА ОБ УШЕДШЕМ

Лагерная легенда

Во глубине сибирских руд Храните гордое терпенье...

А. С. Пушкин

Изучили мы здесь без труда арифметику школьной программы: мы сидим и считаем года, а конец далеко, за горами!

Мы считаем опять и опять: отсидел я пока лишь три года,

но всего-то, всего — двадцать пять! Мне почти что не светит свобода...

Даже думать о том нелегко. Вот и друг мой, земляк мой Григорий, вижу, мыслями он далеко, и глаза его — в горьком укоре.

Каждый раз, как ложимся мы спать, разговор он заводит не новый:
— Кто мне снимет мои двадцать пять? Кто поверит, что мы — невиновны?

На морозе не дремлет конвой, на дворе — непроглядная вьюга. Под бушлатом одним с головой кое-как согреваем друг друга.

И бормочет Григорий во сне, обращаясь к безжалостным мордам:
— Никакого терпенья во мне!
Не могу я — «в терпении гордом!».

А наутро грохочут замки, надзиратель веселый и ладный нам кричит:
— Торопись, мужики!
Похлебайте горячей баланды!

На разводе гудит голова, ветер мчит по всему околотку, загоняет обратно слова конвоиру в раскрытую глотку.

— Заключенные! — выдавить звук не хватило усердия злого, только взмахи неистовых рук,— Шаг направо!..— а дальше — ни слова.

Взявшись под руки, двинулись в путь. Мы восходим на снежное взгорье. — Друг, пойми ты и не обессудь...— говорит мне внезапно Григорий.

— Что случилось? — с тревогой к нему. Друг на друга украдкой, как воры, мы глядим — ничего не пойму! Но рычит конвоир: — Разговор-ры!

Мы пришли. Как бы нам не упасть. Ветер валит овчарку на сворке — надрывается хриплая пасть. Конвоиры считают пятерки.

Забираемся в шахтную клеть, оттираем носы друг у друга, что успели уже побелеть. Ах ты, вьюга, проклятая вьюга!

Двести семьдесят метров пути — ветра нет, здесь теплее и тише. — Ты прости меня, друг мой, прости! — вырывается с болью у Гриши.

— В чем простить? — Я замедлил шаги. Мы — в широком и светлом квершлаге. Гриша шепчет: — Спаси! Помоги! Не хочу возвращаться я в лагерь.

Я карбидку роняю из рук. Ничего не пойму, словно пень я... — Я не выйду из шахты, мой друг, у меня иссякает терпенье!..

Расстаюсь я с тобою навек, до конца мне осталось недолго. Посчитают, что это — побег, я же в шахте, как в сене иголка.

Ты за это меня не вини. От охранников кану я в воду и хотя бы на сутки одни испытаю былую свободу!

И, притронувшись теплой щекой, прочь по штреку подался Григорий, обернулся, махнул мне рукой и в тумане рассеялся вскоре...

Я на скрепере мыкал беду. Мне сигналили электровозы, я всю смену давал им руду, вытирая незваные слезы.

Эх ты, Гриша! Ну, как же ты смог так ужасно и зло начудесить? Надзиратели валятся с ног — всё искали тебя целый месяц!

Всё свирепее с часу на час становились от этих усилий, и шмонали с пристрастием нас, чтобы в шахту мы хлеб не носили.

Я не раз, твой кисет теребя, размышлял над твоею судьбою и в надежде, что встречу тебя, звал тебя в отдаленном забое...

С той поры пролетел целый год... Только выйдем из зоны за вахту мне покоя мой друг не дает. Я решился облазить всю шахту.

Да и в лагере слух пробежал, что видали не раз пред собою, как неясно, тревожно дрожал огонек в отдаленном забое.

...Я узнал его издалека. К валуну я большому прижался, наблюдая полет огонька, что тихонько ко мне приближался.

Словно камень, я сам отвердел, с места сдвинуться сделал попытку, но тотчас же во тьме разглядел силуэт человека, карбидку... Доверял я себе не вполне, только все ж убедился я вскоре, что идет и взаправду ко мне целый год пропадавший Григорий.

Гриша, ты ли?.. Давай посидим? — потянулся к нему я руками.
Ты узнал меня? Здравствуй, Вадим.— Он уселся напротив на камень.

И уже я промолвить хочу: «Будем вместе мы снова отныне!» И рукою его по плечу— никакого плеча и в помине...

## Григорий.

Ты рукой не того, не маши... Всё поймешь, а сперва — толковище. Что у вас для ума, для души? Расскажи мне быстрее, дружище.

# Автор

Люди терпят, работают, ждут, коть неволя отнюдь не легка им... Дни за днями свиваются в жгут, но к мучениям не привыкаем...

Есть и пища досужим умам — мы стоим пред эпохой иною: слух идет — скоро все по домам, — Сталин дубаря врезал весною.

Ну, а ты-то, доволен ли ты, так ушедший от нас в одночасье? И какой ты достиг высоты в этой новой своей ипостаси?

## Григорий

Я свободен. Но тяжек мой труд. И похоже, что сел тут на мель я: отживут все и все перемрут, я ж останусь навек в подземелье.

Вот и сам обо всем ты суди: прячусь я в кристаллических призмах, нет ни легких, ни сердца в груди, я — подземный блуждающий призрак.

Предо мной эта вечная тьма, узкой щелью утроба земная. Чем, скажи мне, мой друг, не тюрьма? Я из шахты дороги не знаю.

Но довольно о том говорить.
- Я вот вижу: хранишь мой кисет ты.
Ну так дай мне тогда закурить —
это лучше несладкой беседы.

И карбидка как будто из рук ускользнула и сдвинулась выше. Посмотрел я— всё пусто вокруг, и следа не осталось от Гриши...

### OXOTCKOE MOPE

Лагерная легенда

Японский быстроходный миноносец — акулий неустанный острый нос и клюзы, что похожи на глаза, — волну клевал и снова воздымал над нею, не спеша, стальное тело — искал себе случайную добычу.

Он рыскал третий день в охотских водах, охотясь за советскими судами. В те дни японцы явно осмелели, их одолел охотничий азарт — на озере Хасан шла заваруха.

Война не объявлялась — ею пахло. И капала соленая вода с простуженного носа миноносца,

и всматривался в серый горизонт раскосый капитан, седой, в очках, настраивая цейсовский бинокль.

И вдруг: «Тревога!» Грузовой корабль на траверзе внезапно замаячил. Свистки, сигналы. «Расчехлить орудья!» И с именем микадо Хирохито наперерез — ведь времени в обрез! За полчаса все сделать и — пропасть в морской пустыне, в стыни, в серой мгле.

Под самый клотик флаги поползли: «Застопорить машины для досмотра! Иначе буду вынужден стрелять».

Ответ сигнальщик тут же доложил: «Я нахожусь в своих, советских, водах». И, не сбавляя хода, сухогруз немой кормой к японцу повернулся.

— Предупредите выстрелом! Вперед! — и за кормой — громадные буруны, как струны, снасти на ветру гудят. — Нет, не уйдет советская посуда! — с улыбкой зыбкой шепчет капитан. «А коль по ватерлинии судить — посуда эта с нетяжелым грузом. Там либо хлопок в трюмах, либо — чай».

Весь корпус черным крашен и облуплен, но выбелен старательно спардек. «Артек» — большими буквами по борту, и порт приписки виден: Николаевск. Опережая гарь пороховую, японец устремился вперехват.

Советский пароход остановился. А с миноносца в катер — матросня с винтовками и старший офицер. «Спустить все трапы» — подняли сигнал.

И вот уже на палубу спесиво взобрался офицер и козырнул

идущему навстречу капитану. Изобразил улыбку — этикет! Цветистых фраз букет из уст японца: — Мы сожалеем... Мы огорчены... Мы вынуждены судно досмотреть...

## Японская орава ворвалась.

- Насилие! Кто дал такое право?!
- Я, право, сожалею, капитан...
- В каких морских международных сводах?!
- В советских водах это уж разбой!
- А почему у трюмов часовые?
- Преступников на каторгу везем!
- Порт назначенья?
  - Город Магадан.
- Откройте трюмы!
  - Но... я протестую!
- О капитан, разумным надо быть! Я ваших часовых обезоружу! и что-то прокричал своим матросам.

Возникла стычка, но... неравны силы. У часовых отобраны винтовки, лишь одному поставили фингал. И вот открыты трюмы наконец... А там — при тусклой лампочке — броженье... Тревожная безмолвная возня...

— О господа! — Японец поклонился.— Прошу вас, выходите все наверх.— Он был наслышан о волне репрессий, о том, что в этой полумертвой массе, обросшей бородами, исхудавшей от голода и от морской болезни, завшивевшей, цинготной и угрюмой — комбриги и комкоры могут быть, писатели, артисты, профессура, чекисты, инженеры и врачи. — Прошу вас, господа, вы все свободны! В ответ из трюма:

— Заберите трупы! Сейчас наверх мы вышлем делегатов от уголовников и от Ка Эр. Все не пойдут — от голода слабы...

И вот возник на палубе десяток теней, едва похожих на людей, заросших и трясущихся в ознобе, худых и изможденных, словно смерть.

Японец поклонился и сказал:
— Вы можете уехать в Аргентину, в Америку, в Канаду, господа!
Вас, как скотину, гонят на убой.
Сейчас мы капитана арестуем, даем вам офицера и охрану — плывите по морям, куда хотите!
До Гонолулу будем провожать!

Какой-то урка тоже поклонился:
— А черта ль нам в Америку мотать?
Чего мы в той Канаде не видали?
Да там своих таких «людей» хватает!
Пусть контрики плывут! Их забирайте!
— О, кажется, вы — вор? Таких не надо!
Что скажут остальные господа?
— Простите нас, мы тоже не поедем...
— Но почему?! Ведь вам один конец!
— Да, судьбы наши черные, конечно...

Виновными себя мы не считаем, но верим: наверху, там, разберутся! Надеяться на то не перестали — товарищ Сталин обо всем узнает и рано или поздно тех накажет, кто эту к нам жестокость проявил! За добрые намеренья — спасибо! Но, господин японский офицер, мы — коммунисты все и патриоты! И просим вас: пустите в Магадан!

Японец постоял еще минуту, потом склонился, снова козырнул и, сгорбленный, поплелся тихо к трапу. А через сутки судно швартовалось в порту у мрачных сопок Магадана. И прибыло на палубу начальство, увидело конвойных без винтовок и, выслушав подробнейший рапорт начальника конвоя, капитана, велело всем сойти на страшный берег.

Наручники им тут же нацепили. А заключенных, что и полагалось, пытавшихся спектаклем на борту о мнимой невиновности своей втереть очки вождю, советской власти,— с удвоенной охраной повели в ближайший магаданский распредлагерь.

### ГРЕНАДА — КОЛЫМА

Семью он покинул, ушел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать.

Вернулся из тех романтических мест и вскоре, бедняга, попал под арест.

Спросил его опер:
— Скажи, на хрена сдалась тебе, как ее, эта Грена?

Бледнел он, как снег, и краснел, как пион, а опер орал: — Ты немецкий шпион!

Судьбы колесо чуть не сбило с ума. Решило ОСО: десять лет, Колыма. Он мыл золотишко, слезы не тая, и пел, как мальчишка: — Гренада моя!

Почти Эльдорадо тут золота тьма. Гренада, Гренада, моя Колыма!

Повыпали зубы средь каторжной мглы, и мертвые губы шепнули:
— Колы...

# ПОДПОРУЧИК

Он — маленький, щуплый, совсем не атлет, усохший для лагерных брючек, но держится так, словно блеск эполет несет на плечах подпоручик.

Нет, он никогда не поплачет в жилет и прошлым, пожалуй, гордится. Он был у Шкуро девятнадцати лет и в дело хоть нынче годится.

— Ну, вот вам,— он молвит,— в гражданской войне

напрасно вы нас победили! Пускай поделом тут приходится мне, но вас-то за что посадили?

 Старо, господин подпоручик, старо все это: «За что вы боролись?»
 Допустим. Конечно, я был у Шкуро, но вы-то на что напоролись?

Наверно, не скоро я это пойму, иль все поглупели мы, что ли? Недавно амнистия вышла ему: его благородье — на воле! Когда ж наконец долетит и ко мне решенье вопроса простого? Его благородье вернулся к жене — открытку прислал из Ростова!

#### ВСТРЕЧА НА ЭТАПЕ

Жизнь моя была как на развилке: впереди — неведенье. И вот, я — в тюрьме, в свердловской пересылке. Шел январь, пятидесятый год...

Наш этап готовился в дорогу. Для отправки собирали нас в камере огромной. И с порога женщин я увидел в первый раз.

Полтора десятка их там было, женщин-заключенных молодых... Сердце сразу горестно заныло, зрелище ударило под дых!

Не были мы низкими самцами, просто поклонялись их красе, а когда не видишь месяцами — кажутся красавицами все!

Сквозь решетку видим очень четко — ад бледнеет от подобных мук! Но хоть разделяла нас решетка — только не для глаз и не для рук.

Подержали нас бы тут подольше! Глаз не оторвать — ну, хоть умри! Нас, мужчин, намного было больше, были вперемежку блатари.

— Погляди-ка, шмары тут что надо! Ты! Мурёнок! Дай пощупать грудь! — Негодяи! Выродки вы! Гады! Чем бы вас по шее садануть! — Мы — в законе! Сука ты чумная! В лагере запляшешь на ноже! — Я увидел, как одна блатная расстегнула кофточку уже.

Знаю я закон бандитской финки: если фраер, то живи, дрожа! Люди — две неравных половинки, жизнь для воровства и грабежа.

— Ты! Мурёнок! Ни пера ни пуха! — К черту, уркаган мой дорогой! — А средь женщин — стройная старуха бровь с презреньем выгнула дугой.

Видно по всему — интеллигентка. Сколько ты в тюрьме перенесла издевательств разного оттенка, щедрой мерой вылитого зла!

— Бабушка! Гражданка! Подойдите! — никну к разделяющим сетям.— Вы-то тут за что, за что сидите? Чем сумели насолить властям?

Слышу: надзиратель там, за дверью, сбрасывает тяжкие крючки. У старухи вызвали доверье, вероятно, все ж мои очки.

Подала мне сухонькую ручку:

- Пестель я, и взгляд ее лучист.
- Это тот, который?..
  - Да, я внучка.
- Это тот, который декабрист?!
- Власть насилье, как ее ни красьте. Я свой крест безропотно несу. Пестели сидят при всякой власти зарубите это на носу!
- Бабы! Выходите все с вещами! Кончился тюремный ваш привал! —

Я склонился — быстро, на прощанье руку Пестель я поцеловал.

Так прошло чудесное мгновенье... У нее рука — теплей моей. И чуть легче от прикосновенья стало мне, а может быть, и ей.

## ГРЯДУЩЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ

Сердце мне сегодня предсказало: сбудется все так, как быть должно, славный шпиль Казанского вокзала мне еще увидеть суждено!

Нет, любви сыновней не убили, хоть рубили ту любовь сплеча... Да промчится вихрь автомобилей мимо возвращенца-москвича!

Я вернусь! И в том — закономерность. И увижу много новых вех. Город мой, тебе хранил я верность — не тому, кто вознесен наверх!

С лагерным фанерным чемоданом я вернусь в знакомые места — это в жизни на этапе данном самая заветная мечта!

# ПЛАТОН НАБОКОВ

ПЛАТОН ИОСИФОВИЧ НАБОКОВ (РОД. 1922). ЖУРНАЛИСТ, ДРАМАТУРГ, СЦЕНАРИСТ, ПОЭТ. УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. АРЕСТОВАН В 1951 ГОДУ.

В ЗАКЛЮЧЕНИИ НАХОДИЛСЯ ДО 1955 ГОДА.

СРОК ОТБЫВАЛ В ОЗЕРЛАГЕ—ОСОБОМ ЗАКРЫТОМ
РЕЖИМНОМ ЛАГЕРЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПУБЛИКОВАЛ СТИХИ В КОЛЛЕКТИВНЫХ СБОРНИКАХ
И ПЕРИОДИКЕ

В Атлас огромный железных дорог с детства поверил, объехать — не смог...

Сам был привезен в Отдел номер семь, тот, что «на транспорте», тот, где совсем

от картографии стало мне тошно денно и нощно, не за что, и тот, что

в Тридцать седьмом переехал отца... Нету Железным дорогам конца!

1951 rog

#### ВАСИЛЬКИ

Спокойной подмосковной Малаховки сосновость встречала нас...

И снова мы, от города раскованы, бродили у озерности, ища из-под руки

где — в поле, в беспризорности, синели васильки...

Они ласкали,

яркие, наш бронзовый загар... А вечером

под яблоней поющий самовар...

И стыд и страх

назвать — женой, и помыслы — легки, и под копной волос ржаной все те же — васильки...

Духов удушье бурное с палитры цветников, и осень — миньятюрная садовых васильков.

Мы не хотели сами рвать сердце на куски: с голодными глазами — босые васильки — в каком-то километре — печальных деревень... Жестокости поветрие. И хочется реветь.

За то, что горю родины страшились мы припасть, судьбой мы были проданы и отданы во власть — холодного сгорания, где страшен громкий смех, где жизнь — воспоминания и где спасенье — смерть.

Нас увозили.

Слишком прощания горьки. И кланялись нам вышками окраин огоньки.

К Сибири замороженной тянулись облака. Ах, песенка дорожная, острожная тоска.

Суровый берег Ангары. Порогов глыбы грубые. Конвой.

И в тучах мошкары, голодные, угрюмые, идем, сцепившись под руки,—пятерками в ряду. Собачий лай

и окрики.

И, если упаду, оставь, земляк, усталого, двоим не пропадать: мудра затея Сталина людей нумеровать.

Но, дотянув под кровлю, вновь веруешь, что ты, бесправный, обескровленный искатель правоты, опишешь всё в «Прошении», оно дойдет...

И вот:

Верховное прощение в Малаховку вернет, в тот, всех цветов красивей, осенне-синий цвет...

Будь проклято всё — синее, твои глаза...

И — нет!
Не в силах славить палача,
и числиться святым,
и ложь всечасно уличать,
молчать и быть тупым.

Так обретенная честность бьет по собственным ногам, и, оборвавшая полет,

нам клетка дорога. И сладок губящий чифирь, и зубоскальство злое: мила нам мерзлая Сибирь и небо слюдяное.

Мила мечта — водин из дней в усы ударит смерть, и станет чистым мавзолей, и революционной твердь...

Однако ж надо и дожить. А в лагерной больнице есть васильков на грядке нить: пусть наяву приснится Малаховка, и синь реки, и голос —

птиц чудесней...

Но как мечтатели жалки, когда,

облаяв песню, пересчитав,

в барак ночной —

под ключ.

замкнет

отбой...

Кто сосчитает километры всех рельс и трасс, все штабеля и кубометры открытых глаз...

Хоть с алым чертом на ветрах рвани, как Фауст, тебя вернет в больничный хаос всеобщий страх.

И все ж — рассвет. Цветов росу синит свод неба летний...

- А вот и земляка несут.
- Куда?
- В этап последний...

Что он уносит за собой в несовершенство шара, свисая тощей синевой с объятий санитара, чуть трогая концом руки чахоточные васильки...

Беспомощный, в кальсонах синих, он сам — как тощий василек.

- Пытался вспомнить имя сына...
- Не смог...

Со щек глубоких — астры жара, и эти выпученные глаза — немой вопрос:

«Куда меня несут?»
И шутки — санитара:
«На высший суд...
Где признают
лишь тех,
кто признавался

тут». Нет! Должен быть

тот — высший суд. И нам

судить

на нем.

Когда — через тюремный быт в небытие

уйдем...

Нет! Все останутся, кто — здесь

душой воскресли!..

А — если...

Как к дому путь далек...

застынет над пробитым лбом небес

огромный

василек.

Но — если...

1952 год. Вихоревка

## ХКДАШОЛ О

Пошли от Сталина завхозы вершить богатствами страны, но мы признали, что должны ишачить, как тяжеловозы...

Чтоб шоры скрыли — стыд и страх, и стали к шпорам — равнодушны, всегда — широкие в костях, а главное — вожжам послушны...

А где Руси — лихой рысак, блистательный — ахалтекинец, Казбек берущий — кабардинец, где неоседланный — дончак?..

Иссякли родственные связи иль в колбасе погребены, и держатся на коновязи лишь те, кто конюху верны...

А он им... семя рвет живьем! Как ослепительно живем.

1952 rog

#### МЫСЛЬ

Когда впервые воду глаз разрушил камень мысли, и жизнь, очнувшись, понеслась, как будто крылья выросли,

минуя старческий завет и девичью сердечность, рубя коротким словом «нет» слежавшуюся вечность,

я так затрепетал тогда, себя узнав до дна: пусть глаз расплещется вода, останется Она... Пусть глаз провалится вода, встречая вал прибоя: не стыть нигде и никогда в душе моей покоя.

Иди, спроси и даль и высь: виновна ль злоба в том, что ей малодоступна мысль «Добро взойдет добром»...

С того и деспоту легко озлобленными править: в их души дышла вбить закон, стравить и окровавить.

И вот, пока я звал добро, высмеивал свой страх, хитрейший принял серебро и указал — где «враг»...

Бесполый народил статью, размножил цифру ветер, и кто-то склизкий жизнь мою уже крестом пометил...

И — с петель дверь, кровит восход, душа над телом встала. А судьи кто? А где народ? В пустынном чреве зала

возник лжезвездный прокурор, скривив улыбку песью... Но мысль мою нельзя— в упор, Она— с земною осью!..

Мне нипочем — огромный зал и узколобый вождь, летит теперь в мои глаза камней искрящий дождь...

Вот я разлегся, как Урал, на собственных костях, и льды сибирских рек и скал, штыки примкнув, блестят... Но я кричу... Слова мои возносятся — как гром, и чертят небо молнии: «Добро — взойдет добром!»

А если холод превозмочь не в силах человек, и примет он — страданий ночь, сомнений черный снег

и ложь... Не сможет он упасть пред медным лбом барана: бессмысленна насилий власть — лишь выворот обмана.

Молчишь, старик? А где же — суть победы над собою?.. Пусть сапогами понесут сознание — судьбою...

Кого-то вниз, кого-то ввысь, кому-то — глухо — плаха. Но — неопровержима мысль не ведающих страха.

Глаз безграничности открыт, внимает глаз пространств: как — исходя из разных стран, срываясь с их орбит,

сквозь дали выдуманных лет на неизбежный суд сполохи мыслей — «да» и «нет» идут... идут...

1952 rog

### МОЛЧАНИЕ

Не верь ни другу, ни жене, ни матери родной. В испепеляющем огне не будь самим собой. Душой скитайся одинок, пусть плещет через край, но истины святой глоток бумаге не вверяй.

Сказав однажды в небеса, что жизнью правит ложь, ты переделаешься сам и сам не разберешь,

как проболтаешься во сне и выдашь все мечты: и скоро в собственной жене врага узнаешь ты.

С тобой деливший кров и кровь окопный старый друг от нескольких правдивых слов придет в такой испуг,

что выдаст ради живота, спасая свой приют. И увезут тебя в места, где пляшут и поют.

И проклянет старуха мать зачатья чудный миг и что не научила лгать твой первый детский крик,

и сыну скажет твоему: «Был рыцарем отец, под мельничным крылом ему смешной пришел конец.

Он строил сказки для тебя. В миражах он кружил. Я говорю тебе, любя, молчаньем — дорожи.

Ты прокляни миров простор, наш мир — еда, семья...» И станет сын стрелять в упор, лишь только встану я.

И станет вдруг сосед седым, за спину встанет вдруг, чтобы не первым, а вторым его замкнулся круг.

Но крикну я в последний миг, душой звеня в зенит, и новорожденный мой крик вкруг шара полетит...

Страницы чистых облаков пойдут из края в край, а ветер вечности легко напишет:

Доверяй!

1952 rog

# ПИСЬМО ИЗ «ЧЕРНОГО МЕДАЛЬОНА»

Ты не вспоминала той ночью обо мне: шла бомбежка, город был в огне...

Вспомнил я тогда тебя и город, оттого и — не заледенел: сосны выворачивал под корень, встряхивал окопы артобстрел...

Свист и дрожь, а взрыва — нет во мраке, так бывает тоже на войне: не под знаменем, не первым, не в атаке, без приказа — взброшен

к вышине...

Падал, на полмира — падал снег: без вести исчезнул человек.

А туча дальше мчалась, не переставая сеять ложь, что я — оставил бой: хлопья подозрительною стаей над твоей кружатся головой...

Что ж ты стынешь, как — глухонемая? Ну очнись,

хоть на короткий миг: это ведь не руки поднимают, это лишь поземка обвивает... Но.

как — взрыв, твой одинокий вскрик.

Городское эхо, дрогнув над тобой, тихо двери открывает: не

домой.

И не вскрикивай ты более во сне: ты — с другим. Но если —

белый снег? Если неотступна — туча снеговая?.. «Снова — эти руки!

Об... нимают!» Кулачок твой вздернут к вышине...

А мне смешно, что ты торопишься

к весне:

снег сжимается,

но — талая вода

корни пробуждает,

и тогда —

с неба синего

таким родным приветом —

тянутся к тебе порывы

веток...

Стаял снег. Но черная вода взламывает почки,

и тогда:

в нашем парке — аккуратные растения, что ж ты вздрагиваешь

от прикосновения, разве зелень соткана из снега?..

Молния!.. И следом — грохот с неба. Стылый дождь.

И в сумеречной мгле:

стыд —

1

на перечеркнутом стекле.

Сердце этой пытки не выносит. Больно мне, что ты стремишься —

в осень:

ведь частота листвы

и тихий спад осенний —

точно снег.

И нет тебе спасенья.

Успокойся. Примирись со мною: злые слухи —

снегом перекрою,

черным снегом -

фронтовых полей,

чистым снегом -

гибели

моей.

1952 roq

## БЛАГОДАРНОСТЬ

зэка П.И.Набоков лагерный № АК-127

Благодарю, что из предубежденья долбили Вы: «Доверив, проверяй!», что — в пику Вам, в шестом году с рожденья, я искренне в земной поверил рай.

Под лозунгом, но лозунгов помимо, душа рвалась — на самый светлый путь, и — разрывалась... Но — неутомимо за горизонт хотел я заглянуть...

С горы скользнуть — меж створками стальными! И — проскользнул... В бордовую зарю. За все общения стихов с глухонемыми, за все театры Вас благодарю:

где подлый обвинял невиноватых; где женщин под винтовками вели; где ржали представители усатых над теми, кто еще не расцвели;

где, ради Вас, святое шло в растрату; где били в пах, а схватывало дых; где самый черный день провозглашен был датой наисветлейшей в обществе слепых...

Благодарю, что далей вняв пунцовость, не зазвенел в пристяжке бубенцом, и что, лишенный Вашего «отцовства», пошел по снегу следом за отцом...

Благодарю, что Север стал мне ближе, что полюс вечности уже не за горой, что с каждым днем я становлюсь все ниже и каждый день здороваюсь с зарей...

Благодарю, что в мареве мороза я загораю, втиснутый в загон, что в ледяном огне туберкулеза не выгорает внутренний огонь...

Благодарю, что стать у ямы тошно и что, постигнув идольный Восток, я Вас постиг... Благодарю за то, что я окажусь в земле — не одинок...

Благодарю, что, сжив меня со света, Вы помогли отхаркнуть этот стих, и я его от нашего совета успел Вам в благодарность принести...

Прости, строка!.. Молить я буду бога, чтоб Вы в аду рассказывали всем, как в рай ушел проверенный Набоков, он — не мишень — АК-127.

1953 rog

### СЕВЕРНАЯ СКАЗКА

Грубыми руками на тюремный стол опущу, как камень, этот стих простой...

Не беда, что — горше от наивных слов: радости — не больше у сирот и вдов.

Но суровость наша им помочь должна: в День рожденья— чаша выпита до дна... Пусть, завесив двери, дома вспомнят нас, мама пусть доверит доченьке рассказ:

Есть страна такая высота и ширь, как медведь— большая белая Сибирь...

В сером небе замок тлеет изо льда, царствует в нем Зависть — Темная Беда...

День и ночь тоскует, копит злобу лет, белым ветром дует на весь белый свет...

Чтоб остекленели в завязях плоды, завистью болели поросли беды...

Чтоб сердца во власти ледяной пыли стали черной масти у детей Земли.

А когда, вслед папы, маму от ворот заметут этапы, пусть... Луна взойдет!

Обелиском — пламенных, слитных наконец, папиных и маминых ледяных сердец.

1953 rog

#### НАПИСАННОЕ ЗАРАНЕЕ

И заранее призванный, и заранее избранный, и заранее признанный, и заранее изгнанный,

> не желаю заранее глухнуть в мраморе заживо, не хочу я всех ранее счастья общего нашего.

Не мечтаю быть избранным, не мечтаю стать признанным, но мечтаю до тризны я сердце дочиста вызвонить

там, где мир переменчивый бьет копытами в душу, где «звездою отмеченный» надрывается: — Слушай!

Не сгибайся загубленный, собирайся разрубленный, и разбитые губы пусть отзвенят медью трубной...

А потом пусть растаю я без конца и начала, только б стая за стаею сквозь меня пролетала — краснозвездные лавы,

наклоненные пики, блеском сабельной славы освещенные лики...

> Обвиненные в подлости, в лоб пробитые в погребе, погребенные подлыми, не отмщенные полностью.

Не мечтаю заранее стать землей или облаком, не хочу я всех ранее благодарственных откликов,

только б мир перекованный мчал галопом сквозь душу, и, звездою таврованный, мог я выкрикнуть:— Слушай!

Даже если попытка, и — взлетаешь на воздух через пики и пытки, через тернии — к звездам, но не к злобе кромешной, не обманутым заново, не к божественным... грешным, как рассветное зарево. Подлость рухнет, расколется. Кто там — в вечности стонет?

Подлость рухнет, расколется. Кто там — в вечности стонет? Топот ширится, полнится! Мрамор — дорого стоит.

1955 год

# СВЕТЛАНА ШИЛОВА

СВЕТЛАНА ИВАНОВНА ШИЛОВА (РОД. 1929). ХУДОЖНИЦА. АРЕСТОВАНА В ЯНВАРЕ 1950 ГОДА. В ЗАКЛЮЧЕНИИ НАХОДИЛАСЬ ДО СЕРЕДИНЫ 1953 ГОДА В ПОТЬМЕ. СТИХИ РАНЕЕ НЕ ПУБЛИКОВАЛА

#### ПЕСНЯ ПРО СТАРУШКУ

Мы шли на шмон, а впереди старушка мешок с имуществом несла. Шмональщик вытряхнул оттуда Два старых черных сапога,

Еще какие-то лоскутья. Затрепыхавшись на ветру, Как лагерные старые знамена, Они упали на траву.

Он бросил ей мешок пустой, Когда закончил «кутерьму», И бабушка обратно положила Всю эту выцветшую ерунду.

А я ее спросила: «За что попали вы в тюрьму? Вы Родине, что ль, изменили Иль дали сведенья врагу?»

А бабушка была шутницей И шуткой лагерной ответ дала: «Я, мол, за Троцкого, за Рыкова Да за царя Петра Великого!» И так, смеясь беззубым ртом, Она из года в год Несет свое имущество Сквозь бурю исторических невзгод.

1951 roq

#### БЕЗЫМЯННАЯ МОГИЛА

#### Песня

Укатала особая тройка, Закатила в свои лагеря, И заочно меня окрестила: Вместо имени номер дала.

И ходила я там, стеная, Ах, за что мне такая судьба? Я совсем ведь еще молодая, А на воле бушует весна...

Но любовь тоже ходит по тюрьмам, Зажигая собою сердца, И я, двести тридцать четыре, Полюбила — шестьсот тридцать два.

А кругом лишь одни сторожа, Целоваться с любимым нельзя. Мы дарили улыбки свои... И писали стихи о любви.

### Припев:

А любовь в тюрьме — нежней, А любовь в тюрьме — светлей, Потому что там ей больней... Потому что там ей трудней...

Мы искали на небе звезду, Обращали свою к ней мольбу; Не угнали бы нас на этап, Не расстаться внезапно вот так!

Но звезда та была холодна... Раскрутились тюрьмы жернова,

Он истаял, сгинул, мой милый, Не дождался свободного дня.

Литургию пропела тайга, И апрель совершил там помин, И горела свечою звезда... Потихоньку сказала — аминь!

А любовь я свою затаила, Золотым я ключом заперла... И лежит в безымянной могиле Мой любимый — шестьсот тридцать два.

## Припев:

А любовь в тюрьме — нежней, А любовь в тюрьме — светлей, Потому что там ей больней, Потому что там ей трудней!

1952 rog

## ПОСВЯЩЕНИЕ

Романс

Я помню день, когда нас разлучили, Когда меня угнали на этап... Но я тогда еще не знала, Что ты остался умирать...

А синева небес блистала, И позолотой плакал лес. Конвой кричал, и даль дрожала, Готовая меня... унесть...

Колеса бешено стучали, И за решеткою неслись леса, И тысячи берез нас разлучали, И слышались прощальные слова:

«Всегда твой друг, твой друг навеки... Прошу — меня не позабудь... Я буду жить тобой в разлуке... И небо о тебе молить...» Куда несут меня колеса, В какие дальние края? Где ждут меня совсем другие, Другие... новые друзья.

А он останется в березках... Развеет ветер сон любви... И неоплаканной могилой Закончатся твои пути...

А ветер, облетев планету, Вернется, может быть, туда И в тех краях, где спит любимый, Вспомянет прошлые года...

Эй, ветер, ты ему напомни, Что есть еще одна душа, Что плачет, плачет и рыдает И поминает на земле тебя!

А он хотел ведь так немного! Немного хлеба и любви... И до родимого порога Хоть как-нибудь, но добрести...

А он останется в березках. Развеет время сон любви. И не найдут твоей могилы Мои пунцовые цветы...

1953 год. Потьма

# АЛЕКСАНДР ТРИШАТОВ

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ТРИШАТОВ (ДОБРОВОЛЬСКИЙ)
(1886—1965). ПИСАТЕЛЬ. ПЕЧАТАЛСЯ ДО РЕВОЛЮЦИИ
И В 1920-Е ГОДЫ. ЗАТЕМ ОТОШЕЛ ОТ ЛИТЕРАТУРЫ, БЫЛ СЛУЖАЩИМ,
БИБЛИОТЕКАРЕМ. АРЕСТОВАН В 1948 ГОДУ
ПО ДЕЛУ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА.
ДО 1954 ГОДА ОТБЫВАЛ СРОК В ПОТЬМИНСКИХ ЛАГЕРЯХ.
СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ,
РАНЕЕ НЕ ПУБЛИКОВАЛИСЬ

#### МУЗА

Больной... А утром шел этап. Среди мешков, узлов, котомок, Нечеловечески устав, Мы все попадали, как кто мог.

Я не уснул. Живой едва... (Не выдержу такого груза.) Меня позвали: — Батя! К вам! — В дверях в барак стояла Муза.

## АНТИГОНА

Все отняли, что могли отнять. Конченный, забытый, чуть живой я... Вдруг я понял. Около меня Кто-то есть. Я не один. Нас двое.

Кто-то поднял с пола и земли, И повел, и стал поводырем мне. И слова, как крылья, повлекли Все сильней, все шире, все огромней. «Обопритесь на меня легко. Вот рука моя, плечо и шея. Я всегда была от вас так далеко, В жизни вашей вам мешать не смея.

Кончилась отверженность моя. Дочь опять вернулась в отчье лоно. О Отец! Пойдемте! С вами я. Ваша Песня, ваша Антигона».

# два поэта

Как только ночь, из той неведомой страны, Где мужи доблестны и жены величавы, Будя видения и разгоняя сны, Спешит, торопится ко мне поэт курчавый.

Часы безумств крылаты и легки, Они как пламенник веселью дружбы служат. И я не свой, когда две тени — две руки Венком мне голову окружат.

Я знаю, я других не соберу венков, Мне лавр назначенный в своем краю увянет. К прилавку книжному из-за моих стихов, Тесняся и шумя, толпа стоять не станет.

Не будет сладость их никем оценена, Не будет узнана их тайна и удача. Из русских девушек, я знаю, ни одна Не вспыхнет, их как счастье пряча.

Так никому пою... И все ж неповторим Тот миг. Кончается к утру беседа наша, И — два поэта — мы друг другу говорим, Когда прощаемся: «Прощай, мой милый Саша».

#### ЛАГЕРЬ

Я вышел. Тихо. Ночь кругом. Спят все, и грешный, и проклятый... И я шепчу: — Ночь тоже дом. Войди сюда. Здесь у себя ты. Пусть длится продолженье дня — Огни, горящие по зоне. Они не страшны для меня, Их свет в нездешнем свете тонет.

Сейчас все эти дали, лес, Лежат, окутанные снами. И только «ШИРШАЯ НЕБЕС» Скорбит и молится над нами.

Когда на Руси построяли Иль крепость, иль Кремль, или храм, Живое, чтоб крепче стояли, Вмуровывали по углам.

Случилось кому появиться, Тут жалобы не помогли б. Будь отрок, жена ли, девица, Кто встретился, тот и погиб.

Сейчас создается эпоха, И в низ ее — в щебень и в бут, Чтоб здание вышло неплохо, Живых миллионы кладут.

Мы схвачены — злой и невинный. За что? Пусть Господь разберет. И движется длинный-предлинный Наш, к гибели нашей, черед.

Но, брат мой, вмурованный в камень, Пойми, мы недаром легли, Мы то, чем крепится фундамент Всей будущей жизни земли.

# СУД

Я был в доме глух, я был в храме нем. Сердцу слабому грудь не крепка. Не крестили меня крестным знаменем С неба белые облака. Я, хромая, прошел путь знания. Я не спрашивал, что там. Я чужие давал названия Птицам, радостям и цветам.

Не звучал для меня как счастие Мировых голосов хорал. Я священнейшее причастие В искривленные губы брал.

Не простер к Тебе, Матерь, длани я И Твой Сын не прильнул ко мне. Человеческого желания Я не дал ни одной жене.

Грех последнего преступления Я в себе побороть не смог. Дар, как гром говорящего пения, Я зажал, завернув в платок, Чтоб не ринулось ко мне Слово — Огнезрачное колесо.

Вот такого-то, вот такого И судило меня ОСО.

#### БОЛЬ

Здесь, в невеселом нашем доме, Меня утешил звук знакомый: Стишок, припомнившийся мне: «Поглубже в сон, поближе к дому».

Пусть нет конца моей беде, Я все твержу четыре слова, И вот, не различаю, где Бараки, зона, лес сосновый...

От слов, от ссор, от работяг, От злобы, от вражды к другому... Не слушай, отдохни, приляг, Поглубже в сон, поближе к дому.

Рукой недоброй и лихой Мне жизнь очерчена по краю. Я болен. Я совсем плохой. Я чувствую, что умираю.

Но холодеющий. В бреду. Скажу, переборов истому: «Не трогай, смерть. Я сам пойду Поглубже в сон. Поближе к дому».

#### ПЕСНЯ

Милый, милый, кудрявый мой, Русский весь, как приокские села, Как орешника прут — прямой, Как на Троицу звон — веселый.

Так лишь ветер бежит по овсам, С неба золото солнца роняя. Вторя радостным голосам, Шел ты, молодость обгоняя.

Почему же так ночь страшна И откуда беда явилась? Как дитё на руках колдуна, В черных лапах душа забилась.

Кто созвал их? Кого только нет! Бестелесных, бескостных, бескрылых... Или он — голубой твой свет Над могилами взвил и взмыл их?

И пошла и пошла кутерьма По дворцам, кабакам и залам. За поэтом не Муза, а Тьма, Не с лицом, а с одним оскалом.

И поет она ртом без губ, И поет так, что сердце щемит... Не гляжу, не хочу, не могу... Только б слушать и плакать со всеми.

И проходят в слезах и в цветах Тени близких, любимых и милых, И встает та, что с детства свята, Та, что в горести сердце прямила.

Хоры ангелов входят в твой сад, Божьи солнца с тобою играют, И весь мир оглянулся назад К твоему, в белых яблоках, раю.

Пой же, пой... Он и пел бы еще, Да сведенные губы немеют. Видишь, черный за левым плечом Сзади пальцами меряет шею.

И в гостинице «Англетер», Меж лакеев, маркеров с киями, Как сквозь строй модных денди и стерв, Русский мальчик бредет к своей яме.

## **CAMCOH**

Среди других там был монах, Совсем в рембрандтовских тонах. От бороды, волос и рта Сплошная черная черта. Он ничего не ел, не пил. «Ваш суп Антихрист окропил»,— Он говорил, И шел библейский гул От раздвигаемых им скул.

Вошли. «Который здесь Кудлай?» — «Чего молчишь?» —

«А ну слезай!!» И шепот шел среди людей: «Сейчас возьмут его в кандей».

Мы все как были обмерли, Когда его в барак ввели. Бледней, чем самый белый мел, Кругом обритый, как яйцо, Чужое, не его лицо. 

#### НАШ БАРАК — «СЛАБОСИЛОВКА»

Кем был ты раньше, не все ль равно! Здесь всем нам крышка. Куда ни взглянешь, везде одно — Забор и вышка.

Однообразней не повторишь, Как друг за дружкой Уходят скаты барачных крыш Под «финской стружкой».

Проснулся лагерь. Пробил «подъем», Плещись у крана, А сзади слышно: «Забьем, забьем», Иль: «Добре рано».

Пришел с поверки, на койку сел. Кричат: «По новой». А там, как белка в колесе, Маршрут к столовой.

Воды хватает. Съешь миски три, А после пухни. Посылку маешь? — Обед вари В китайской кухне.

Тоска барака. Куда пойти? Бульвар из прутий. И липки гнутся, и пыль летит, И ветер крутит.

Прочти газетку в КаВеЧе, Помойся в бане, Глядишь, а день и протече, Другой настанет.

Так жизнь мелькает (подъем — отбой) Людских отребий. Зачем досталось и нам с тобой Делить их жребий?

## ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП

Отрывок

И не минует нас. И будет и придет День неизбежный, час зловещий. Фамилии прочтут, и голос проорет: «Товарищи, сдавайте вещи».

Чуть утро вспухшее, от плеч роняя мрак, Кругом означится чертой у небосклона, Как мы спешим толпой, покинувши барак, Туда, где строится колонна.

С другими в ряд... Пошли. Назад глядеть нельзя. Охрана по бокам, и путь один — к воротам. Скажи же, сердце, мне. Что ты велело взять? Что в вещевой мешок мне положило? Что там?

Моет пол ночной дневальный. Все затихло. Спит больница. «Если б мне уснуть,— зову я.— Сон, больного оживи». Наконец я засыпаю. Я заснул, и вот мне снится: В двери входит император, весь забрызганный в крови.

Он руки моей коснулся и сказал мне в утешенье, Прежде чем совсем растаять, прежде чем уйти из глаз: «Я больному — исцеленье, заключенному — спасенье. Мне молитесь. Я предстатель и молитвенник за вас».

Я проснулся, оглушенный звонкой дробью барабана, Императорским парадом на Царицыном лугу. Полосатые шлагбаумы. Волны желтого тумана. Государева столица в мокром мартовском снегу.

В Петербурге что творится? Что гвардейцы побледнели? Отчего печальны люди? Отчего на лицах страх? Отчего Святой Архангел в черной каске и шинели Сам сегодня стал на стражу, сам сегодня на часах?

Император, в вашем замке цвета крови и брусники, В ваших залах опустевших мир усопшему поют. Слышите ль вы эти стоны? Слышите ль вы эти крики? Император! Император! Этой ночью вас убьют!»

Я проснулся— спит Россия. Пусть она во сне увидит Все концы свои, просторы... Лагеря и лагеря. Всех детей своих невинных в смерти, скорби и в обиде, Миллионы, миллионы— за убитого царя.

# УТРО ПОХОРОН В ОЛАГЕ

Я умер, и я вижу, мама Пришла в наш лагерь, на кладбище, И ходит, плачет: «Саша милый, Где ты? Как мне тебя найти?..» Как мне сказать ей — вот я самый, Твой сын, которого ты ищешь. Мою бескрестную могилу Своей рукой перекрести.

Умершего в стационаре... (Что безучастней, что грубее?) Его проводят глум и злоба, Бесчестя Божьего раба. Но вот я слышу голос Вари: «Мой брат, все принесла тебе я, Свечу умершей, креп от гроба И венчик, что сняла со лба».

Тень целованья, отсвет грусти — Душе... А гроб такой-то номер, Там кто-нибудь из санитаров На вахту, матерясь, припрет. Надзор не сразу всех пропустит. Что для него, что кто-то помер? Сначала тех повозок пару, Хлеб... бочки... Все других черед.

Потом пойдут бригады мимо, Косясь на мой дощатый ящик, Его стараясь не заметить. Развод окончен. Все прошли. И никому не будет зримо, Что Божья Матерь Всех Скорбящих Сошла сюда, чтоб доски эти Зарей небесной застелить.

## ПОСЛЕДНЕЕ

Не вол и не орел, не лев Меня стихам тем научили. Я их нашел, как бы прозрев, Без человеческих усилий.

И мне осталась навсегда Непостижимой тайна эта. Дрожи. Нарушит Бог когда Косноязычие поэта,

Тогда стихи идут на лист, Разя, как меч, кипя, как рана. Так написал евангелист Евангелье от Иоанна.

#### ГОСТЬ

Я в комнату твою стучался. В твое окно. Жена тебе сказала: «Милый, мне холодно. Наверно, форточка открылась. Встань, затвори». А это я прошел сквозь стену и был внутри.

Я здесь. Я тенью пальцев трогал вещей края, Картины, книги, платье, обувь. Твою рояль. Я тенью сердца плакал тише, чем дрожь в листве. Жена сказала: «Янко, слышишь? Скорей дай свет!»

Ты встал. Потом провел рукою по волосам. «Придет же в голову такое. Не знаю сам. Поверишь, Оля»! —

«Что? Мне страшно».— «Да нет, пустяк.

Я вдруг подумал, здесь Тришатов,

у нас в гостях!»

# ДАНИИЛ АНДРЕЕВ

ДАНИИЛ ЛЕОНИДОВИЧ АНДРЕЕВ (1906—1959).
ПОЭТ И ФИЛОСОФ. СЫН ПИСАТЕЛЯ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА.
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
АРЕСТОВАН В 1947 ГОДУ. В ЗАКЛЮЧЕНИИ НАХОДИЛСЯ
ДО 1957 ГОДА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ТЮРЬМЕ.
ПРИ ЖИЗНИ СТИХИ НЕ ПУБЛИКОВАЛ.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИМЕЕТСЯ РЯД ПУБЛИКАЦИЙ,
НО ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЕГО ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ОСТАЕТСЯ НЕИЗВЕСТНОЙ. СТИХИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВДОВОЙ ПОЭТА А. А. АНДРЕЕВОЙ.
ВСЕ ПЕЧАТАЕМЫЕ СТИХИ НАПИСАНЫ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ТЮРЬМЕ,
ЧАСТЬ ИЗ НИХ ПУБЛИКУЕТСЯ

## ДЕМОНЫ ВОЗМЕЗДИЯ

Город. Прожектор. Обугленный зной. Душная полночь атомного века. Бредит под вздрагивающей пеленой Поздних времен самозванная Мекка.

Страшное «завтра» столице суля, Бродят они по извивам предчувствий Пурпуром в пятизвездье Кремля, Ужасом в потаенном искусстве.

И, перебегая по мысли огнем, Вкрадываются в шелестящие слухи, Множатся к вечеру, прячутся днем — Хищны, как совы, и зорки, как духи:

— Слушай!
В испепеляющий год
С уст твоих сорваны будут печати.
В страшное время — в страшный народ
Выйдешь на беспощадном закате.

Но не ропщи, как слепец, на судьбу, На ратоборство гигантов не сетуй. Только Звездою Полынью в гробу Души пробудятся нашей кометой! 1949 год

#### **PA3MAX**

Есть в медлительной душе русских Жар, растапливающий любой лед: Дно всех бездн испытать в спусках И до звезд совершать взлет.

И дерзанью души вторит Шквал триумфов и шквал вины,— К мировому Устью истории Схожий с бурей полет страны.

Пламень жгучий и ветр морозный, Тягу — вглубь, дальше всех черт, В сердце нес Иоанн Грозный, И Ермак, и простой смерд.

За Урал, за пургу Сибири, За Амурский седой вал, Дальше всех рубежей в мире Рать казачью тот зов гнал.

Он гудел — он гудит, бьется В славословьях, в бунтах, в хуле, В огнищанах, в землепроходцах, В гайдамацкой степной мгле.

Дальше! дальше! вперед! шире! Напролом! напрорыв! вброд! К злодеяньям, каких в мире Не свершал ни один род;

И к безбрежным морям Братства, К пиру братскому всех стран, К солнцу, сыплющему богатства Всем, кто не́зван и кто зван!.. Зов всемирных преображений, Непонятных еще вчера, Был и в муках самосожжений, И в громовых шагах Петра.

И с легенд о Последнем Риме, От пророчеств во дни смут, Все безумней, неукротимей Зовы Устья к сердцам льнут.

Этот свищущий ветр метельный, Этот брызжущий хмель веков — В нашей горечи беспредельной И в безумствах большевиков.

В ком зажжется другим духом Завтра он, как пожар всех? Только слышу: гудит ру́хом Даль грядущая — без вех.

1950 rog

#### ТЮРЬМА НА ЛУБЯНКЕ

Нет,

Втиснуть нельзя этот стон, этот крик В ямб:

Над

Лицами спящих— негаснущий лик Ламп.

Дрожь

Сонных видений, когда круговой Бред

Пьешь.

Пьешь, задыхаясь, как жгучий настой Бед.

Верь:

Аязгнут запоры... Сквозь рваный поток Снов

Дверь Настежь— «Фамилия!»— краткий швырок Слов,— Сверк

Грозной реальности сквозь бредовой Мрак,

Вверх

С шагом ведомых совпавший сухой Шаг.

Стиск

Рук безоружных чужой груботой Рук,

Визг

Петель и — чинный, парадный — другой Круг.

Здесь

Пышные лестницы; каждый их марш Прям.

Здесь

Вдоль коридоров — шелка секретарш-Дам.

Здесь

Буком и тисом украшен хитро Лифт...

Здесь

Смолк бы Щедрин, уронил бы перо Свифт.

Δым

Пряно-табачный... улыбочки... стол... Труд...

Дыб

Сумрачной древности ты б не нашел Тут:

Тишь...

Нет притаившихся в холоде ям Крыс...

Лишь

Красные капли по всем ступеням Вниз.

Гроб?

Печь? Лазарет?..— Миг — и начисто стерт След,

Чтоб

Гладкий паркет заливал роковой Свет.

1951 rog

# ПРАВЕДНИКИ ПРОШЛОГО

Триптих

1

Я люблю направлять наши мысленные Лебединые вольные взлеты В неисхоженные, неисчисленные Чернолесья, урманы, болота.

Тишь ли это, веками намо́ленная, Дух костров ли, и чистый, и едкий,— Только видятся срубы просмоленные, Где спасались великие предки.

Где, скитаясь дремучею родиною, По суземищам крепь засевая, Снеговая, босая, юродивая, Тихо строилась Русь лесовая.

Малый колокол перед заутренею Тонким голосом звякал на тыне — Возвещение подвига внутреннего, Освященье звериной пустыни.

Благовоньем стезю оторачивая, Колыхались сосновые вайи, Многострастную горечь осадчивую С истончаемых душ овевая.

И у рек студенцовых, меж ельниками, Сквозь прокимны, и свечи, и требы, Тихо-тихо скользил пред отшельниками Край иной, совершенный, как небо.

Он просвечивал над мухоморниками, На лужайках, на ульях, на просе; Он ласкал с мудрецами-затворниками Толстогубых детенышей лося.

Сквозь таежные дебри сувоистые Не вторгались ни гомон, ни топот В это делание высокосовестное, В духовидческий огненный опыт. Они молились за многошумное Племя, бушующее кругом, За яростных ратников битв безумных, За грады, разрушенные врагом.

Они молились о крае суровом, Что выжжен, вытоптан и обнищал; О скорби, встающей к тучам багровым Из хижин смердов и огнищан.

Они молились за тех, чьи рубища— В поту работы, в грязи дорог; О бражниках по кружалам и гульбищам, О ворах, вталкиваемых в острог.

О веке буйном, о веке темном, О горе, легшем на все пути, О каждом грешном или бездомном Они твердили: «Спаси. Прости!»

Они твердили, дотла сжигая Все то, что бренно в простой душе, И глухо, медленно жизнь другая Рождалась в нищенском шалаше.

Их труд был тесен, давящ, как узы, До поту кровавого и до слез; Не знают такого страшного груза Ни зодчий, ни пахарь, ни каменотес.

И мощь, растрачиваемую в раздолье На смены страстные битв и смут, Они собирали до жгучей боли В одно средоточье: в духовный труд.

#### Ш

И гудели вьюжными зимниками Боры в хвойные колокола... Преставлялись великими схимниками Истончившие плоть дотла;

Поднимались в непредставляемую, Чуть мерцавшую раньше синь, Миллионами душ прославляемую Из лачуг, из дворцов, пустынь;

Исполнялись силой сверхчувственною, Невмещаемую естеством, Мировою, едва предчувствуемою На широком пути мирском;

Обращались долу— в покинутую, Обесчещиваемую страну, Обескрещиваемую, отринутую За таинственную вину;

Братски связывались усилиями — Тем усильям прозванья нет,— Серафическими воскрылиями Простирались над морем бед,—

Душу бурной страны рождаемую Ризой солнечною убеля У взыскуемого, созидаемого, У Невидимого Кремля.

1951 roq

## ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ

Во имя зодчих — Бармы и Постника

На заре защебетали ли По лужайкам росным птицы? Засмеявшись ли, причалили К солнцу алых туч стада?.. Есть улыбка в этом зодчестве, В этой пестрой небылице, В этом каменном пророчестве О прозрачно-детском «да».

То ль — игра в цветущей заводи? То ль — веселая икона?.. От канонов жестких Запада Созерцанье отреши: Этому цветку — отечество Только в кущах небосклона, Ибо он — само младенчество Богоизбранной души.

Испещренный, разукрашенный, Каждый столп — как вайи древа; И превыше пиков башенных Рдеют, плавают, цветут Девять кринов, девять маковок, Будто девять нот напева, Будто город чудных раковин, Великановых причуд.

И, как отблеск вечно юного, Золотого утра мира, Видишь крылья гамаюновы, Чуешь трель свирели,— чью? Слышишь пенье алконостово И смеющиеся клиры В рощах праведного острова, У Отца светил, в раю?

А внутри, где радость начисто Блекнет в сумраке притворов, Где от медленных акафистов И псалмов не отойти — Вся печаль, вся горечь ладана, Покаяний, схим, затворов, Словно зодчими угадана Тьма народного пути.

Будто чуя слухом гения Дальний гул веков грядущих, Гром великого падения И попранье всех святынь, Дух постиг, что возвращение В эти ангельские кущи — Лишь в пустынях искупления, В катакомбах мук.— Аминь.

1950 rog

## ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТЕАТРУ

Порой мне казалось, что свят и нетленен Лирической чайкой украшенный зал, Где Образотворец для трех поколений Вершину согласных искусств указал.

Летящие смены безжалостных сроков Мелькнули, как радуга спиц в колесе, И что мне до споров, до праздных упреков, Что видел не так я, как видели все?

В губернскую крепь, в пошехонскую дикость Отсюда струился уют очагов, Когда единил всепрощающий Диккенс У пламени пунша друзей и врагов.

То полу-улыбкою, то полусмехом, То грустью, прозрачной, как лед на стекле, Здесь некогда в сумерках ласковый Чехов Томился о вечно-цветущей земле.

Казалось, парит над паденьем и бунтом В высоком ката́рсисе поднятый зал, Когда над растратившим душу Пер Гюнтом Хрустальный напев колыбельной звучал.

Сквозь брызги ночных, леденящих и резких Дождей Петербурга, в туманы и в таль Смятенным очам разверзал Достоевский Пьянящую глубь — и горящую даль.

Предчувствием пропасти души овеяв, С кромешною явью мешая свой бред, Здесь мертвенно-белым гротеском Андреев На бархате черном чертил свое «нет».

Отсюда, еще не умея молиться, Но чая уже глубочайшую суть, За Белою Чайкой, за Синею Птицей Мы все уходили в излучистый путь.

И если театр обесчещен, как все мы, Отдав первородство за мертвый почет, Он был — и такой полнозвучной поэмы Столетье, быть может, уже не прочтет.

1950 rog

#### В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ

Смолкли войны. Смирились чувства. Смерч восстаний и гнева сник. И встает в небесах искусства Чистой радугой — их двойник.

Киев, Суздаль, Орда Батыя— Все громады былых веков, В грани образов отлитые, Обретают последний кров.

От наносов, от праха буден Мастерством освобождены, Они — вечны, и правосуден В них сказавшийся дух страны.

Вижу царственные закаты И бурьян на простой меже, Грубость рубищ и блеск булата, Русь в молитвах и в мятеже;

Разверзаясь слепящей ширью, Льется Волга и плещет Дон, И гудит над глухой Сибирью Звон церквей — и кандальный звон.

И взирают в глаза мне лики Полководцев, творцов, вождей, Так правдивы и так велики, Как лишь в ясном кругу идей.

То — не оттиски жизни сняты, То — ее глубочайший клад; Благостынею духа святы Стены этих простых палат. Прав ли древний Закон, не прав ли, Но властительней, чем Закон, Тайновидческий путь, что явлен На левкасах седых икон.

В шифрах скошенной перспективы Брезжит опыт высоких душ, Созерцавших иные нивы— Даль нездешних морей и суш.

Будто льется в просветы окон Вечный, властный, крылатый зов... Будто мчишься, летишь конь о конь Вдаль, с посланцем иных миров.

1950 roq

#### У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ

Повеса, празднослов, мальчишка толстогубый, Как самого себя он смог преобороть? Живой парнасский хмель из чаши муз пригубив, Как слил в гармонию России дух и плоть?

Железная вражда непримиримых станов, Несогласимых правд, бушующих идей, Смиряется вот здесь, перед лицом титанов, Таких, как этот царь, дитя и чародей.

Здесь, в бронзе вознесен над бурей, битвой, кровью, Он молча слушает хвалебный гимн веков, В чьем рокоте слились с имперским

славословьем Молитвы мистиков и марш большевиков.

Он видит с высоты восторженные слезы, Он слышит теплый ток ликующей любви... Учитель красоты! наперсник Вечной Розы! Благослови! раскрой! подаждь! усынови!

И кажется: согрет народными руками, Теплом несчетных уст гранитный пьедестал,— Наш символ, наш завет, Москвы священный камень, Любви и творчества магический кристалл.

1950 rog

#### БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Сказание о Невидимом граде Китеже

Темнеют пурпурные ложи. Плафоны с парящими музами Возносятся выше и строже На волнах мерцающей музыки. И, думам столетий ответствуя, Звучит отдаленно и глухо Мистерия смертного бедствия Над Градом народного духа.

Украшен каменьем узорным, Весь в облаке вешнего вишенья,— Всем алчущим, ищущим, скорбным Пристанище благоутишное!.. Враг близок: от конского ржания По рвам, луговинам, курганам, Сам воздух — в горячем дрожании, Сам месяц — кривым ятаганом.

Да будет верховная Воля! Князья, ополченье, приверженцы Падут до единого в поле, На кручах угрюмого Керженца. Падут, лишь геройством увенчаны, В Законе греха и расплаты... Но город! но дети! но женщины! Художество, церкви, палаты!

О, рабство великого плена!
О, дивных святынь поругание!..
И Китеж склоняет колена
В одном всенародном рыдании.
Не синим он курится ладаном —
Клубами пожаров и дымов...
...— Спаси, о благая Ограда нам,
Честнейшая всех херувимов!

Как лестница к выси небесной, Как зарево родины плачущей, Качается столп нетелесный, Над гибнущей Русью маячущий. — О, Матере Звездовенчанная! Прибежище в мире суровом! Одень нас одеждой туманною, Укрой нас пречистым Покровом!

И, мерно сходясь над народом, Как тени от крыльев спасающих, Скрывают бесплотные воды Молящих, скорбящих, рыдающих. И к полчищам вражьим доносится Лишь звон погруженного града, Хранимого, как дароносица, Лелеемого, как лампада.

И меркнет, стихая, мерцая, Немыслимой правды преддверие — О таинствах Русского края Пророчество, служба, мистерия. Град цел! Мы поем, мы творим его, И только врагу нет прохода К сиянию Града незримого, К заветной святыне народа.

1950 rog

## O MOCKBE

Перед близким утром кровавым В тишине свечу мою теплю Не о мзде неправым и правым, Не о селах в прахе и пепле.

Но о ней — о восьмивеко́вой, Полнострастной, бурной, крамольной, Многошумной, многовенцовой, Многогрешной, рабской и вольной!

Ведь любовью полно, как чаша, Сердце русское, ввысь воздето,

Перед каменной матерью нашей, Водоемом мрака и света.

О, достойней есть, величавей Города пред Твоими очами, Жемчуга на Твоей державе, Цепь лампад во вселенском храме.

Но в лукавой, буйной столице, Под крылом химер и чудовищ, До сих пор нетленно таится Наше лучшее из сокровищ:

Поколений былых раздумья, Просветленных искусств созданья, Наших вер святое безумье, Наших гениев упованья,

Смолкший звук песнопений, петых В полумраке древних святилищ, Правда мудрых письмен, согретых Лаской тихою книгохранилищ...

Не кропи их водою мертвой! Не вмени нам лжи и подмены! Опусти святой омофор Твой — Кровлю мира — на эти стены!

1952 год

Ткали в Китеже-граде, Умудрясь в мастерстве, Золоченые пряди По суровой канве.

Вышивали цветами Ослепительный плат Для престола во храме И для думных палат.

Но татарские кони Ржут вот здесь, у ворот. Защитить от погони Молит Деву народ.

И на дно голубое, В недоступную глушь, Сходят чудной тропою Сонмы праведных душ.

Там служенья другие, У иных алтарей, Там вершит литургию Сам Исус Назарей...

Недовышит и брошен Дивный плат на земле, Под дождем и порошей, В снежных бурях и мгле.

Кто заветные нити Сохранил от врага — Наклонитесь! падите! Поцелуйте снега,

В лоне отчего бора Помолитесь Христу, Завершайте узоры По святому холсту!

\* \* \*

1950 rog

Про всенародное наше вчера, Про древность я говорю. Про вечность. Про эти вот вечера, Про эту зарю.

Про вызревающее в борозде, Взрыхленной плугом эпох, Семя, подобное тихой звезде, Но солнечное, как бог.

Не заговорщик я, не бандит. Я — вестник другого дня. А тех, кто сегодняшнему кадит, Достаточно без меня.

1950 rog

Исчезли стены разбегающиеся, Пропали городские зданья: Ярчеют звезды зажигающиеся Любимого воспоминанья.

Я слышу, как в гнездо укладываются Над дремлющим затоном цапли, Как сумерки с лугов подкрадываются, Роняя голубые капли;

Я вижу очертаний скрадываемых Клубы и пятна... мошки, росы... Заречных сел, едва угадываемых, Лилово-сизые откосы;

Возов, медлительно поскрипывающих, Развалистую поступь в поле; Взлет чибисов, визгливо всхлипывающих И прядающих ввысь на воле...

И в грезе, жестко оторачиваемой Сегодняшнею скорбной былью, Я чувствую, как сон утрачиваемый, Своей души былые крылья.

1950 год

Нет, не боюсь языческого лиха я. Шмель, леший, дуб— Мне любо всё,— и плес, и чаща тихая, И я им люб.

Здесь каждый ключ, ручей, болотце, лужица Журчат мне: пей! Кричат дрозды, кусты звенят и кружатся, Хмелит шалфей.

Спешат мне тело — дикие, невинные — В кольцо замкнуть, Зеленым соком стебли брызжут длинные На лоб, на грудь,

Скользят из рук, дрожат от наслаждения, Льют птичий гам,

Касаясь, льнут, как в страстном сновидении, К вискам, к губам,

Живые листья бьют о плечи темные В проемы чащ Кидают по́д ноги луга поемные Медвяный плаш.

Бросают тело вниз, в благоухание, Во мхи, в цветы, И сам не знаешь в общем ликовании, Где — мир, где — ты.

1950 rog

## ГИПЕР-ПЕОН

О триумфах, иллюминациях, гекатомбах, Об овациях всенародному палачу, О погибших и погибающих в катакомбах Нержавеющий и незыблемый стих ищу.

Не подскажут мне закатившиеся эпохи Злу всемирному соответствующий размер, Не помогут во всеохватывающем вздохе Ритмом выразить величайшую из химер.

Этой поступью оглушенному, что мне томный Тенор ямба с его усадебною тоской? Я работаю, чтоб улавливали потомки Шаг огромнее и могущественнее, чем людской.

Чтобы в грузных, нечеловеческих интервалах Была тяжесть, как во внутренностях Земли, Ход чудовищ, необъяснимых и небывалых, Из-под магмы приподнимающихся вдали.

За расчерченною, исследованною сферой, За последнею спондеической крутизной, Сверхтяжелые, трансурановые размеры В мраке медленно поднимаются передо мной.

> Опрокидывающий правила, как плутоний, Зримый будущим поколеньям, как пантеон, Встань же, грубый, неотшлифованный, многотонный

Ступенями нагромождаемый сверхпеон!

Не расплавятся твои сумрачные устои, Не прольются перед кумирами, как елей! Наши судороги под расплющивающей пятою, Наши пытки и наши казни запечатлей!

И свидетельство о склонившемся к нашим мукам

Темном Демоне, угашающем все огни, Ты преемникам — нашим детям и нашим внукам Как чугунная усыпальница, сохрани!

1951 rog

Медленно зреют образы в сердце, Их колыбель тиха, Но неизбежен час самодержца— Властвующего стиха.

В камеру, как полновластный хозяин, Вступит он, а за ним Ветер надзвездных пространств и тайн Вторгнется, как херувим.

Страх, суету, недоверие, горе, Все разметав дотла, Мчат над городами и морем Крылья стиха — орла.

Жгучий, как бич, и легкий, как танец, Ясный, как царь к венцу, Скоро он — власть имеющий — станет С миром лицом к лицу.

Жду тебя, светоча и денницу, Мощного, как судьба, Жду, обесчещен позором темницы, Мечен клеймом раба.

1955 год

Таится дрёмный мир сказаний, Веков родных щемящий зов В нешумной музыке прозваний Старинных русских городов.

О боре сказочном и хмуром, О мухоморах в мягком мху Услышишь память в слове Муром, Приятном чуткому стиху.

Встает простор пустынный, пенный, На побережьях — конский порск, И город бедный, белостенный, Мне в прозвище Белоозерск.

Орлы ли, лебеди ли, гуси ль Ширяли к облаку стремглав От княжьих стрел, от звона гусель У врат твоих, Переяслав?

И слышу в гордом слове Туров Летящих в мрак ветвей и хвой Упрямых, круторогих туров С закинутою головой.

Ветрами чистыми овеян Язык той девственной поры: От песен первых, от церквей он, От простодушной детворы.

И так ясны в той речи плавной Общенья тех, кто речь творил, С Душой народа, юной Навной, Наитчицей творящих сил!

1955 год

#### СКВОЗЬ ТЮРЕМНЫЕ СТЕНЫ

Завершается труд,

раскрывается вся панорама;

Из невиданных руд

для постройки извлек я металл,

Плиты слова, как бут,

обгранил для желанного храма,

Из отесанных груд

многотонный устой создавал.

Будет ярус другой:

в нем пространство предстанет

огромней,

Будет сфера — с игрой

золотых полукруглых полос...

Камня хватит — вдали,

за излучиной каменоломни,

Блеском утра залит

непочатый гранитный колосс.

Если жизнь и покой

суждены мне в клокочущем мире,

Я надежной киркой

глыбы камня от глыб оторву,

И, невзгодам вразрез,

будет радость все шире и шире —

Видеть купол и крест,

довершаемые наяву.

Мне, слепцу и рабу,

наважденья ночей расторгая,

Указуя тропу

к обретенью заоблачных прав,

Все поняв и простив, отдала этот труд Всеблагая, Ослепительный миф —

свет грядущего предуказав.

Нет! не зодчим, дворцы

создающим под солнцем и ветром,

Купола и венцы

возводя в голубой окоем —

В недрах русской тюрьмы

я тружусь над таинственным метром

До рассветной каймы

в тусклооком окошке моем.

Дни скорбей и труда —

эти грузные, косные годы

Рухнут вниз, как обвал —

уже вольные дали видны;

Никогда, никогда

не впивал я столь дивной свободы,

Никогда не вдыхал

всею грудью такой глубины!

В круг последних мытарств

я с народом безбрежным вступаю —

Миллионная нить

в глубине мирового узла...

Сквозь крушение царств

проведи до заветного края,

Ты, что можешь хранить

и листок придорожный от зла!

1956 год

# **ЛЕВ КАРСАВИН**

ЛЕВ ПЛАТОНОВИЧ КАРСАВИН (1882—1952).
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ РУССКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ФИЛОСОФОВ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА, ИСТОРИК.
АРЕСТОВАН В 1950 ГОДУ.
СРОК ОТБЫВАЛ В ИНВАЛИЛНОМ ЛАГЕРЕ В АБЕЗЕ

СРОК ОТБЫВАЛ В ИНВАЛИДНОМ ЛАГЕРЕ В АБЕЗЕ, ГДЕ И УМЕР

Ни воли, мыслей, чувств, ни этих слов Доныне не было еще моих. Откуда же теперь во мне они, Короткие зимы полярной дни? Я был бесчувствен и бездумен, тих В безвидной тьме молчанья своего, Где жизни нет, где нет неясных снов. Возникло все во мне из ничего. Из неразличной тьмы небытия, И, как сменивший ночь недолгий день, В небытие моя вернется тень, Вся жизнь, как сон мелькнувшая, моя. И сам я от нее неотделимый. Не может быть меня без моего. Но были я и мною мир любимый, А более не может быть ничем. Тот мир — не призрак призрака нелепый, Ни тени тень тот я. Но мир прекрасный И совершенный я в не сущей тьме, В которой мой конец и мой исток С моею древностью неразлучимы. Небытие — божественный поток, Незримая безмолвная пучина. В ней мысли нет. Она — ни тьма, ни свет, В ней все одно, она ж всего причина.

(4

#### BEHOK COHETOB

1

Ты мой Творец: твоя навек судьба я. Бессилен я. Былинкой на лугу Подъемлюся, несмело прозябая. Терплю и зной, и снежную пургу.

Всё пригибает долу вьюга злая, Грозится мне, клубя сырую мглу. Но, знаю, я спасти Тебя могу, Хотя — как Ты, всевечный, погибая.

Ведь ты умрешь, в цветении моем Всем став во мне, и всем — как только мною. Тогда восстанет жизнь моя иною. Уж умирает я мое и в нем.

Как пчелы, все кишит, себя роя, Дабы во мне воскресла жизнь Твоя.

2

Дабы во мне воскресла жизнь Твоя, Живу, расту для смерти бесконечной. Так Ты, любовный умысел тая, Подвигнулся на жертву муки вечной.

Не ведал Ты: приять хочу ли я Всю смерть Твою для жизни быстротечной, Постигну ль жизнь, ленивый и беспечный? Нет, Ты не знал, безмолвно кровь лия.

Воскреснешь Ты, найдя в конце начало, Когда умру, Умершего прияв, Начальность превзойдя. Двукрат не прав, Кто тщится вырвать вечной смерти жало.

Мудрее Ты, чем древляя змия: Небытный, Ты живешь во мне, как я. Небытный, Ты в Себе живешь, как я. Тобой я становлюсь ежемгновенно. Что отдаю, меняясь и гния, Всё было мной. А «было» неотменно.

Стремлюсь я, как поток себя струя, И в нем над ним покоюсь неизменно. Весь гибну-возникаю. Переменна, Но неполна, ущербна жизнь сия.

Нет «есть» во мне, хоть есмь мое движенье. Нет «есть» и вне — всё есть как становленье.

Страшит меня незрящей ночи жуть. Боится смерти мысль моя любая, Бессильная предела досягнуть. Ты — свой предел — всецело погибая.

4

Свой Ты предел. Всецело погибая, Всевечно Ты в не-сущий мрак ниспал. Небытием Себя определяя, Не Бытием, а Жизнию Ты стал.

Ты — Жизнь-чрез-Смерть, живешь, лишь умирая.

Но нет небытия: меня воззвал, И я возник, и я Тебя приял, Я — сущий мрак у врат закрытых рая.

А Ты не мрак. Ты — Жертва, Ты —  $\Lambda$ юбовь. Во мне, во всем Твоя струится кровь.

Да отжену отцов своих наследство, Тьму внешнюю (небытность ли ея)! Тьмы внешней нет, а тьма моя лишь средство. Во тьме кромешной быть могу ли я? Могу ль во тьме кромешной быть и я? — Мне кажется: в бездействии коснея, Недвижного взыскуя бытия, Себя теряю, растворяюсь в ней я.

Мне сладостны мгновенья забытья, Когда во тьме мне зрится свет яснее. Но где тогда: во тьме или во сне я? Не меркнет свет во мгле бытья-житья.

Томлюся я бессилием желанья. Своей я тьмы, себя не одолел, Воздвигнуть мню— смешное подражанье!— Нас посреди сомнительный предел.

То эта тьма вовне, то тьма моя. Где мой предел, раз нет небытия?

6

Ты беспределен: нет небытия. Свой Ты предел — Себя преодоленье, Воздвигшая Свободу лития, В двойстве себя, единства, — воскрешенье.

Я немощен. Постичь не в силах я, Сколь Ты един в согласье и боренье Стихий, существ — Твои они явленья — И в тайнодействе Крови пития.

И Жизнь-чрез-Смерть встает пред слабым взором, Что всё двоит согласьем и раздором.

Единая в них угасает сила, Разъята мною. Но в себе она Всегда едина и всегда полна. И тьма извне ее не охватила. И тьма извне Тебя не охватила, Не рвется в глубь Твою, деля. Зане Ни тьмы, ни света нет Тебя вовне, Предела не имущее Светило.

Небытие Тебя не омрачило: Поскольку умер Ты — живешь во мне. Но не живу всегда я и вполне. В Тебе всё есть, что будет и что было.

Во мне нет «будет», «были» ж побледнели. Измыслил я существенную тьму, Не видную острейшему уму. И оттого, что далеко от цели,

Противочувствий отдаюсь гурьбе. Ты — свет всецелый. Свет без тьмы в себе.

8

Ты — свет всецелый, свет без тьмы в себе. Всеблаго Ты без зла малейшей тени. Но тьма и зло бегут как тени две Пред светом блага в скудности лишений.

Во мраке светит Свет. Добро в резьбе Зловещей то, что есть. В огне сомнений Родник мы обретаем откровений, Свою свободу — следуя судьбе.

И зло и тьма лишь Блага недостаток. Но Блага в них таинственный начаток,

Ненасытимой свойственный алчбе С Тобой — страшусь, но чаю! — сочетанья. Так двоечувствию Твое сиянье Является в согласье и борьбе. Являешься в согласье и в борьбе Ты, Всеединый. Мощью отрицанья Создав, влечешь до полного слиянья Врагов, покорных творческой волшбе.

Пускай они не слышат заклинанья Страстей своих в несмысленной гульбе. Пускай не думают, не знают о Тебе.
— Чрез них и в них Твое самопознанье.

Незнаем Ты без них и без меня. Один, Ты нам без-умная стихия. Вотще, вотще шумит логомахия В искании первичного огня!

В разъятье тварь Тебя не истощила: Безмерная в Тебе таится сила.

10

Безмерная в Тебе сокрыта сила — Испил Ты смерти горестный фиал, Да буду я. Собою Ты дерзал. Не смерть в боренье этом победила.

Над бездной я, где смерть Ты, Бог, познал. Близка, страшна холодная могила. Застывший гнусен черепа оскал. Но мне Любовь из бездны озарила

Высокий путь в надзвездные края: Тобой кто будет — есть, а буду — я.

Какой ценой? — На крестном ввысь столбе Распятое Твое возносят тело. Ждет не дождется мук оно предела И движется, покорное Судьбе.

И движется, покорствуя Судьбе, Которая моей свободой стала, Имманоэль со мной. Меня нимало Он не неволит: в сыне, не в рабе!

Колеблюсь: может, призрак на тропе Высокой Он? И лишь меня прельщало Любви моей обманное зерцало? Не верится ни Богу, ни себе.

Но зов Судьбы —  $\Lambda$ юбовь. Судьбой одною Нерасторжимо связан Ты со мною.

Концом Ты тьмы начало утвердил, И стало жить в Тебе то, что не жило: Не бывшее, Твоих исполнясь сил, Сияет всё, как в небесах Светило.

12

Сияет всё, как на небе Светило, В Тебе, подобно тьме, незримый Свет. Звездами ночь Твой отсвет нам явила; И дивен звезд мерцающий привет.

Но тьма ли ночь сама или горнило Сокрытое? Незримостью одет Незрящей Ты. В свечение планет Лишь слабый отблеск солнце свой излило.

И в звездах ночи мне не сам Ты зрим, Но твой многоочитый серафим.

А я постичь Твою незримость чаю. Отдав себя несущей ввысь мольбе, Подъемляся, неясно различаю, Что есть и то, что может быть в Тебе. И «есть» и то, что может быть в Тебе Одно в творенья всеедином чуде. То «может быть» не тенью в ворожбе Скользит, но — было иль наверно будет.

Ужель меня к бессмысленной гоньбе За тем, что может и не быть, Тот нудит, Кто звал меня наследовать Себе? И мира смысл в Природе, а не в людях?

Но в смутном сне моем о том, что есть, Искажена всего смешеньем весть.

Всего ль? Прошедшее уже не живо. Того, что будет, нет еще, и нет Всего, что есть, в моих године бед. Всё — Ты один: что будет и что было.

#### 14

Ты всё один: что будет и что было И есть всегда чрез смерть. Так отчего В темнице я, отторжен от всего И рабствую, бессильный и унылый?

Мое меня хотенье устрашило Всецело умереть. Из ничего Не стал я сыном Бога моего. А вечно всё, что раз себя явило.

Мою свободу мукой Ты сберег: Ты мною стал, рабом — свободный Бог.

И вновь хочу, чтоб Жизнь изобличила Моею полной смертью Змия лесть Недвижного небытность злую «есть». «Есть» — Ты, а Ты — что «будет» и что «было».

Ты всё один: что будет, и что было, И есть, и то, что может быть. Тебе Сияет всё, как на небе Светило, И движется, покорствуя Судьбе.

Безмерная в Тебе сокрыта сила. Являешься в согласье и борьбе Ты, свет всецелый, свет без тьмы в себе. И тьма извне Тебя не охватила.

Ты беспределен: нет небытия. Могу ль во тьме кромешной быть и я?

Свой Ты предел — всецело погибая. Небытный, Ты в Себе живешь как я, Дабы во мне воскресла жизнь Твоя. Ты — мой Творец, Твоя навек судьба — я.

1950-1951 годы

Л. П. Карсавин снабдил «Венок сонетов» комментарием, который, по его обширности и сугубой специальности, здесь опущен. Однако все же для лучшего понимания «Венка сонетов» приводим краткую, популярную характеристику этого произведения исследователя творчества философа доктора физико-математических наук С. С. Хоружего: «Это — сжатое представление главных тезисов его религиозной метафизики... Тема Венка одна: отношения человека и Бога. Они связаны теснейшим единством, переплетены в онтологической драме Творца и твари: Бог творит, дает твари бытие, и это — Его отдача Себя, добровольная Его смерть; тварь же, возникнув, движется к Богу и соединяется с Ним, и этим возвращает к бытию, воскрешает Бога, сама, однако, возвращаясь, как тварь, в небытие, продолжая жить лишь в Боге. Но, по греховности мира сего, мы не способны к полноте слияния с Богом, наша самоотдача Ему, наша смерть несовершенна; и преодоление этого несовершенства предлежит нам заданием. Итак: взаимная жертвенная отдача, вольная смерть Бога и человека друг ради друга, а также необходимость преодоления несовершенства и жизни тварной, и смерти — вот ключевые мотивы мысли Карсавина, развитию которых посвящаются и его лагерные стихи».

# НАДЕЖДА НАДЕЖДИНА

НАДЕЖДА АВГУСТИНОВНА НАДЕЖДИНА (РОД. 1905). ПИСАТЕЛЬНИЦА. В ЗАКЛЮЧЕНИИ НАХОДИЛАСЬ С 1950 ПО 1956 ГОД. СРОК ОТБЫВАЛА В ПОТЬМЕ. «СТИХИ БЕЗ БУМАГИ» ПУБЛИКУЮТСЯ ВПЕРВЫЕ

#### СТИХИ БЕЗ БУМАГИ

1950—1956 годы

В памяти прежде всего встает бровка. Зажатая между двумя рядами колючей проволоки полоска земли, ставшая для тебя границей жизни. Бровка тянется вдоль глухого забора. Он должен скрывать от посторонних глаз лагерь, где отбывают сроки «враги народа».

Каждое весеннее и летнее утро двое-трое заключенных, согласно приказу, пропалывают и рыхлят бровку, чтоб ничего на ней не росло, ничего не цвело. Женщины, большей частью крестьянки, выполняют приказ угрюмо, потупив глаза, словно стыдясь того, что они делают.

Для них, привыкших, что руки человека прикасаются к земле, чтобы сажать или сеять, это было такое же кощунство, как надругательство над матерью. Земля — кормилица всего живого — обречена на бесплодие. Мать-сыра земля становится землей-доносчицей, землей-сторожевой собакой. В случае побега кого-либо из заключенных на голой, полосатой от проведенных по ней зубьев рыхлителей спине бровки сохранится улика — отпечатки следа беглянки.

В мордовских дубравах, где летом медово пахнут липы, где осенью с веток дубов, словно огромные

градины, срываются спелые желуди, было запрятано много мужских и женских лагерей. По адресу: Мордовская АССР,  $\pi$ /о Явас,  $\pi$ /я  $\Lambda$ К 185/10, я провела около шести лет. В 1950 году была репрессирована, в 1956 реабилитирована.

В юности я писала стихи, но в конце двадцатых годов, выйдя замуж за поэта Николая Дементьева, с которым мы вместе учились в ВЛХИ имени В. Я. Брюсова, а затем в 1-м МГУ, я перешла на прозу. Нельзя писать двоим стихи в одной маленькой комнате.

·В лагере, где для нас, заключенных, бумаги не было, меня снова потянуло к стихам. Стихи — единственное, что могла без записи сохранить память на долгие годы. Стихи нельзя было отнять и уничтожить при обыске потому, что они внутри тебя.

Так родился цикл «Стихи без бумаги». Восстановленные по памяти, некоторые из стихов этого цикла будут по ходу повествования перемежаться с документальной прозой.

### ПРАВДА, ОДНА ТОЛЬКО ПРАВДА

Вам, кто не пил горечь тех лет, Наверное, понять невозможно: Как же — стихи, а бумаги нет? А если ее не положено? Кто-то клочок раздобыл, принес, И сразу в бараке волненье: То ли стукач пишет донос, То ли дурак — прошенье. Ночь — мое время. Стукнет отбой. Стихли все понемногу. Встану. Ботинки сорок второй, Оба на левую ногу. Встречу в ночной темноте надзор. «Куда?» — «Начальник, в уборную!» И бормочу, озираясь, как вор, Строчки ищу стихотворные. Что за поэт без пера, без чернил, Конь без узды и стремени? Я не хочу ни хулить, ни чернить, Я — лишь свидетель времени.

Руку на сердце свое положив, Под куполом неба, он чист и приволен, Клянусь, что не будет в стихах моих лжи, А правда. Одна только правда. И ничего более.

В 1950 году с перевоспитанием заключенных было покончено. Нам объяснили, что «врагов народа» не перевоспитывают, а изолируют. И все же один из домиков в нашей лагерной зоне назывался КВЧ — культурно-воспитательная часть.

Была библиотека, в которой я проработала около полугода. Библиотека без газет. Тем, кто отгорожен от жизни колючей проволокой, незачем знать, что творится в мире. Газету на доске стали вывешивать лишь после смерти Сталина.

Книги были, но... Если на Лубянке мучил слепящий свет днем и ночью горящих ярких ламп, то в бараке тускло светила под потолком одинокая лампочка. При таком освещении не каждый мог читать.

Да и когда читать? После работы мы выстраивались по пять человек в ряд на проверку. Она могла длиться долго, часа два. Если полуграмотный надзиратель, отмечая пятерки на ручной деревянной лопатке, ошибался в счете, все начиналось сызнова. Ноги уже не держали. Измученные женщины садились тут же на дорогу, зимой — прямо на снег.

Поэтому книги в библиотеке брали немногие и читали подолгу, что встревожило начальника КВЧ — добродушного мордовца. В дальнейшем я буду называть его не по фамилии, а по должнсти, КВЧ. Выслушав мои объяснения, он сказал:

— Понимаещь, с меня спрашивают. Так что передай всем, чтобы — прочитали, или не прочитали — все равно приходили бы менять каждые три дня.

Я передала. Но по-прежнему библиотека пустовала. Как пустовали и почтовые ящики, на которых было написано: «В Президиум Верховного Совета СССР», «Генеральному прокурору» и т. д.

Мы знали, что прошения о пересмотре дела в Москву не пересылаются. А если бы и пересылались, то... Не случайно никто из заключенных не разго-

варивал с очутившейся в лагере бывшей судьей. Ее сторонились, ей не отвечали. Никто не верил, что есть справедливый суд. Произвол заменил закон. Мы в этом убедились еще во время следствия в Москве.

### ОТСЮДА НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

### Пролог

Когда переступишь

этот порог

И глазом

в решетку ударишь,

Забудь то слово,

что знал и берег,

Обжитое слово -

товарищ,

Ведь тот, кто стал

жизни твоей господин,

Скрепив твое дело

скрепкой,

Тебе не товарищ:

он — гражданин.

алинмопьк отс R

крепко.

— Руки назад! —

О, здесь знают толк

Во всех статьях

униженья!

Ведут. Сами пальцами

щелк да щелк:

Кто встретится —

предупрежденье.

И вдруг мне в затылок

рукою — пли!

Лицо мое

к стенке прижато:

Чтоб я не увидела,

как повели

Такого же невиноватого. Весь в заграничном.

К свету спиной.

Мастер ночного допроса.

Здесь душно,

как в камере под землей,

Где воздух

качают насосом.

Если задуматься:

кто же он?

Должно быть,

просто набойка

На тех сапогах,

что топчут закон,

Кого называют: «тройка» \*.

Все отобрали.

Даже шнурок

От трусов. Узлом их вяжу,

чтоб не падали.

«А вдруг вы...» —

нацелен глаз, как курок.

И голос вороны над падалью.

«За что? Я не враг!

Где правда, где суд?!» —

«Где суд? — Гражданин усмехается:

— Советую вам

зарубить на носу —

Отсюда не возвращаются!»

На допрос отводилось столько часов, сколько положено по закону. Но о чем говорить, если все уже заранее решено? В 1927—1928 годах многие из университетских комсомольцев примкнули к оппозиции. Не сразу, но довольно быстро мы разобрались, что заигрывание Троцкого с молодежью, которую он называл «барометром революции»,— одно из средств борьбы за власть. Что нас волновало тогда, что для нас было главным? Мы почувствовали зарождение того, что позже будет называться культом личности. Мы называли себя ленинцами, на комсомольских собраниях требовали опубликования завещания Ленина. Мы отстаивали свое право свободно мыслить, выступать с критикой любых авторитетов. В своем докладе на

<sup>\*</sup> Особое совещание при НКВД, которому в годы культа личности было предоставлено право без суда решать судьбу арестованных.— Aвт.

семинаре я критиковала книгу Сталина о национальном вопросе. Следователю было ясно: если я не отсидела тогда, то должна отсидеть теперь, двадцать три года спустя.

Мою последнюю перед арестом работу — очеркистом при секретариате редакции «Пионерской правды» — следователь оценил по-своему: «Вредители всегда стахановцы». Регистраторша написала: «ачиркист». Во время обыска было изъято все содержимое ящиков письменного стола, в том числе, несмотря на мой протест, и стихи покойного (1907—1935) мужа, автора книг «Шоссе Энтузиастов», «Овладение техникой», «Рассказы в стихах» и широко известной поэмы «Мать». Среди книг, выхваченных следователем из шкафа, было первое издание «Тихого Дона» подарок мужу от Шолохова с надписью: «Миколушке Дементьеву клячик \* на нашу дружбу». На допросе следователь спросил: как много пьет Шолохов? Это единственное, что интересовало его в литературе.

А стрелка часов продолжала отсчитывать время, отведенное на допрос, и будет отсчитывать до утра. Допросы только ночные, и это понятно. Согласно методе А. Я. Вышинского, вызвавшей протест юристов всего мира, обвинению не нужны были вещественные улики — достаточно признания самого обвиняемого. Добивались этих признаний различными способами. В лагере я видела украинок после побоев, страдающих кровотечениями, литовку с выбитыми зубами, а на Лубянке — русскую женщину, настолько измученную многоношными допросами, что она научилась спать, как лошадь, стоя. Мы страховали ее, став вокруг. Но надзирательница, подсмотрев в глазок нашу хитрость, будила беднягу. После такой долгой бескровной пытки многие арестантки согласны были подписать все, что угодно.  $\hat{\Delta}$ ля соблюдения закона требовались еще показания двух свидетелей. Но добыть их было нетрудно. Кто доносил из страха: «Я не донесу — на меня донесут», кто — потому, что его вынудили, а кто — из рабского усердия слуги.

<sup>\*</sup> Клячик — деревянная палочка-путовица, ремешок (разг.).

### ΓΑΔΑΛΚΑ

Где побывала, там и слыхала:
Старушка с подружкой на картах гадала,
Когда тот, чье имя страшно назвать...
Старушка гадала. Подружка вздыхала,
Ватрушку жевала, чаек попивала,
Но, как рассвело, она побежала,
Чтоб там, где положено, рассказать.
Все честно сказала. И адрес назвала.
И карта упала. Гадалка пропала.
Больше гадалке уже не гадать.

Гадалку я повстречала в Бутырках. В тюрьме можно встретить людей самых различных судеб и профессий. Представительница древнейшей профессии — курносая Маша. Она уже побывала в лагере, где выдала себя за медсестру. Но при раздаче лекарств обман был обнаружен. Сестра-самозванка не понимала «по-латышски», как Маша называла латынь. От Маши я узнала, что проститутки поделили Москву на участки, и нарушение границ строго наказывается.

Маша хвалилась, что может отбить мужа у жены, увлечь любого мужчину потому, что знает «такое слово». Это «слово» — уличный сексфольклор — хвала мужскому половому органу — Маша произносила вдохновенно, как заклинание.

Несмотря на неотразимость «слова», Маша была одета убого. Выцыганивала у соседок по камере у кого рубашку, у кого трусы. Доходы проститутки нельзя было сравнить с доходами надомницы Александры Ивановны.

У нее в квартире, на Новинском бульваре, висела уникальная люстра — всего две такие люстры на Москву: одна у нее, другая у Вертинского, стояла антикварная мебель, списанная по блату из ленинградских дворцов, и станок для подшивки трусов. Надомница к нему не притрагивалась. С утра начинали звонить телефоны: «Как дела, Саша?» — «Все в порядке, приезжай». В квартире «надомницы» заключались сделки: прокуроры за взятки закрывали уголовные дела.

Александра Ивановна жалела лишь об одном: родилась слишком поздно, негде ее таланту авантюристки развернуться.

Свой шарм у нее несомненно был. Через неделю ее обожала вся камера. Она легко могла бы стать своей в любом обществе. В минуты опасности она не теряла чувства юмора. Не всякий способен играть в прятки, зная, что за ним следят. А она играла. Поздно вечером, возвращаясь домой, она спряталась за каменным львом (на Новинском бульваре несколько таких скульптур). Человек, который шел за ней следом, растерялся, потеряв ее из виду. И она, смеясь, подала ему голос: «Куку! Ку-ку!»

Со смехом Александра Ивановна рассказывала об очной ставке с одним из прокуроров (всего она посадила около тридцати судебных работников).

— Когда он узнал, что из ста тысяч я семьдесят пять взяла себе, его чуть не хватила кондрашка. Xa-xa-xa!

Александра Ивановна вызволила своего брата-вора, свою мать-спекулянтку и надеялась, что сумеет вывернуться и сама. Поэтому и смеялась.

А вот «шпионкам» было не до смеха.

#### ШПИОНКИ

Конвойного за дверью силуэт. Я в камере. Ко мне гурьбой девчонки. Знакомиться. Что им сказать в ответ? Их щебет, все еще по-детски звонкий, Приглушен, словно ветра шум в листве. «Кто я? — Обыкновенный человек». Тяжелый вздох: «А мы — шпионки!»

Со «шпионками» я сидела на Лубянке. Половину узкой камеры-щелки занимала машина, которая накачивала сюда, в подземелье, воздух. Всего две лежанки, а нас было трое. Спать приходилось по двое, и мы взвыли, когда к нам подсадили четвертую, осыпанную вшами сектантку «субботницу». Оказалось, что вши у нее «от дум». Она нас возненавидела за то, что мы курим и поем «богохульные» песни. Когда воздуходувка молчала, из карцеров к нам доносились крики: «Ты

слышишь, товарищ Берия?» Когда воздуходувка работала, все заглушал ее шум, и мы начинали петь «Желтый ангел» Вертинского:

«...Бокал я поднимаю, судьбу я проклинаю. О Господи, зачем я родился...»

«Шпионок» я видела и в Бутырках. Среди них была дочка одного из наших торгпредов. Когда арестовали отца, она носила ему передачи. Однажды на улице ее окликнули. Владелец машины, знакомый итальянец, предложил довезти ее до дома. Этот момент был сфотографирован. Фото было достаточно, чтобы дочка-«шпионка» разделила участь отца. (Шпионками считались девочки, имевшие неосторожность поболтать в парке культуры и отдыха с иностранцами). И хотя медицинская экспертиза установила, что девчонка девственница, все равно ее отправили в лагерь. Но и до лагеря она была искалечена унизительной медицинской проверкой, цинизмом ночных допросов, на которые собиралась целая компания садистов.

— Ну, расскажи, к а к он тебя? Чего стесняешься?! Помню полные отчаяния глаза молодой женщины, у которой до замужества, семь лет назад, был роман с иностранцем. Будет ли муж ждать или откажется от нее, заведет другую семью? И трехлетнему Димке скажут, что его прежняя мама умерла, и он будет называть мамой другую женщину? Ночью, во время обыска, шум разбудил Димку. Он понял, что мать куда-то уводят, и, заплакав, крикнул:

— Мама, не уходи!

Когда слушаешь рассказы людей, чья жизнь исковеркана, разбита, то уже по-другому расцениваешь свое пребывание в тюрьме.

### РЕШЕТКА

Часы и дни, пространство и движенье — Все отнято, булыжником на дно. Но зреет в глубине души освобожденье, Которого на воле не было дано. Нет! Воскресенья мертвых я не чаю, Возможно, мне придется здесь истлеть. Но за решеткой я не отвечаю За то, что происходит на земле.

Следователь сказал: «Отсюда не возвращаются». Да, я не знаю никого, кто бы вернулся. И все же я надеюсь. Нельзя жить без надежды. Кто бы тебе ее ни подал. Хотя бы цветок.

### СОЛНЦЕ НА СТЕБЕЛЬКЕ

Быть или не быть? В тюрьме по-другому, Гамлет! Жить иль не жить? Это «тройка» решит за тебя. Выводят меня на прогулку. Воздух! Я пью его, но не прибавляется сил. Меня стерегут глухие, безглазые стены, И только тень на дне колодца-двора. Но стоп! Я вижу весеннее чудо — У ног моих живое желтое солнце. Мохнатое, крохотное солнце на стебельке. Можно его осторожно потрогать: мягко! Можно, нагнувшись, его понюхать: пахнет! Упрямый росток раздвинул щелку в асфальте, Расцвел одуванчик в тюремной пустыне двора, Солдатик глядит на часы: время. И снова уводит меня в камеру: служба. Но я уже не такая, какая раньше была. Пусть голос друзей сюда не доходит, Пусть стены по-прежнему глухи и немы, Но в памяти светится одуванчик, Живое, мохнатое солнце на стебельке. Уж если росток мог одолеть камень, То неужели правда слабее ростка?!

Я надеялась и тогда, когда меня вызвали с вещами. Может, домой? Нет. Мне зачитывают приговор, вынесенный невидимой «тройкой»: лагерь. Срок — десять лет.

И вот я в лагере. Куда ни оглянись, глухой забор. За годы так привыкаешь к жизни без горизонта, в замкнутом квадрате, что первое время по выходе на волю у меня была боязнь пространства, я все искала глазами забор.

В нашем лагере одежда только казенная. Не могу найти слов, чтобы выразить то оскорбление человеческого достоинства, которое испытываешь, когда

у тебя на бушлате, на платье, на косынке хлоркой вытравливают номер.

В тюрьме, вызывая на допрос, конвоир произносил только первую букву фамилии арестантки. Полностью назвать фамилию должна была она сама.

В тюрьме мы были буквами. В лагере мы стали номерами.

### И ВСЕ НОМЕРА, НОМЕРА, НОМЕРА...

Безумье войны познается утратой. Убили и мужа, и младшего брата, А после ночной, взрывшей город, бомбежки От дочки осталась лишь в валенке ножка. Как жить? Как с судьбой своей женщине спорить?

Рассудок ее помрачился от горя. Но все же один из агентов негласных Донес, что безумная эта опасна. И следователь легко и умело Еще сочинил одно новое дело Из тех, что настолько нужны и важны Для безопасности нашей страны, Что переплет у таких дел отмечен Особой пометкой: «Хранится навечно». И, стоя на страже страны, трибунал На двадцать пять лет ее в лагерь послал. Но бог приговор милосердный изрек, Пославши ей смерть, сократившую срок. В весеннее утро (апрель был в разгаре) Она умирала на лагерных нарах. Ей чудилось, что по песчаной дорожке Бежит ее девочка в платье в горошек И ручки к ней тянет... Совсем уже близко. И тут же назойливо звякали миски. От горя к чуждому страданию глухи, Перловую кашу жевали старухи. Два дня, ожидая приказ к погребенью, В сарае лежал ее труп на поленьях. И мухи повисли, оцепенев, На бирке, привязанной к голой ступне. Раз номер она на спине носила, То с номером должно ей лечь и в могилу. Но тело, лежавшее без движенья, Последнее ждало еще униженье: Как только за зону открылись ворота И скрылась телега за поворотом, Задержан был гроб и с привычною хваткой Обыскан видавшею виды солдаткой. И капнул слезою березовый сок На вставший в то утро в лесу бугорок. Как кошку, как падаль ее схоронили, Ни надписи, ни креста на могиле. Березовый кол, укрепленный в песке, С доскою и номер на этой доске. Раз номер она на спине носила, То с номером должно ей лечь и в могилу. Приходит пора соловьиного мая. Лес лезет на просеки, плеши латая. И между людского позора столбами Травы колыхнулось зеленое пламя. Лежит под столбом ее мертвое тело, Но живо в архиве за номером дело, И дел этих поднакопилось — ropa! И все номера... номера... номера... Приходит октябрь. Ржавеют дубы. Как старые кости, желтеют столбы. Бугрится земля, и буграм нету счета, Как будто здесь крот-великан поработал. И в сером миганье сырого утра Видны номера... номера... номера... И мы, кто в ту пору не думая жил, Но совесть в сердце своем сохранил, Во имя зарытых в болотах и чашах. При жизни молчавших, посмертно молчащих, Детей, сумасшедших, калек, стариков, Лишенных погонов фронтовиков, Исконных своих и иноплеменных, Во имя их всех, без суда осужденных, Чтоб жизнь на земле была человечной, Клянемся запомнить это навечно!

На жаргоне название женского лагеря: «кобылий двор». Кроме общелагерной изгороди, на нашем «кобыльем дворе» был огорожен колючей проволокой особый барак для сифилитиков. Но после того, как врачи

признали, что на данной стадии заболевания сифилитики не заразны, их стали расселять по другим баракам.

Второй барак — инвалидный, старушечий, барак «бывших».

Бывшие любительницы литературы, по наивности предположившие, что нет ничего преступного в том, если они, десять дам, соберутся послушать роман сына Леонида Андреева. О чем роман, я не расспрашивала. В лагере три главных правила: ничего не просить, но, если дают, ни от чего не отказываться и ни о чем не расспрашивать.

Бывшая медсестра, осужденная как террористка. Она присутствовала при операции, во время которой на операционном столе скончался секретарь обкома.

Бывшая преподавательница английского языка Н. Н. Лаврова. Она давала уроки Попкову, во время блокады председателю Ленинградского горисполкома, затем репрессированному.

Пятый барак — барак лишенных надежды. Для тех, кто приговорен четверть века провести за колючей проволокой, нет ни настоящего, ни будущего. Немногие сохранили бодрость, как О. Н. Дженеева. Низенькая, несмотря на почтенный возраст проворная, она напоминала мне знаменитого тургеневского воробья.

Она была как бы консультантом в бригаде по озеленению зоны, в которой я проработала пять лет. Я полюбила цветы, привыкнув ухаживать за ними с детства. Но одно дело — садик перед домом, другое — лагерная зона, где надо землей и навозом набивать парники, где нет для полива ни шланга, ни металлического ведра, ни лейки, где надрываешься, вытаскивая из колодца огромную деревянную бадью. И все равно эта работа приносила мне радость. И не только мне.

В лагере я поняла, насколько сильна у людей потребность в красоте. Украинки выкладывали в нарисованные мной колышком узоры хрупкие кустики пикированной рассады так бережно и любовно, словно вышивали на земле многоцветный ковер.

Кто радовался живому бархату анютиных глазок (посеянные нами в июле, они расцвели следующей весной уже к 1 мая), кому нравился «лужок»— площадка, засеянная смесью семян мака, эшольции, васильков и ноготков. Семена мне присылали родные.

Но наибольшим успехом пользовался портулак, расстеливший по песку свои сизо-серые мясистые стебли. Богомолки называли «лампадками» его алые, желтые, малиновые цветы, вспыхивающие на солнце, словно огоньки.

Некоторых злыдней из администрации наше цветоводство раздражало: «Здесь лагерь, а не парк культуры. Для кого все это развели?» Но когда выяснилось, что из кохии можно делать веники, злыдни притихли. Мне было приказано: «Сей побольше веников. Чисто метут».

В цветах Дженеева понимала мало. Но благодаря ее энергии мы получили в правом крыле КВЧ комнату, где можно было хранить собранные осенью семена. За сортировкой семян она рассказала мне свою историю. Во время оккупации знание немецкого языка помогло ей вызволить арестованных мальчишек, ее учеников. За «посредничество в сближении населения с оккупантами» она и получила двадцать пять лет.

В пятом бараке можно было увидеть немолодую женщину с усталыми глазами, Сарру Лазаревну Якир,— жену расстрелянного командарма, арестованную более двадцати лет назад. Многолетний лагерный стаж и у Галины Иосифовны Серебряковой, чей первый муж был расстрелян как единомышленник Бухарина и Рыкова. Пересланной из Казахстана в Мордовию Серебряковой удалось на нашем лагпункте доходяг устроиться при стационаре, где она раздавала молоко, считавшееся в лагере «напитком богов».

В стационар я попала, заразившись от мышей инфекционной желтухой. Добросердечные бабки обещали мне наловить тридцать вшей. «Проглотишь их, и желтуха пройдет». Но я сказала, что лучше умру, и дождалась лекарств, которые прислали родные.

Плохо было с лекарствами и с мединструментом, со щипцами, чтобы рвать зубы. Те, кого мучила зубная боль, старались забыть о ней, играя в «козла».

На нашем «кобыльем дворе» все были доходяги, но в стационаре я увидела еще и безумную. Свесив вниз тощие ноги, она неподвижно сидела на верхних нарах. Только руки ее непрерывно двигались. Она механически растягивала снятый с себя бюстгальтер. Лишь однажды, во время раздачи сахарного песка, безумная переменила позу. Выхватив пакет, она высы-

пала его содержимое — месячный паек заключенного — себе в рот и снова принялась растягивать лифчик. Молоко, которое раздавала Серебрякова, безумная не пила.

После освобождения я не встречалась с Галиной Иосифовной Серебряковой. Ее заметку в одной из московских газет я прочла с удивлением. Серебрякова писала, что в лагере, в Казахстане, во время салюта в честь Победы она обнималась с надзирательницей. То ли Серебрякова занимала в лагере особое положение, то ли там среди надзора нашлась чудачка, но с мордовской надзирательницей по прозвищу Швабра никто бы обниматься не рискнул.

Еще больше меня удивило поведение Серебряковой в Калинине. Там, выступая перед студентами пединститута, я услышала, что к ним приезжала Серебрякова. Поводом для ее приезда послужило выдвижение на Ленинскую премию повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Серебрякова заявила, что от имени всех лагерных товарищей может заверить аудиторию, что все, что написано в повести Солженицына, ложь. Единственное, что огорчало заключенных,— у них отняли партбилеты. Тут уж Галина Иосифовна перестаралась. Выходит, что у тех, у кого не было партбилетов, нечего было отнять.

#### **РЕМИТАТЕ**

— Кто на этап? На обыск мешок!
— Что там в мешке? — Зубной порошок, Хлеб, барахло, махорки немножко, Ну и своя деревянная ложка. Вилка и нож не про нашу честь, Этой ложкой нам кашу есть, Этой ложкой горе хлебать, Срок отбывать, по этапам шагать. Сколько нам стоит такая дорожка — Знает она, деревянная ложка.
— Кто на этап? На обыск мешок!
— Вот он. Порите хоть каждый шов, Лезьте руками на самое дно, Хлеб и махорку смешайте в одно. Вам не увидеть, вам не понять,

Чем тяжела нам этапная кладь. В этом потертом мешке лежит Наша нелепо отнятая жизнь, То, что мы сделать могли бы за годы, Если бы нас не лишили свободы. То, что додумать мы не успели, Недосказали и недопели, Недоучили, недочитали, Недорастили, недомечтали, Недооткрыли, недогранили, Недодышали, недолюбили. Нам этот груз сердце прожег... — Кто на этап? На обыск мешок!

Желтухой я заболела зимой 1952 года. Во время болезни у меня было много свободного времени. В стационаре я сочинила поэму «Тройка», тема которой — история России.

Россия — гоголевская птица-тройка, которой в разное время правили разные ямщики. Поэма большая, я приведу из нее лишь два отрывка. Первый — о нападении на тройку волчьей стаи. Волки — гитлеровцы, ямщик — Сталин.

...И раздавался вопль возницы. Он, сообразив, что смерть пришла, В грудь ударяя рукавицей, Выл: «Вывозите, сокола!» И вывозили вороные, Других таких не отыскать, Во все лихие дни России На них возложенную кладь...

И еще несколько строк из последней главы:

Хотелось бы полюбоваться, Как тройка скачет большаком, Но двое третьего боятся И разговоры шепотком. Те ж, кто в санях и на запятках Кричат, как встарь: «Пади́, пади́!» Не то вожжой ожґут лопатки Или оглоблей по груди. Уже кого-то смяли сани... Он страшно вскрикнул и затих. Что шевелишь, ямщик, усами? Не много ль задавил своих?

У воды, которую мы пьем, подозрительный запах. Возможно, потому, что лагеря в мордовских лесах основаны давно, еще во времена раскулачивания, и стоят, как говорится, «на костях».

Среди старых, обветшалых бараков выделяется не так давно построенный, самый светлый и чистый первый барак. В нем даже выдавали простыни.

Первый барак — для работяг. Впрочем, в сводках, которые ежедневно подавались нарядчицей начальству, работающими числились только те, кто получал зарплату, на которую можно было купить в ларьке дешевые конфеты и папиросы. Это украинки, латышки, эстонки — искусные мастерицы-вязальщицы, вышивальщицы, швеи, выполняющие заказы Москвы. Получать зарплату они стали после смерти Сталина.

Водовозы, ассенизаторы, которые, как лошади, возили на себе бочки, как и большинство обслуги, зарплату не получали.

Главной рабочей силой были «зазонники». В «зазонные» бригады отбирали самых сильных. В поле, где они работали, не было колючей проволоки. Вместо нее расставляли прибитые к колышкам дощечки — «запретки». Одна из зазонниц, мать двух детей, латышка Илга, не заметив в траве «запретку», очутилась на несколько шагов впереди, и конвойный выстрелил ей в спину. Его не судили. По Уставу он был прав. Нарушение установленной «запретками» границы расценивалось как попытка к бегству.

Про зазонников мной написаны два стихотворения.

## КОГДА ВЫМЕРЗАЕТ ДУША

Когда-то, когда-то, когда-то Были и мы молодыми. Стоим мы у вахты, лохматые, От инея все седые. И пара белого струи Бьют у нас из ноздрей, Как у закованных в сбрую Загнанных лошадей. Воздух нам горло режет, Он острым стал, как стекло. Одна у нас только надежда: В зону, в барак, в тепло. И вдруг нам приказ — не во сне ли? — За зоной могилу копать, В бараке скончалась Анеля За номером сто тридцать пять. Стоим мы, как истуканы. Добил нас этот приказ. И наш бригадир Татьяна Сказала за всех за нас: «Анелю мы все уважали, Хорошая девка была. Не думали, не гадали, Чтоб так она нас подвела. Земля ведь окаменела, Бей ее ломом и вой! Пусть девка бы потерпела И померла бы весной». Вы скажете: это не люди, Подонки, двуногий скот. Многие нас осудят, Но верю, что кто-то поймет. Мы были других не хуже, Жестокость в себе глуша, Но, видно, бывают стужи, Когда вымерзает душа.

### БРИГАДНАЯ

За зону ходит наша бригада, Ее называют «бригада, что надо!». Мы это еще раз всем доказали В февральское утро на лесоповале. Конвойный наш выпил — себе же назло, И начал трепаться — его развезло. Он, дескать, понял, что мы не враги. Он нас отпускает: кто хочет, беги! Не понимает сопляк, мальчишка —

За наш побег ему будет вышка. Он бросил ружье к подножию ели. Он нас пожалел, мы его пожалели. Под вопли сорочьи, в заросли хвойные Мы конвоира вели, как конвойные. У вахты сделали остановку. В руки ему вложили винтовку И, твердо решив, дело это прикроем, В зону вошли, как положено, строем. Казалось, комар не подточит носа, И вдруг нас стали таскать на допросы. Как ни таскали, как ни пугали, «Такого не было!» — мы отвечали. Но поняли мы, хоть об этом ни звука: Есть в нашей бригаде доносчица-сука. Они догадались, что мы догадались, За сучью жизнь они испугались. И больше и в зоне, и на лесоповале Мы эту суку уже не встречали. Убрали куда-то доносчицу-гада... Вновь наша бригада — бригада, что надо!

В лагере меняется не только внешний облик человека, но и его психика, его характер. Ничто не могло устрашить Марию Д. после того страшного, что она пережила как участница восстания в лагере под Норильском. Там режим стал невыносим, заключенных не считали за людей, их стреляли даже в бараках. У восставших не было огнестрельного оружия. Выстроившись цепочками, они держались за руки. Когда одна цепочка падала, на ее место вставала другая. На подавление восстания были посланы танки. Восставшим предложили сдаться, пообещав, что никто не будет наказан. Что стало с зачинщиками, Мария не знает. По ее словам, среди них был Герой Советского Союза. Рядовых участников восстания разослали по другим лагерям.

Мария могла не выйти на работу, и ее не трогали. Норильчанка никого не боялась, ее боялись даже надзиратели.

В лагере происходит переоценка вещей. Много ли барахла человеку нужно? Греческий мудрец говорил: «Все мое ношу с собой». Когда тебя вызывают на этап, чем меньше весит твой заплечный мешок, тем легче будет тебе идти.

Потеряв в лагере годы жизни, начинаешь ценить время. Думаешь: «Вот выйду на свободу, буду каждой минутой дорожить».

В лагере меняется и представление о счастье.

### СЧАСТЬЕ

Разговор о счастье в бараке ночью. Первая шепотом, чтоб соседей не разбудить: — Счастье — это дорога. Идем и хохочем. С птицами песни поем, какие захочем. И за нами никто не следит.-Потом заскрипели нары; заговорила другая: — Глядите, вот руки, как их от стужи свело! Будь прокляты эти дороги, от них я седая! Будь прокляты эти дороги... Зато хорошо я знаю, Зато хорошо я знаю, что счастье — это тепло. Тепло от печки, которая топится в доме, Тепло от ребенка, хотя бы родить на соломе. Тепло от налитого силой мужского плеча. И если на этом плече я выплачусь до рассвета, То, может, поверю: песня еще не спета. Может, поверю: жизнь можно снова начать.— А третья сказала: — К чему так долго судачить? Собака зализывать раны в овраг залезает глухой. А я уже так устала, что не смеюсь и не плачу. А я уже так устала, что кажется мне по-собачьи, Что счастье — это овраг, заросший густой травой. Овраг, где хотя бы минуту можно побыть одной.

Заключенные живут не настоящим, а будущим. Но и будущее тревожно. Кто протянет тебе руку, когда ты вернешься? Там, на воле, люди, парализованные страхом, отказываются от тех, с кем дружили, кого любили.

Я знаю только одного мужа, по профессии военного летчика, который не отказался от своей жены, Герты Скворцовой. Он был демобилизован и переведен из Таллина на работу в Якутск.

Чтобы выжить, чтоб, несмотря на все унижения, остаться человеком, необходимо верить, что тебя кто-то ждет.

#### РЯБИНА

Зарницы играют, как птицы Огненный в небе полет. В такие ночи в столице Рябина роскошно цветет. От страха в оцепененье Товарищи и родня. Но дерево в белом цветенье Ждет у окошка меня.

В нашем лагере — женщины самых разных национальностей: русские, белоруски, украинки, латышки, литовки, эстонки, еврейки, аварка, польки, немки, француженка.

Не знаю, каким образом за колючую проволоку проникают новости, но аккуратные, всегда исполнительные немки вдруг перестали работать. Сидят возле бараков, сложив руки: «За нами приедет Аденауэр, и нас отпустят домой». И правда, их вскоре освободили.

Рузе и Гале, молоденьким девушкам с Западной Украины, с детства внушали, что никакой Киевской Руси не было, была Украина, что Мазепа не изменник, а герой. Я стала им рассказывать о русской истории, которую они не знали, я говорила, что наши народы братья. И они стали называть меня «старший брат».

Латышки, литовки, польки делились со своими земляками, которые не получали посылок. Русских было слишком много, да и часть продуктов уходила на сторону. Если надзирательница, вскрывая посылку, полюбопытствует: «Это что у тебя такое?» — надо ответить: «Если вам понравилось, возьмите, гражданка начальница». Иначе она перемешает чай с крупой, а сахар с табаком.

Староста подсчитает, сколько кусков сахара надо положить ей под подушку. И положишь, если не хочешь спать в бараке возле разбитого окна.

Hy, а тем, что осталось, можешь распоряжаться сама.

В зоне была кухня, без стен, но под навесом, где заключенные могли сами что-нибудь себе приготовить из присланных родными продуктов. 30 сентября — сама я хозяйка плохая — из манной крупы мне испекли име-

нинный пирог. Нарезав его на кусочки, я обходила бараки и спрашивала: «Есть ли здесь именинница?» Самой мне достался последний маленький кусочек, но зато как радостно улыбались мне то Софья, то Вера, то Надежда, то Любовь.

Да и без именин нельзя не поделиться, если на тебя смотрят десятки голодных глаз.

### ΚΟΜΠΟΤ

Матери чувствуешь всюду заботу. Из дома прислали пакетик компоту. Я его в кружке большой сварила. Что тут тогда в бараке было! Лежавшие на нарах зашевелились, Ноздри раздулись, губы раскрылись, Чтоб с вожделеньем и упованьем Вдыхать компотное благоуханье. В нашей бригаде, не ошибусь, Представлен почти весь Советский Союз. Глядя на братских народов лица, Я не могла не поделиться. Вылила кружку в ведро большое И долила доверху водою. Эта коричневая груша — Тебе, наша добрая русская Луша. Эта изюминка черноглазая — Гордой ханум с гор Кавказа. Эта украинская вишня — Тебе, Оксана, будет нелишней. Как ни делила, как ни старалась, Но ягод прибалтам уже не досталось. Но запах остался, но запах не лжет. В каждую кружку налит компот. Пир начался. Горемыки-подружки! Чокнемся, сдвинув со звоном кружки. Забыты обиды, забыты невзгоды, Но не забыта дружба народов.

В лагерной жизни посылка — радостное событие, но еще большая радость получить из дома письмо.

В КВЧ на стенке висел образец, как нам писать до-

мой. Открытка с коротким текстом: «Я здорова, работаю. Пришлите мне...» И дальше список продуктов. Вот и все.

Но были письма и с другим текстом, которые посылались, минуя цензора, с какой-либо оказией.

### ПИСЬМО

Нам, у кого

на спине номера,

Кровь чью в болотах

сосет мошкара,

Нам, кто, как клячи,

впрягаясь в подводу,

В лютый мороз

на себе возит воду,

Нам, по инструкции,

разрешено

Два раза в год

. написать письмо.

Что ж ты не пишешь письма,

седая?

Трудно живется,

недоедаешь...

Дети пришлют сахарку,

сухарей.

Или, прости,

у тебя нет детей?

— Как же не быть?

Дочка есть и сынок,

Только письмо мое

детям не впрок.

С лагеря я им

послала привет,

И вот такой

отписали ответ:

«Мама! Нам ваше письмо,

словно гром.

Петю уже вызывали

в партком.

Столько расстройства,

столько заботы...

Митю, наверное,

снимут с работы.

А от соседей

такой позор,

Что и не высунешь носа

на двор.

Если дела

так и дальше пойдут —

Лизочке

не поступить в институт».

— Матери доля

известно какая:

Каждая счастья

детям желает.

Сердце мое

изболелось в тревоге:

Я им, родным,

поперек дороги.

В ссылку старушка

одна уезжала,

Просьбу исполнить мою

обещала:

Детям черкнуть

адресок я дала,

Что от простуды-де...

я померла...

Что ж мне на это

тебе сказать,

Мертвой

себя объявившая мать?

Жестки слова мои

пусть, но правы:

Те, для кого умерла ты,—

мертвы!

Когда из Москвы приезжала комиссия, мы, чтоб не встретиться с ней, переходили из барака в барак. Жалобы на несправедливый приговор комиссия не принимала. Так на что же жаловаться? На цензора, на «опера»? Комиссия-то уедет, а я останусь.

И все же один раз я решила пожаловаться: «Почему я не получаю писем? Я не штрафная». Усатый мужчина из комиссии кивнул «оперу»: «Разберитесь».

«Опер», вызвав меня к себе, «разобрался», обзывая меня непотребными словами. Тут я вспомнила рассказ второсрочницы Нины Ивановны Гаген-Торн. Второсрочниками называли тех, кто уже отсидел срок, но при новой заварушке их забирали снова.

Когда во время вторичного допроса в Москве следователь начал материться, Нина Ивановна ответила ему колымским матом. Первый срок она отбывала на Колыме. Ее колымский монолог длился несколько минут. Следователь обалдел. Больше он уже не матерился. Но я на Колыме не была и вообще ненавижу матерщину.

Назавтра, когда я поливала цветы у комендатуры, мимо меня прошел Новиков. В ту пору, к сожалению, недолгое время, он был начальником лагеря. Он не унижал человеческого достоинства заключенных, он не тыкал, от него мы услышали слова, которых не слышали долгие годы: «Я вас прошу». И это «прошу» было сильнее любого приказа. Новиков спросил меня: написала ли я свое последнее в году письмо? Я молча отрицательно покачала головой.

Через несколько дней он опять спросил. Тут я не выдержала: «Зачем мне писать, если мои письма все равно не доходят?» — «А вы напишите и отдайте лично мне».

Через две недели я получила ответ. Этого я никогда не забуду.

Как не забыть и самоубийства конвойного.

## НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ

Застрелился молодой конвойный. Пулевая рана на виске. Будет ли лежать ему спокойно В нашем мерзлом лагерном песке? Что ночами думал он, терзаясь, Почему не мог он службу несть, Нам не скажут. Но теперь мы знаем — И среди конвойных люди есть.

Случись мне встретиться с Новиковым в Москве, я позвала бы его к себе в гости. А вот цензору Усову я руки не подам. Своим правом не пропускать опре-

деленный процент писем он пользовался издевательски. Он публично сжигал непрочитанные письма, бросая в огонь нераспечатанные конверты. Женщины, глядя на это аутодафе, плакали.

Он не передал книги, которые мне прислали: «Вам уже незачем читать». Он с презрительной усмешкой швырнул мне под ноги письмо, присланное из дома. Швырни он на пол что-нибудь другое, я бы не стала поднимать. Но это было письмо моей матери.

### ТЫ, МАМА, ТОЛЬКО ТЫ!

Что медицина?

— Детская игра...

Раз в кровь твою

проникнула зараза,

Ты осужден,

ты будешь умирать,

Но медленно, мучительно,

не сразу.

Боль будет жечь, сверлить,

пилить, молоть,

И вопль костей

одна лишь смерть заглушит.

Но если страшно

умирает плоть,

Еще страшнее умирают души.

Ты никто — вошь!

Все властны над тобой.

Подъем! Отбой!

Кому сказано: стой!

Прятала в наволочке

свое барахло,

В домашней рубашке

родное тепло.

Надзор выгнал на двор:

шмон!

Все, что берег,—

под сапог!

Все, что твое,—

вон!

А издеваться

как падки!

Хочет —

обыщет тебя солдатка:

«Ноги раздвинь,

рот раскрой!»

Как не потешиться

над тобой!

Хочет цензор —

письма сожжет,

Хочет «опер» —

в карцер пошлет.

Хочет, хочет, хочет! —

Как спорт!

«Это вам лагерь,

а не курорт!» —

«Люди? А разве вы ими были?» — «Не навредили б,

не посадили».-

«Раз посадили,

свое заслужили...»

Каждое слово

стегает, как плеть.

Как тут душе

не помереть.

Овчарки на поводках

рвутся и воют;

«Бригада!

В полное подчинение конвою! В случае неподчиненья

стреляем без предупрежденья».

И полночь так же мне страшна,

как день.

Я щупаю свою сухую кожу. Кто я? Статья? Пункт?

Номер? Или тень?

Урод, на человека не похожий? Быть может.

я совсем и не была,

И мне приснилось все,

что было прежде...

Нет, не друзья —

ты, мама, ты одна

Моя

последняя надежда.

Ты — та,

которая мне жизнь дала,

Скажи им всем,

бесчувственному люду,

Скажи им всем,

что я была,

Что я была,

и есть, и буду!

Как сохранить человеческое достоинство, спасти от смерти душу? Грустно, но приходится признаться, что многие советские люди оказались морально неустойчивыми. Сталинщина виновата не только в уничтожении миллионов людей, но и в растлении целых поколений. Люди, воспитанные на лжи, привыкли голосовать «за», зная, что по совести надо голосовать «против».

Для верующих в лагере моральной опорой была религия. Даже здесь, за колючей проволокой, для католиков власть церкви оставалась в силе. Мы думали, что француженка мадам Отт обрадуется, узнав, что одной из лагерниц прислали Мопассана, и захочет его прочесть. Мадам спросила: «Что это за книга?» Она не читала и не будет читать те произведения Мопассана, на которые католической церковью, как на «Овод» Войнич, наложен запрет. Когда ей сказали, что здесь ксендзов нет, и никто не увидит, какая книга у нее в руках, мадам ответила: «Увидит Бог».

Полька по национальности, католичка Ангеля С. (мы ее звали просто «Галя»), прямо со школьной скамьи выскочила замуж. Ее семейная жизнь была очень короткой. Галю арестовали за то, что она стояла в карауле у могилы Пилсудского. Был арестован и ее муж. Галя не сомневалась в том, что после десяти лет разлуки они должны соединиться, ведь «браки заключаются на небесах».

После смерти Сталина нам в столовой стали показывать кино. Во время демонстрации фильма «Заговор обреченных», где Вертинский играет роль кардинала, Галя встает и направляется к выходу. «Галя, что с вами? Вам плохо?» Галя шепотом: «Я не могу смотреть, как смеются над кардиналом».

Крепко держались своих правил и старушки из секты «царские», верившие, что царь Николай жив.

Только это были правила дикарей. «Царские» не называли своих имен и фамилий, отказывались работать, отказывались есть нарезанный ножом хлеб. Среди них якобы была богородица, которая могла подниматься на два метра над землей. В выделенном для них шестом бараке было невыносимо душно. «Царские» спали в одежде, не мылись и кусали руки тех, кто насильно волочил их в баню.

Самой многочисленной и культурной сектой были баптистки. По вечерам, собравшись возле прожарки, они пели. Мотив был знакомый — «Конная Буденного», но другие, ими же придуманные, слова:

Никто пути Исусова у нас не отберет. Воинство Христово, архангелы, вперед!

Среди баптисток были и молодые. Чем их могли привлечь? У одной умер ребенок, другую бросил любимый. Пока профком раскачается, а баптистки пришли, посочувствовали, утешили, приласкали. Всем попавшим в беду, особенно оторванной от семьи молодежи, нужна ласка.

#### НОЧНЫЕ ШОРОХИ

О них говорят грубо, Им приговор один, Тем, кто целует в губы Подруг, как целуют мужчин. И мне — не вырвать же уши! — Глухому завидуя пню, И мне приходится слушать В бараке их воркотню. Знать, так уже плоть доконала, Так душу загрызла тоска, Что, чья бы рука ни ласкала, Лишь бы ласкала рука. Им тыкали в грудь лопаткой \*, Считая пятерки в строю, Они волокли по этапам Проклятую юность свою.

<sup>\*</sup> Во время поверки, пересчитывая заключенных, надзиратель делал отметки на ручной деревянной лопатке.— Авт.

И ты, не бывший в их шкуре, Заткнись, замолчи, застынь, Оставлена гордость в БУРе \*, Утерян на обыске стыд. Легко быть чистым и добрым, Пока не попал на дно. Тем, что у них все отобрано, Тем все и разрешено. Да, лагерный срок не вечен. Но где им найдется дом? И вряд ли птенец искалеченный Способен построить гнездо. Ночами, слушая шорох (В бараке полутемно), Я плачу о детях, которым Родиться не суждено.

Островком спасения для молодежи была замыкавшая столовую сценическая площадка. На сцене можно было забыться, стать — пусть на один вечер — не заключенной номер такой-то, а Негиной или героиней пьесы «Платон Кречет». Если про профессиональную актрису говорят, что она хорошо сыграла свою роль, то наши лагерные актрисы, как Аня Ермаченко, на сцене не играли, а жили радостями и горестями чужой жизни, поскольку своей личной жизни у них не было.

Главным режиссером, а также исполнительницей характерных ролей была Ляля Островская. Когда ее муж вернулся с КВЖД, где он работал, Москва встречала кавежединцев цветами. Затем начались аресты. Больше своего мужа Ляля не видела, сама она получила обычный для жен незнаменитых мужей срок — пять лет.

В одном из лагерей Ляля встретилась с другой кавежединкой. Буду называть ее Вера. Обе они радостно откликнулись на предложение одного из надзирателей. Он едет в Москву и может зайти к их родственникам, передать привет и узнать новости. В Москве у Ляли остался четырехлетний сын.

Надзиратель вернулся из Москвы недовольный. Может, не получил взятку, на которую рассчитывал. По

<sup>\*</sup> БУР — барак усиленного режима.

его доносу Лялю и Веру, якобы организовавших в лагере контрреволюционную группу, арестовали снова. Время было военное, их приговорили к расстрелу. Два месяца они провели в камере смертников. Вера сошла с ума, Ляля стала задыхаться от приступов сердечной астмы.

Поскольку доносчик был один, а по закону требуется два свидетеля, расстрел был заменен пятнадцатилетним сроком. Итого, Ляля просидела в лагере восемнадцать лет «при отсутствии состава преступления», как сказано в справке о реабилитации.

Лагерные спектакли и концерты я смотрела, но в самодеятельности не участвовала. У меня был свой островок спасения: стихи. Это был не «глас вопиющего в пустыне», а крик. Крик души, оставшийся без ответа.

### **COCHA**

Когда я, думая о своей судьбе, Когда я, думая о любви к тебе, К тому, кто мне написать боится, Я вспоминаю сосну — по дороге на озеро Рица. Автобус медленно поднимался в горы. Болтали, смеялись, шутили, острили. Мне скучно, когда о любви начинают споры Люди, которые, кроме себя, никого никогда не

Я глядела по сторонам, боясь, что от скуки засну,

И вдруг неожиданно в горной теснине, Где солнца луч не бывал и в помине, Где свет всегда по-вечернему синий, Я увидела эту сосну. Она показалась мне птицей. И правда: в ствола повороте, В размахе по-птичьи парящих над бездной ветвей, Так явственно было, что здесь, на обрыве, ей Держаться, в сущности, не за что,

и дерево это в полете. Вот и мне уже не за что уцепиться. Это я не затем, чтоб тебя упрекнуть. Просто: будешь, случится, на озере Рица— Посмотри на эту сосну.

#### Я ЛЮБЛЮ

Я люблю. И меня не исправите. Хоть какой кислотой ни трави, Но не вытравить мне из памяти Этот терпкий привкус любви. Ты — мое окаянное чудо. Жжется рана искусанных губ. От всего отрекусь, все забуду. Но проститься с тобой не могу. Я зерно, растертое жерновами. Все мое, что осталось,— в тебе. За семидесятью синевами Не предай меня, не добей! Слышишь: проволокой оплетенная, Каждый шип, что ворона клюв, Здесь при жизни захороненная, Я люблю тебя. Я люблю.

### ФИТИЛЕК

Сегодня нет света.

А мне все равно.

Мне и со светом

в бараке темно.

Верхушка у нар

похожа на крест.

В бараке Голгофа —

крестов целый лес.

Лишь кое-где белеет «уют». Так занавеску из марли зовут. Чтоб сифилитик в лицо не дышал, Чтоб не пристала чужая парша. Недолгое счастье этот уют, Придут пожарники и сорвут. Сегодня нет света.

Не видно ни зги.

Надзор забегал:

ведь мы — враги!

А вдруг зарежем,

хоть без ножа?

А вдруг попробуем

убежать?

А вдруг?!

Надзору тогда труба!

За проволокой

спустили собак.

Прожектор пилит

пилою света,

За зоной пускают

ракеты, ракеты...

Дневальной приказ:

зажечь фитилек.

Дрожит огонек,

стоит пузырек,

В нем жира побольше,

чем наш паек.

В рабочем бараке

вечерняя вонь.

Как бабочки,

люди спешат на огонь.

И тени за ними,

как стукачи.

Ослепшая просит:

«Письмо мне прочти!»

А я ошалела.

Меня опьянил

Запах бумаги,

запах чернил!

Как штык — фитилек,

как нож — огонек.

Ах, если бы мне

эти несколько строк!

Я бы на нары

письмо унесла,

Я бы его в темноте

прочла.

Я бы читала его

не глазами —

Сердцем, грудью,

руками, губами...

Я бы тогда увидела свет.

Но нет мне письма.

Нет.

За то я любимой

его была,

Что щедро жила,

что мягко стлала,

Что шкуру свою

для него сняла,

Ступенькой под ноги ему

легла.

Как побежал! Как поскакал! Даже мне ручкой не помахал. Чужая душа, пустая душа. А все же люблю. И нечем дышать.

Летом 1953 года для тех, кто имел срок пять лет, распахнулись лагерные ворота. Ушла на свободу Ольга Всеволодовна Ивинская, красивая женщина — золотые волосы, голубые глаза — последняя любовь Бориса Леонидовича Пастернака.

Это о ней великолепные стихи в романе «Доктор Живаго».

В лагере в период 1951—1953 годов Ивинская была для меня близким человеком. С ней можно было отвести душу, поговорить о литературе. Мы читали друг другу стихи. Ей я посвятила стихи «Чайка», сравнивая ее судьбу с судьбой леди Гамильтон.

# ЧАЙКА

О. В. Ивинской

Чтить героев требует обычай.
Площадь. Сквер. На сквере пьедестал.
Там, застывши в бронзовом величье,
Встал на вечный якорь адмирал.
Надпись прорезает мощный цоколь,
Он незыблем в памяти людей,
Но нигде — ни слова, ни намека,
Ни упоминания о ней.
Что ж, пусть так! Они по-своему правы,
Да, она войти не может — не вольна —
В реквизит его посмертной славы,
Как вошла б законная жена.
Разве им понять, что эта близость,
Не входящая в стандарт любовь
Так ему, как дубу микориза,

Нужно было, чтобы стать собой. Чтоб не ждать, когда тебя ударят, А наперекор всему, «с судьбой на ты!», Может, не было б побед при Трафальгаре Без ее победной красоты. Вечереет, и тумана козни Таковы, что верить или нет — Будто приникает к вечной бронзе Белой дымкой женский силуэт. Так и ты. Уходят в вечность годы. Что петитом, что совсем на слом, Но, как встарь, и в штиль, и в непогоду Чайка следует за кораблем.

Они ушли, мы остались. Но и за колючей проволокой чувствовалось дыхание наступившей в стране оттепели. Надзиратели начали нас расспрашивать: «Ты откуда? Из Москвы? Так я приеду к тебе в гости».

А когда с вахты исчез портрет Берии, наступило время больших перемен. Начальство утвердило выбранный заключенными женский совет. Выборы проходили без всякого нажима со стороны администрации.

Нам стали привозить кинофильмы. Очень многие из наших лагерниц не знали ни русской, ни советской литературы. Как член совета, я составляла краткие аннотации. В них говорилось о писателе, по мотивам произведения которого создан фильм, о режиссере и артистах. Эти аннотации с одобрения КВЧ зачитывались перед началом сеанса.

На кино к нам стали приводить мужчин из соседнего лагпункта. Больно было смотреть на них, какие они худые и жалкие. Лагерного пайка им явно не хватало.

Среди наших женщин были кочевницы, которых перебрасывали с одного лагпункта на другой. На бывшем мужском лагпункте они нашли набитый сеном бюстгальтер чудовищных размеров — доказательство, что у мужчин тоже была самодеятельность.

Думаю, что наши девушки Стефа и Валя лучше справлялись с мужскими ролями, чем с женскими лагерные Мей-Лань-Фани.

В нашей столовой, где демонстрировались фильмы, мужчины сидели по левую сторону от прохода, жен-

щины — по правую. Но все же перед началом сеанса кое-кому удавалось познакомиться и поговорить. Так мы узнали историю испанского капитана-антифашиста. В 1933 году он привел в наш порт корабль с пассажирами — противниками генерала Франко, думая найти в СССР вторую родину. Его признали шпионом. Второй родиной для него стал лагерь, где он провел восемнадцать лет.

Сперва фильм показывали за зоной. Добродушный КВЧ, рассказывая мне о своих впечатлениях, выяснял, что стоит нам показать.

«Понимаешь, называется— «Борис Годунов». Никто не досидел до конца. Остался один солдат, и тот спал. Я тоже ушел. Глупости. Ведь при Борисе Годунове кино не было».

Однажды КВЧ спросил меня: «Что это за фильм— «Живой труп»?» Я объяснила: «Это классика, гражданин начальник. Пьеса Льва Николаевича Толстого». КВЧ прервал меня, помахав рукой: «Знаю, знаю: про музыканта».

Во время показа «Красного и черного» с Жераром Филипом наибольшее впечатление произвела сцена: Жюльен Сорель в тюрьме. Зрительницы с живым интересом и пониманием дела наблюдали, как во Франции просматривают передачи заключенным: так же, как у нас, или иначе?

Но больше всего волновала зрительный зал кинохроника.

# кино

Новое время стучится в окно: В столовой показывают кино. Но нам ни к чему слезливые драмы, Как кавалеров любили дамы. Хроника — это дело другое. Киножурнал не дает нам покоя. Бывает, что на экране встанет То переулок, то полустанок, Бывает, просто мохнатая елка У магазина в центре поселка, Но кто-то эту елку узнал — Пронзительный вопль прорезает зал.

Волненье растет все сильней и сильней, Когда на экране — лица детей. Ведь те, кто пришли посмотреть кино, Детей не видели очень давно. Они лишились, утратив свободу, Права, дарованного природой Каждой особи женской на свете. Кто проживает на нашей планете: Женщине, кошке, корове, тигрице — Право рожать, котиться, телиться. В ответ на детское щебетанье В зале глухие звучат рыданья. У девственницы стонет живот, Ей не придется продолжить свой род. У молодицы тоскуют груди, В них молока для ребенка не будет. У всех, кто постарше, руки кричат: Им так бы хотелось качать внучат. А где же их дочери, где их сыны, Какие на воле еще рождены? О них так красиво в газетах писали, «Цветами жизни» их называли. «Цветы» по детским домам разместили, «Цветам» фамилии переменили: «Забудь отца, и он враг, и мать!» Кто смеет так детскую душу терзать?! Как море в часы штормового прибоя, Зрительный зал бушует и воет... Так, может, напрасно разрешено В нашей столовой крутить кино?

Мы хотели не в кино, а воочию увидеть свой город, пройти по знакомой улице, переступить порог родного дома. Слухи, которые к нам проникали, письма, которые мы получали, укрепляли нашу веру в то, что время нашего освобождения близко.

КВЧ уговаривал меня: «Пиши. Почему не пишешь прошения? Теперь дойдет». И наконец я опустила конверт в заржавленный почтовый ящик.

КВЧ оказался прав: письмо дошло.

Мне прочитали ответ. И я в рев, узнав, что меня помиловали. «Я не преступница, я не просила помилования!» Меня успокаивали: «Глупая, поедешь в Моск-

ву, там все образуется». И правда: приехав в Москву, я получила реабилитацию.

В Мордовии мне выдали паспорт на трех языках. Сфотографировали меня, худую и страшную, но не в фотоателье, а приткнув к забору. Наспех приклеенная карточка быстро отклеилась и потерялась. Я заявила об этом в отделении милиции Сокольнического района Москвы и через месяц была вызвана на прием к начальнику паспортного отдела. Он не предложил мне сесть, заглянул в присланную из Мордовии справку и, явно намекая, что я намеренно хотела избавиться от трехязычного паспорта, с усмешкой спросил:

— Так. Значит, Темниковский район, почтовое отделение Явас?

Я подтвердила, что адрес ему дан правильный, но не хватает еще одного документа. И положила ему на стол справку о реабилитации. Тут его отношение ко мне резко изменилось. Он предложил мне сесть. Сказал, что экспертиза установила, что я не отклеивала с паспорта фотокарточку, она отклеилась сама. Он даже мне посочувствовал:

- Ваше отчество Августиновна? Понятно, ваш отец был немец.
- Нет. Мой отец был латыш, а мать русская, подмосковная.
  - Может, вас потому, что муж был иностранец?
- Нет, мой муж был русский. Дементьев Николай Иванович.
  - Тогда я ничего не понимаю.
  - А вы подумайте.

Так закончилось наше собеседование. Я получила московский паспорт.

Теперь я хочу вспомнить ночной допрос на Лубянке и слова следователя.

Стихотворение «Отсюда не возвращаются» было прологом.

А вот эпилог.

#### ЭПИЛОГ

Вы знали: над тем, кто получит срок, Как будто бы волны сомкнулись... На этот раз вы ошиблись, пророк! Мы живы, и мы вернулись. Где вы, палачей усердный пес, Привыкших головы скашивать? Пусть мертвые вас позовут на допрос, Пожизненно будут допрашивать. Я знаю, что это время прошло — Мании, страха, диктата... Пусть это будет венок из слов Погибшим невиноватым.

Почтим их память. Ну, а тот, кто все вынес, все вытерпел и вернулся, пусть живет с твердой верой, что это больше никогда не повторится, живет, радуясь детям, небу, солнцу, траве.

### ГИМН ТРАВЕ

Я люблю траву '

за то, что она зеленая.

Это роста

яростный цвет.

Если горе жжет,

как железо каленое,

Я лицом

припадаю к траве.

Там

цветов приветливые улыбки,

Там

в зеленых ущельях тмина и мяты Гениальный кузнечик

играет на скрипке

Просто так:

он не метит в лауреаты.

Пыль летит на траву

вплоть до самого листопада,

Днем коровы, жуя,

лежат.

Но прольются в полночь

росы водопады,

И опять трава

зелена и свежа.

Приминают траву

сапоги, колеса, копыта...

Но былинки молчат,

терпеливый народ.

Я люблю траву.

Пусть помятая, пусть побитая,

Пусть в пыли,

но трава встает.

# СОДЕРЖАНИЕ

| Вл. Муравьев.                             |    |
|---|----|
| «По более глубокой и существенной потреб- |    |
| ности»                                    | 4  |
| Слова народные                            |    |
| Я помню тот Ванинский порт                | 51 |
| Ванинский порт .                          | 52 |
| Магадан                                   | 53 |
| Борис Емельянов                           |    |
| Море Белое — водная ширь                  | 54 |
| Секирная гора .                           | 55 |
| Соловки                                   | 55 |
| Из Колымского дальнего края               | 56 |
| Эшелон                                    | 56 |
| Новый год .                               | 58 |
| Григорий Шурмак                           |    |
| «Воркута — Ленинград» .                   | 58 |
| Юз Алешковский                            |    |
| Песня о Сталине                           | 59 |
| Михаил Фроловский                         |    |
| Соловки                                   | 61 |
| «Тяжело сдавили своды» .                  | 61 |
| Кресты                                    | 62 |
| Прощание с избой «Городок» .              | 63 |
| Наше поколение                            | 64 |

| «Я хочу к тебе вернуться прежним» .                                | 65       |
|--|----------|
| Кемь   | 65       |
| Пересылка  | 66       |
| «Приди. Тебя зовет тоскующее тело» .                               | 66       |
| «Уйду в поля под колокольный» .                                    | 67       |
| «Я с пермяками пью вино»   | 67       |
| «Дождь и снег, и снова дождь и слякоть»                            | 68       |
| Созвездья  | 68       |
| Река гуляет  | 69       |
| Отрывок  | 70       |
| Сыну, который будет  | 70       |
| Юрий Чирков  |          |
| «Чернь бескрайняя, холодная»                                       | 71       |
| «Был тихий вечер, солнце село» .                                   | 71       |
| «Нас окружает тьма, мой друг»                                      | 73       |
| «Исчезают, как дымка, былые фантазии» .                            | 73       |
| «Еще «от можа и до можа»» .  | 73       |
| «Образ Ваш мне извечно снился» .                                   | 74       |
| «Спасибо тебе, дорогая!» .   | 75       |
| «На траве и в сердце иней» .                                       | 75       |
| «Соловецкие острова»   |          |
| А. Панкратов   |          |
| «Хочу одно: увидеть луг» .   | 77       |
| Владимир Кемецкий  |          |
| Перед навигацией   | 78       |
| Прекрасной незнакомке, любезно снабдив-<br>шей меня пачкой махорки | 78       |
| Макс Кюнерт  | 70       |
| Любимые .  | 79       |
| . Пиронин  | 73       |
| «Я изведал радостный опыт» .                                       | 79       |
| А. Ярославский   |          |
| Случайной женщине .  | 80       |
| Борис Лейтин   | 00       |
| Командирша женской роты  | 81       |
| Баронессе, ведущей счетную книгу                                   | 81       |
| Мещанка  | 82       |
| Торфушка   | 82<br>82 |
| Ю. Казарновский  | υZ       |
| «Стою у озера в смиренье»  | 00       |
| "Close y oschu b chimpenbe"  | 83       |

| дружеские эпи раммы                       |     |
|---|-----|
| 1. На самого себя                         | 84  |
| 2. Д. Г. Янчевецкий .                     | 85  |
| 3. Н. С. Соколов                          | 85  |
| 4. М. Горькому                            | 85  |
| Что кто из поэтов написал бы по прибытии  |     |
| на Соловки .                              | 86  |
| Неизвестный автор                         |     |
| Памяти архиепископа Верейского Иллариона  | 92  |
| Tidwith upinemekona bepenekoro ibisaprona | 32  |
| Анна Баркова                              |     |
| В бараке                                  | 95  |
| «Степь, да небо, да ветер дикий» .        | 96  |
| О возвышающем обмане .                    | 96  |
| Инквизитор .                              | 97  |
| Вера Фигнер                               | 98  |
| Старуха                                   | 101 |
| Русь                                      | 102 |
| «Хоть в метелях душа разметалась» .       | 102 |
| «Белая ночь. Весенняя ночь»               | 103 |
| Я   | 103 |
| Тоска татарская                           | 103 |
| «Да, мне до́роги стали слишком»           | 104 |
| «Протекали годы буйным золотом» .         | 105 |
| Июль                                      | 105 |
| «Нам отпущено полной мерою»               | 105 |
| «Игра опасных намеков»                    | 106 |
| Песня («На счастливую звезду»)            | 106 |
| «Неужели часы случайные»                  | 107 |
| «Все понятно и очень просто»              | 107 |
| «Толпой людей, тупых и одичавших» .       | 108 |
| «Экий запутанный ребус»                   | 108 |
| «Украдкою— от слова «кража»»              | 109 |
| Обыкновенный ужас                         | 109 |
| «Загон для человеческой скотины» .        | 110 |
| «Трезвая, но я была пьяна»                | 111 |
| «Море Черное, море Каспийское»            | 111 |
| «Метель в июне. Кто поверит?» .           | 111 |
| «Надо помнить, что я стара» .             | 112 |
| «Прошло семь месяцев в разлуке» .         | 112 |
| «Наша жизнь коротка»                      | 113 |
| «Как дух наш горестный живуч» .           | 113 |

| Надрывныи романс                           | 114  |
|--|------|
| «Восемь лет, как один годочек»             | 114  |
| «Не сосчитать бесчисленных утрат»          | 115  |
| «Эта горькая вольная воля»                 | 115  |
| «Не стать ли знаменитым дряхлым гадом»     | 115  |
| Возвращение                                | 116  |
| Жизнь                                      | 117  |
| «Смотрю на жизнь с недоуменьем» .          | 118  |
| Российская тоска                           | 119  |
| «Что-то вспыхнуло, замерло, умерло»        | 119  |
| «Мы должны до вечерней поры»               | 120  |
| Пурговая, бредовая, плясовая .             | 121  |
| Герои нашего времени                       | 123  |
| «Свобода, свобода, свобода!»               | 124  |
| Павел Васильев                             |      |
|  | 400  |
| «Сначала пробежал осинник»                 | 125  |
| Песня о том, что сталось с тремя сыновьями |      |
| Евстигнея Ильича на Беломорстрое           | 125  |
| Прощание с друзьями                        | 127  |
| «Я полон нежности к мужичьему сну» .       | 128  |
| Принц Фома                                 | 130  |
| «Снегири взлетают, красногруды»            | 137  |
| Сергей Поделков                            |      |
| «Молчанье — золото, — давно твердят»       | 138  |
| «Когда я умру, дорогая»                    | 138  |
| «Отчего так грустно и тревожно» .          | 139  |
| Осеннее состояние .                        | 140  |
| «Все в памяти»                             | 140  |
| «Этап. Недоуменье. Заметь»                 | 141  |
| «Мать»                                     | 141  |
| «Молчу о тайнах власти»                    | 142  |
| В лазарете                                 | 142  |
| «Все отнято: и честь, и имя» .             | 144  |
| Ожидание весны                             | 144  |
| «Навытяжку»                                | 144  |
| Tpacca                                     | 145  |
| «Лик Пантократора на старом древке» .      | 147  |
| На Ижме                                    | 147  |
| «Я говорю: прощай, Печора»                 | 148  |
|  | 148  |
| Сон  | 149  |
| "1-1051 OABUTH/10 THIIIHAUN"               | 1 43 |

| Расправа                              | 149 |
|---------------------------------------|-----|
| Из Редьярда Киплинга                  | 150 |
| «Испытываю силу ножевую…»             | 150 |
| Казнь на Троицкой площади .           | 151 |
| «Библиотека строителя БАМа»           |     |
| Алексей Волгарь                       |     |
| Слово в прениях .                     | 164 |
| Павел Игнатьев                        |     |
| Перековка                             | 166 |
| Федор Карбушев                        |     |
| Гремит тайга                          | 167 |
| Юрий Нольден                          |     |
| Баллада о Феликсе Дзержинском         | 168 |
| «Пусть косит снег и пусть метель кру- |     |
| жится»                                | 169 |
| Леонид Пролетарский                   |     |
| Привет Кулешову .                     | 170 |
| Л. Дмитриев                           |     |
| Пусковой экспресс 7 отделения         | 171 |
| М. Штейнберг                          |     |
| Ночь напролет .                       | 172 |
| С. Полтавский                         |     |
| А сейчас                              | 173 |
| П. Корнилов                           |     |
| Боевой приказ                         | 173 |
| Я. Шаманин                            |     |
| Как мы уедем                          | 175 |
| Андрей Загряжский                     |     |
| Сосны                                 | 177 |
| В ночной арбатской тишине .           | 178 |
| Тюремное свидание.                    | 178 |
| Царевна Несмеяна                      | 179 |
| Ухто-печерский тракт.                 | 180 |
| Платок .                              | 181 |
| Воркута                               | 181 |
| Песнь о боли .                        | 182 |
| Отец Павел Флоренский                 |     |
| Opo                                   | 183 |
|                                       |     |

# Варлам Шаламов

| Стланик                                    | 201 |
|--|-----|
| «Не дождусь тепла-погоды»                  | 202 |
| «Все те же снега Аввакумова века» .        | 203 |
| Камея                                      | 203 |
| «Чем ты мучишь? Чем пугаешь?»              | 203 |
| «Модница ты, модница»                      | 204 |
| «В этой стылой земле, в этой каменной яме» | 204 |
| Баратынский                                | 205 |
| «Февраль — это месяц туманов»              | 205 |
| «Память скрыла столько зла»                | 206 |
| «Не старость, нет, все та же юность» .     | 206 |
| «Зима уходит в ночь, и стужа» .            | 207 |
| «Чтоб торопиться умирать»                  | 207 |
| «Я, как Ной, над морской волною» .         | 208 |
| «Он сменит без людей, без книг» .          | 208 |
| «Я здесь живу, как муха, мучась» .         | 209 |
| Инструмент                                 | 209 |
| «Так вот и хожу»                           | 209 |
| «Говорят, мы мелко пашем» .                | 210 |
| Зимний день                                | 210 |
| Жил-был                                    | 211 |
| «Все молчит — зверье и птицы»              | 211 |
| «Наклонись ко мне, кленовая» .             | 211 |
| «Стихи — не просто отраженье»              | 212 |
| «Луна качает море»                         | 212 |
| «Придворный соловей»                       | 212 |
| «Жизнь — от корки и до корки» .            | 213 |
| «Где жизнь? Хоть шелестом листа» .         | 213 |
| «В воле твоей остановить» .                | 214 |
| Обогатительная фабрика                     | 214 |
| Раковина                                   | 214 |
| «Она никогда не случайна» .                | 215 |
| Поэзии                                     | 215 |
| Юрий Домбровский                           |     |
| «Пока это жизнь, и считаться»              | 217 |
| «Есть дни — они кипят, бегут»              | 218 |
| Державин .                                 | 218 |
| Веневитинов                                | 221 |
| «О, для чего ты погибала, Троя» .          | 223 |
| «Генерал с подполковником вместе» .        | 224 |
| «Когла нам принесли бушлат» .              | 224 |

| Амнистия. Апокриф                       | 226 |
|---|-----|
| Вступление к роману «Факультет ненужных |     |
| вещей»                                  | 227 |
| Мария Рильке                            | 228 |
| Мыши                                    | 229 |
| Убит при попытке к бегству .            | 230 |
| Солдат — заключенной .                  | 232 |
| Ольга Адамова-Слиозберг                 |     |
| Книги                                   | 234 |
| Мы идем из бани .                       | 235 |
| 7 ноября 1937 года .                    | 235 |
| Зависть                                 | 236 |
| Елена Владимирова                       |     |
| «Мы шли этапом. И не раз» .             | 237 |
| Колыма. Отрывки из поэмы                | 238 |
| «Наш круг все слабее и реже, друзья» .  | 246 |
| Мария Терентьева                        |     |
| Тюремная колыбельная                    | 248 |
| Маленькому сыну .                       | 249 |
| Разговор со звездами .                  | 251 |
| Рослый парень                           | 253 |
| Николай Заболоцкий                      |     |
| Лесное озеро                            | 254 |
| Соловей                                 | 255 |
| Где-то в поле возле Магадана .          | 256 |
| Арсений Стемпковский                    |     |
| Я сижу                                  | 257 |
| Философ                                 | 257 |
| Гнев .                                  | 257 |
| Фон                                     | 258 |
| В тюрьме                                | 258 |
| В Севдвинлаге                           | 258 |
| В Алтайлаге                             | 258 |
| В Карлаге .                             | 258 |
| Построен                                | 259 |
| Игрушечник .                            | 259 |
| Память .                                | 259 |
| Δοχολητα                                | 259 |

| пеллагрозник                       | 259 |
|------------------------------------|-----|
| В сангородке                       | 260 |
| Мечты                              | 260 |
| Эпиграмма                          | 260 |
| О себе                             | 260 |
| Мой манифест                       | 261 |
| <b>Люблю</b>                       | 261 |
| «Враг народа»                      | 261 |
| «Друг народа»                      | 261 |
| Вор («Больной или не больной»)     | 262 |
| Вор («Нигде я не теряюсь») .       | 262 |
| Картежник                          | 262 |
| Шептало                            | 262 |
| Очковтиратель. Басня .             | 263 |
| Апофеоз                            | 264 |
| Мечты                              | 264 |
| Спасибо судьбе                     | 264 |
| Жадность                           | 264 |
| Освобождение                       | 264 |
| К рождению                         | 265 |
| Балхаш                             | 265 |
| Ночь в Батумской тюрьме            | 265 |
| В Грузии                           | 265 |
| Я в аду родился                    | 266 |
| Ирония                             | 266 |
| Вождю                              | 266 |
| К 70-летию И. В. Сталина .         | 267 |
| Сталин                             | 267 |
| «Времена теперь меняются» .        | 267 |
| Александр Чижевский                |     |
| «Что человеку гибель мирозданья» . | 268 |
| «В смятенье мы, а истина — ясна» . | 268 |
| Сентябрьский день                  | 268 |
| Примирение                         | 269 |
| Гемонии .                          | 269 |
| Парфенон                           | 271 |
| Живопись                           | 272 |
| «Мастабы, пирамиды и гробницы»     | 274 |
| Бесконечности                      | 275 |
| Пирамиды                           | 275 |
| Беотийские ключи                   | 276 |
| Гимн Солнцу .                      | 277 |
| Пирр                               | 278 |
|                                    |     |

| Tere                                    | 2    |
|---|------|
| «Все приму от этой жизни страшной» .    | 2    |
| Стихия тьмы                             | 2    |
| Плиний Старший                          | 28   |
| «Он был отрыт из недр земли великой»    | 38.  |
| Две буквы                               | . 28 |
| «Как сладостно не быть — распасться в   | ве-  |
| щество»                                 | . 28 |
| щество»                                 | . 28 |
| По Феогниду. 1. Раб. 2. Смерть          | . 28 |
| Сократ                                  | 28   |
| «Немного любит тот, кто любит меру»     |      |
| «Орлиный ветер веет мне навстречу»      | . 28 |
| Созерцание                              | . 28 |
| «Темно вокруг тебя, и страшно бытие»    |      |
| «Спокойствие души— ценнейший дар Зе     |      |
| ли»                                     | 28   |
| Фивы ночью                              | 28   |
| Тщета                                   | 28   |
| Нефертити Тутмоса                       | 28   |
| Вдохновение                             | 28   |
| В снах. Набросок                        | 28   |
| Человеку                                | 28   |
| Голос римского раба                     | 28   |
| «Ра́кушку принес я с берега морского» . | 29   |
| Наступление мифологической ночи         | 29   |
| Н.В.Э                                   | 29   |
| 22 февраля 1950 года .                  | 29   |
| • •                                     |      |
| Сергей Бондарин                         |      |
| Карты                                   | 29   |
| Камень                                  | 29   |
| Болезнь                                 | 29   |
| «Под Троицу с базара принесли» .        | 29   |
| Врачу                                   | 29   |
| Совесть                                 | 29   |
| Молитва                                 | 29   |
| Мечта в ожидании .                      | 29   |
| Pomanc                                  | 29   |
| На получение посылки                    | 29   |
| Слово                                   | 29   |
| У дверей ада                            | 29   |
| Руки и душа                             | 29   |
|   | 29   |
| чения и душа                            |      |

| Капля                                  | 298 |
|--|-----|
| Гроза                                  | 299 |
| Тебе дается день                       | 299 |
| На вздымке .                           | 300 |
| Кары                                   | 301 |
| Сонет («В несложной жизни Капкаров») . | 302 |
| Про жужжанье                           | 302 |
| Про блоху .                            | 303 |
| Про боровик                            | 303 |
| Не всякой плесени верь .               | 303 |
| Ночь .                                 | 303 |
| Утро                                   | 304 |
| Мощь                                   | 304 |
| Снег .                                 | 304 |
| Радость                                | 304 |
| Γολος                                  | 305 |
| В Иван-Купала                          | 305 |
| Бедный рыбак .                         | 30€ |
| Взыскующий града                       | 306 |
| «Прорастает зерно в земле»             | 308 |
| «Среди миров, в мерцании светил» .     | 308 |
| Рождество                              | 309 |
| Звезда                                 | 309 |
|  |     |
| Лазарь Шерешевский                     |     |
| «Да, с дороги сбился я большой» .      | 310 |
| «Я, приговоренный к высшей мере» .     | 311 |
| «Я скажу тебе напрямик»                | 311 |
| «Когда б великий Ленин мог сейчас» .   | 312 |
| «От всех моих бесчисленных желаний» .  | 312 |
| «Ты растоптан, цветок нерасцветший»    | 312 |
| «Христос прощал, прощал свои мученья»  | 313 |
| «Знаю: выйдет поэт из меня» .          | 313 |
| Матери                                 | 314 |
| «Я тоскую по женщине. Женщина снится   |     |
| мне»                                   | 314 |
| «Самая длинная ночь в году»            | 315 |
| «Мне даже негде встретиться с тобой» . | 315 |
| «В моем ненаписанном томе» .           | 316 |
| Вслед этапу                            | 317 |
| Отрывок                                | 317 |
| «Воркута, Воркута, Воркута!»           | 319 |
|  | 010 |
| «Кто соберет когда-нибудь стихи мои» . | 319 |

| Красный Камень                           | 32    |
|--|-------|
| «Кто сюда дотянется?»                    | 32    |
| «Светлую нашу любовь мы скрываем по      |       |
| ным углам»                               | 32    |
| «Глубок и плавен мудрый Енисей»          | 32    |
| «Может, внуки когда-нибудь сложат        | ска-  |
| зания»                                   | . 32  |
| «Застлало Заполярье снежной мутью» .     | 32    |
|  |       |
| Юрий Грунин                              |       |
| После войны                              | 32    |
| Впотьмах                                 | 32    |
| Пересыльный лагерь                       | 32    |
| Однонарнику .                            | 32    |
| Ны́роб                                   | 32    |
| Кто из нас фашист? .                     | 32    |
| Свеча                                    | 33    |
| Вольнонаемной женщине                    | 33    |
| Степлаг                                  | 33    |
| Небо и земля                             | 33    |
| «Ни о чем, о Боже, не молю я» .          | 33    |
| Гордое терпенье                          | 33    |
| День похорон Сталина                     | 33    |
| Профессор Людвиг                         | 33    |
|  |       |
| Юрий Стрижевский                         |       |
| «Забор, запретка, вахта, вышка» .        | 33    |
| Колыбельная                              | 33    |
| Моя сероглазая                           | 33    |
| «К нам сюда, в глухое заточенье» .       | 33    |
| Золотая осень                            | 33    |
| Гладиолусы .                             | 33    |
| Новогоднее                               | 34    |
| «Горькой платой за глупую ложь»          | 34    |
| «Пой-играй, гармоника, плачь-рыдай, м    |       |
| лица»                                    | 34    |
| «Я вас видел во сне — вы сидели с гитаро | ю» 34 |
| Песня                                    | 34    |
| Моя Голгофа                              | 34    |
| «Года идут, безжалостное время» .        | 34    |
| Этюд                                     | 34    |
| «Говорите со мной, говорите, березы» .   |       |
| Калужскому Троицкому собору .            | 34    |

| Гатьяна Сухомлина-Лещенко   |
|---|
| «Воркуют голуби белые»  |
| «Золотые часы в углу стояли»  |
| «Тундра нелюбимая троюродная сестра»                                  |
| Этап  |
| «Опять весна! Какая прелесть!» .                                      |
| «Когда говорят: «Какая вы были!» .                                    |
| Семен Виленский   |
|   |
| Басня   |
| **  |
| «Четыре стены и потолок» .  |
| «Куда ни пойдешь наудачу»   |
| «Как похожи луна с Колымою» .<br>В БУРе                               |
| В БУРе  |
|   |
| Каретный ряд  |
| «Тороплив был век, непочтителен» .                                    |
| «Наш дом и школа были»<br>«Ослепительны сопок верха»                  |
|   |
| «Господи, раньше тебя не знал» .<br>«Пусть зло во все века сильней» . |
| «От Эльгена на нартах оленьих»  |
|   |
| Колымский этап  |
| «Средь мокрых трав шагаю вдоль ручья» .<br>«Вам, зарытым в распадках» |
| «Бам, зарытым в распадках»  |
| Наталья Аничкова  |
| «После смерти хочу я, о Боже» .                                       |
|   |
| Пушинка   |
| 25/12 января 1953 года в больнице                                     |
| Гонолулу  |
| «Не сидеть мне больше на опушке» .                                    |
| Сестре  |
| Быть может  |
| Лебеда  |
| Олечке Стерлинг к ее отъезду из Унжлага                               |
| и прощальной постановке «Девушки с кувши-                             |
| ном»  |
| Совет з/к з/к, или Под давлением ртутного                             |
| столба в 250/150  |
| "OCTA A CCI. CORCOM HOMHOTO "   |

| Анатолий Жигулин                          |     |
|---|-----|
| Сердце друга                              | 374 |
| «Ты помнишь, мой друг? — На окне зана-    |     |
| веска»                                    | 375 |
| «Трехсотые сутки уже на исходе»           | 376 |
| «Между нами стена, бесконечно сырая, глу- |     |
| хая»                                      | 376 |
| Владимир Муравьев                         |     |
| «Осыпаются звезды сверху» .               | 377 |
| «Все пройдет и забудется»                 | 378 |
| «Если станет тоскливо и больно» .         | 378 |
| Декабристы .                              | 379 |
| Весенние стихи                            | 381 |
| Сонет                                     | 382 |
| Осенние стансы                            | 382 |
| Мама .                                    | 383 |
| Февраль                                   | 384 |
| Музыка                                    | 384 |
| Вадим Попов                               |     |
| Разлуки .                                 | 386 |
| В пустыне                                 | 387 |
| «Я знаю: нет в тебе души» .               | 387 |
| Сон                                       | 388 |
| «Огрубел я без неги и ласки»              | 389 |
| Велосипедистка .                          | 389 |
| Головастик                                | 390 |
| Весна в пустыне .                         | 390 |
| Зори                                      | 391 |
| «Выходишь из клети — минуту постой»       | 391 |
| Джордано Бруно .                          | 392 |
| Ураган                                    | 392 |
| «Стало нынче в цене»                      | 393 |
| «Под ногами — трава душистая»             | 394 |
| «В газетах о нас не писали»               | 394 |
| «В то, что радуга есть, не верую» .       | 395 |
| Баллада об ушедшем                        | 395 |
| Охотское море .                           | 400 |
| Гренада — Колыма                          | 404 |
| Подпоручик                                | 405 |
| Встреча на этапе                          | 406 |
| Грядущее возвращение в Москву .           | 408 |

#### Платон Набоков «В Атлас огромный железных дорог...» . 409 Васильки . 409 О лошадях 414 Мысль . 414 Молчание . . . . . . . . . 416 Письмо из «Черного медальона». 418 Благодарность . . 421 Северная сказка . . 422 Написанное заранее 424 Светлана Шилова Песня про старушку 426 Безымянная могила 427 428 Посвящение Александр Тришатов Муза . . 430 430 Антигона 431 ∆ва поэта 431 Λагерь . . . . . . . . . «Когда на Руси построяли...» . 432 432 Cva Боль . 433 Песня 434 Самсон . . . . . . . . 435 Наш барак — «слабосиловка» 436 Последний этап . . . . . . . . . . . . . 437 «Моет пол ночной дневальный. Все затихло. Спит больница...» . . 437 Утро похорон в ОЛАГе . 438 Последнее 439 439 Гость Даниил Андреев Демоны возмездия 441 Размах . . . . 442 Тюрьма на Лубянке . . . . 443 Праведники прошлого. Триптих 445 Василий Блаженный . . . 447 Художественному театру 449 450 В Третьяковской галерее . У памятника Пушкину 451

| Большой театр                           | 452 |
|---|-----|
| О Москве                                | 453 |
| «Ткали в Китеже-граде»                  | 454 |
| «Про всенародное наше вчера» .          | 455 |
| «Исчезли стены разбегающиеся» .         | 456 |
| «Нет, не боюсь языческого лиха я»       | 456 |
| Гипер-пеон                              | 457 |
| «Медленно зреют образы в сердце» .      | 458 |
| «Таится дрёмный мир сказаний» .         | 459 |
| Сквозь тюремные стены                   | 460 |
| Лев Карсавин                            |     |
| «Ни воли, мыслей, чувств, ни этих слов» | 462 |
| Венок сонетов .                         | 463 |
| Надежда Надеждина                       |     |
| Стихи без бумаги                        | 471 |

## СРЕДЬ ДРУГИХ ИМЕН

Заведующий редакцией В. Пекшев Редакторы Е. Донцова, М. Романчук, Л. Кузнецов Художник С. Любаев Художественный редактор В. Гусейнов Технический редактор С. Устинова Корректор О. Наренкова

#### ИБ № 4607

Сдано в набор 03.10.89. Подписано к печати 26.07.90.  $\Lambda$ 23114. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Балтика». Печать офсетная. Усл. печ. л. 27,82. Усл. кр-отт. 24,17. Уч.-изд. л. 28,90. Тираж 10 000 экз. Заказ 260. Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий». 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16

**Средь** других имен: Сборник / Сост. В. Б. Му-С75 равьев.— М.: Моск. рабочий, 1990.— 525 с.

Эта книга — первый сборник поэзии, рожденной в сталинских лагерях. Люди, обращенные в самое жестокое и унизительное рабство, находясь постоянно на грани жизни и смерти, оставались людьми — их можно было убить физически, но нельзя было лишить права думать, чувствовать, понимать, надеяться, иметь свои убеждения. В сознании творцов лагерной поэзии жила надежда на то, что когда-нибудь созданное ими станет достоянием народа.

Произведения, не вошедшие в настоящий сборник, будут включены в последующие выпуски.

 $M = \frac{4702010202 - 089}{M172(03) - 90}$  Без объявл.

ББК 84Р7-5

ISBN 5-239-00920-1

NARA **DOTE** 

